

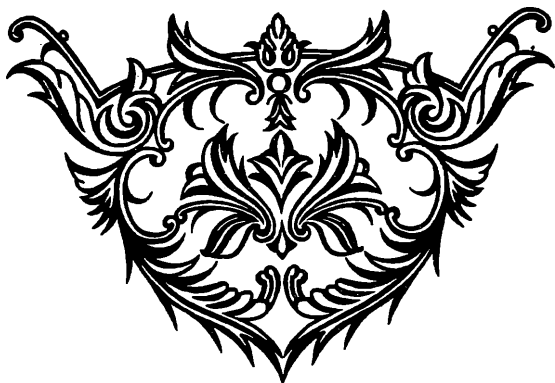


РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭМА



РУССКАЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ПОЭМА

РУССКАЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ПОЭМА



Москва
Издательство «Правда»
1985

Составление и примечания
А. С. Немзера и А. М. Пескова

Вступительная статья
А. С. Немзера

Иллюстрации и оформление
В. Б. Иовика

Р $\frac{4702010100-871}{080(02)-85}$ 871—85

© Издательство «Правда», 1985. Составление. Вступительная статья.
Примечания. Иллюстрации.

«СТОЛЕТНЯЯ ЧАРОВНИЦА»

(О русской романтической поэме)

Слово «поэма» сегодняшнему читателю хорошо знакомо: это большое сюжетное произведение в стихах, в котором есть и повествование и в то же время отчетливо слышен голос автора. Припоминая шедевры русской поэмы: «Юмор» Огарева и «Мороз, Красный нос» Некрасова, «Соловьиный сад» Блока и «Хорошо!» Маяковского, «Поэму без героя» Ахматовой и «За далью даль» Твардовского,—мы вольно или невольно исходим из этого определения.

Между тем вряд ли согласился бы с нами читатель XVIII века. Для него поэмы—это эпос, торжественное, неспешное и величественное повествование о далекой старине, о великих войнах и героях. Жанр поэмы освящен именами Гомера и Вергилия, Мильтона и Камюэнса, Тассо и Клопштока. При всей непохожести русских поэм XVIII столетия все они—«Петр Великий» Ломоносова и «Тилемахида» Тредиаковского, «Россиада» и «Владимир» Хераскова—повествовали об общем—истории, государстве, миропорядке. Авторы этих поэм меньше всего были озабочены выявлением собственной индивидуальности, поэт мыслился как бы при поэме. Когда Херасков начинал «Россиаду» словами: «Пою от варваров Россию свободенну»,—важно ему было не то, что он поет, а то, о чем он поет.

Если шутливая поэма XVIII века допускала авторскую «болтовню» и интимную «легкость», это было чертой именно *шутливой* поэмы, жанра, находящегося на периферии литературного процесса. Меркой шутливой сказки мерил «Руслана и Людмилу» Пушкина Карамзин, вовсе не из пренебрежения именуя эту поэму «поэмкой». Но, сохраняя связь с шутливой «поэмкой», поэма молодого Пушкина

на не могла восприниматься как мелочь, игрушка, забава. Сквозь сказочно-шутливый тон в «Руслане и Людмиле» пробивались иные ноты, чередование меланхолии и иронии расплывало сюжет «богатырской» истории, в неожиданных сравнениях и авторских замечаниях слышалась современность, мир самого поэта становился не менее интересным, чем мир, описываемый им.

«Руслан и Людмила» — лишь один из симптомов изменений, происходящих с поэмой во второй половине 1810-х годов. Свой путь к «новой» поэме ищет В. А. Жуковский, то соединяя баллады («Двенадцать спящих дев»), то вглядываясь в образцы германской повествовательной поэзии («Овсяный кисель»). Н. И. Гнедич делает героем своей поэмы «Рождение Гомера» великого поэта древности. А. И. Мецеровский перелагает в поэмы сентиментальные повести: «Наталью, боярскую дочь» Карамзина и «Марьину рощу» Жуковского. Количество примеров легко можно умножить. Общее развитие поэтической культуры, подъем таких жанров, как элегия с ее интересом к духовному миру человека, и баллада с ее атмосферой тайны и недоговоренности, делали неминуемым внутренний переворот в жанре поэмы. Необходим был хотя бы слабый толчок. Им оказались поэмы Дж. Г. Байрона, освоенные русской культурой в начале двадцатых годов прошлого века.

* * *

Сравнение русской романтической поэмы с ее английским образцом и Пушкина с Байроном было общим местом в критике 1820—1830-х годов.

Вот что, например, писал о Пушкине начала двадцатых годов И. В. Киреевский: «...подобно Байрону, он в целом мире видит одно противоречие, одну обманутую надежду, и почти каждому из его героев можно придать название разочарованного»¹. Противоречие и разочарование — узловые точки суждения критика. Духовный опыт начинающегося XIX века выдвинул эти проблемы в центр культуры.

XVIII век был веком Просвещения — всемирное царство Разума мыслилось как близкое и достижимое, а начало Великой французской революции было воспринято как пришествие этого царства. Действительность внесла существенные коррективы в просветительские мечты: яacobинский террор, общеевропейские войны, торжество сытой буржуазии, гигантская фигура Наполеона, новые войны и восстановление старого порядка в Европе — все это мало

¹ Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 47.

походило на взыскуемый идеал. Духовной реакцией на события рубежа веков и стал романтизм, выдвинувший взамен старых идеалов то, что обладало наибольшей сопротивляемостью ветрам истории,— человеческую личность.

Конфликт героя со всем миром мог принимать разные формы: политическое негодование на существующий уклад, психологическое разочарование в возможности привычных человеческих отношений, философское осознание несправедливости миропорядка в глобальном масштабе, ироническое возвышение над «толпою», озабоченной житейской суетой... Сам герой предстал в разных ипостасях: изгнанником и богоборцем, революционером и разочарованным скептиком, художником и преступником. В любом случае, однако, спор героя с миром был битвой не на жизнь, а на смерть: смириться герой не мог. В любом случае в душе героя жил подчас тщательно укрываемый высокий идеал гармонии, ради которого и шел бой с миром. И всегда ближайшим союзником героя оказывался сам поэт, ибо личность героя была одной из проекций его личности.

В 1827 году Пушкин, к тому времени уже переосмысливший опыт романтизма, писал: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею то, наконец, странствующим посреди... В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой), все, кроме некоторых сатирических выходов, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному»¹. Это сказано не только о Байроне.

Романтическая поэма подразумевала, что центральный ее герой— как бы двойник автора. «Зазор» между ними, созданный сюжетными обстоятельствами,— это своего рода уловка, которую должен понять близкий автору и герою читатель. В то же время и характер героя, и характер поэта лишены психологической конкретности: важно не содержание личности, но сама личность, не разгадка тайны, но сама тайна. Когда Пушкину показалось, что герой «Кавказского пленника» слишком благоразумен, он написал: «Характер Пленника неудачен (то есть неудачен для романтической поэмы.— А. Н.); доказывает это, что я не гоюсь в герои романтического стихотворения»².

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Л., «Наука», 1978, т. VII, с. 37.

² Там же, т. X, с. 42 (письмо В. П. Горчакову от октября—ноября 1822 года).

Личность, «герой нашего времени» — вот центр романтической поэмы. А рядом с идеей личности живет не менее важная идея свободы. Собственно говоря, свобода и личность существуют в романтической поэме как понятия неразрывные, им-то и противостоит мир внешний, воплощением которого становятся тюрьма, монастырь, неволя. С этой антитезы и началась русская романтическая поэма. В 1822 году были опубликованы «Шильонский узник» Байрона в переводе Жуковского и «Кавказский пленник» Пушкина.

* * *

«Неволя была, кажется, музою — вдохновительницею нашего времени. «Шильонский узник» и «Кавказский пленник», следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем»¹, — писал П. А. Вяземский, в ту пору один из темпераментнейших борцов за романтизм. Перед читателем предстало два варианта новой поэмы: монолог героя-страдальца — у Жуковского, «быстрое» и сюжетно неясное повествование — у Пушкина. Общей была ситуация — неволя, общей была атмосфера — тайна, общей была интонация — недоговоренность, ощущение скрытого второго плана.

В то же время бросались в глаза различия. Герой Жуковского был страдальцем без вины. В кратком предисловии Бонивар назван «мучеником веры и патриотизма», однако никаких конкретных исторических комментариев Жуковский не дает. Тема политической свободы, значимая у Байрона, максимально ослаблена, особенно показательны, что Жуковский не воспроизвел в переводе вступление к поэме — «Сонет к Шильону», тираноборческий смысл которого был своего рода камертоном для прочтения поэмы. Устраняя политические мотивы, поэт повышал «метафизический статус» своего творения.

Тюрьма в «Шильонском узнике» — единственная реальность, доступная герою. Это особый мир, лишенный всего того, что ассоциируется с жизнью, царство мрака, в котором нельзя увидеть лица рядом томящегося брата, царство глухоты (ибо она отнимает у человека голос, превращая его в чужой крик), царство смерти. Наиболее выразительная характеристика этого мира дана нагнетаемым перечнем отрицаний:

То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;

¹ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 43.

То были образы без лиц;
 То страшный мир какой-то был,
 Без неба, света и светил,
 Без времени, без дней и лет,
 Без промысла, без благ и бед,
 Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
 Как океан без берегов,
 Задавленный тяжелой мглой,
 Недвижный, темный и немой.

Тюрьма здесь — небытие в точном смысле этого выражения. И это небытие побеждает героя, свобода открывающегося перед ним мира кажется ему чужой: «...мне стало жаль // Моих покинутых цепей». Освобождение оказывается фиктивным:

Когда за дверь своей тюрьмы
 На волю я перешагнул —
 Я о тюрьме моей вздохнул.

Отнятая свобода не может вернуться, и человек, утративший свободу, перестает быть человеком. Муки героя — это муки утраченной свободы, муки теряющей себя личности, которую тюрьма отлучила и отучила от радости жизни. Изначальная чистота героя, его очевидная абстрактность (нет даже намек на индивидуальность) заставляют воспринимать поэму как бы помимо ее сюжета. Речь идет об «извечном» конфликте личности и мира-тюрьмы: «Шильонский узник» был первой «пробой» того варианта романтической поэмы, итогом которого станет «Мцыри» Лермонтова.

По-иному решал вопрос в «Кавказском пленнике» Пушкин. Если герою Жуковского «психологии» не хватало, он был «человек вообще», то пушкинский пленник поражал уже первых читателей удивительной странностью характера. Пленник был одновременно «охлажденным» и ищущим свободу, уставшим от любви и живущим несчастной любовью. Загадкой представлялось его никак не мотивированное стремление вырваться из плена, ибо, как писал М. П. Погодин: «Если ж с свободой пленник не получит счастья (критик имеет в виду несчастную любовь героя. — А. Н.), то для чего он так жаждет ее, свобода в сем случае есть чувство непонятое, хотя при других обстоятельствах, при других отношениях, разумеется, она может составить счастье»¹.

В том-то и дело, что для пушкинского героя свобода и счастье несовместимы. Свобода — ценность наивысшая, отнять ее у пленни-

¹ «Вестник Европы», 1823, № 1, с. 42.

ка не могла ни охлажденность души, ни страсти: «Свобода! он одной тебя // Еще искал в пустынном мире». «Веселый призрак свободы» не покидает душу героя, именно в этом суть нелогичного характера. Свобода снимает с героя ответственность за душевный холод, равнодушие к черкешенке: финал поэмы нетрадиционно оптимистичен. После мрака плена (пунктирно очерченное действие поэмы разворачивается ночами) наступает свет. Мир черкесской вольницы покинут (это была свобода для *них*, а не для героя), погибшая героиня словно исчезает из мира пленника, радость освобождения звучит в строках, завершающих вторую песнь:

Редел на небе мрак глубокий,
 Ложился день на темный дол,
 Взошла заря. Тропой далекой
 Освобожденный пленник шел,
 И перед ним уже в туманах
 Сверкали русские штыки,
 И окликались на курганах
 Сторожевые казаки.

Пушкинская поэма в противовес «Шильонскому узнику» была густо населена: живые кавказские пейзажи, описания черкесских нравов, жанровые сценки перемежаются элегические монологи героев и авторские обобщения. «Неопределенность в целом и подробная отчетливость в частях» (если использовать выражение И. В. Киреевского¹) стали законом построения романтической поэмы, выявившимся в «Кавказском пленнике».

* * *

Особенности байроновской, а затем и русской романтической поэмы точно проанализированы в исследовании В. М. Жирмунского «Байрон и Пушкин». В. М. Жирмунский писал: «Поэт выделяет художественно эффектные вершины действия, которые могут быть замкнуты в картине или сцене, моменты наивысшего драматического напряжения, оставляя недосказанным промежуточное течение событий (...) Отрывки эти объединяются общей эмоциональной окраской, одинаковым лирическим тоном, господствующим в поэме — и в описательных ее частях, и в рассказе, и в действии»². Таков общий «рисунок» романтической поэмы, «южных» поэм Пушкина. Тем интереснее увидеть, как варьируется он под пером

¹ Киреевский И. В. Критика и эстетика, с. 47.

² Жирмунский В. М. Избранные труды. Байрон и Пушкин. Л., 1978, с. 54—55.

поэта, сколь разными сторонами поворачивается новообретенный жанр. Между «Кавказским пленником» и «Цыганами» — истоком и итогом — три разноликих поэмы, — «Братья разбойники», «Вадим», «Бахчисарайский фонтан».

Поэма о разбойниках до нас не дошла полностью, но по сохранившимся планам мы можем предполагать, что это было подробное повествование, сюжетной основой которого являлось соперничество двух любовниц атамана (аналогичный сюжет позже лег в основу «Бахчисарайского фонтана»). Отрывком же из той или уничтоженной, той ли ненаписанной поэмы Пушкин дорожил. В рамках предполагаемой «поэмы о разбойниках» история двух братьев была бы сюжетным отступлением, вставным рассказом. Высвободившись из контекста, она обрела новый смысл — так начинает жить новой жизнью этюд к ненаписанной картине. Отсюда наглядная «диспропорция» поэмы. За короткой экспозицией — картиной ночного пира разбойников — следует обширный, явно перевешивающий описательную часть монолог — «Пришельца нового рассказ».

Посылая П. А. Вяземскому рукопись поэмы, Пушкин писал: «Некоторые стихи напоминают перевод «Шильонского узника». Это несчастье для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 821 года»¹ (то есть до публикации перевода из Байрона). «Братья разбойники» вставляли в ряд с «Шильонским узником» — это тоже была поэма о гибельности несвободы, вновь ключевым образом становилась темница, вновь гибель брата, не перенесшего ужаса неволи, падала тяжелым ударом на душу исповедующегося героя. Жуковский задал связь двух важных мотивов: «тюрьма» и «исповедь». Пушкин связь эту в «Братьях разбойниках» закрепил. Потому-то и разросся, вытесняя описания, устраняя сюжет, монолог героя. В то же время Пушкин отчетливо «заземлил» тему. Узник Жуковского не только безвиновен, но и лишен индивидуальности, лица; исповедь его обращена в никуда или ко всем, реальные приметы времени, намеки на социальные обстоятельства в поэме отсутствуют. Пушкин сознательно наполнил свою поэму лексикой, откровенно жестокой и простонародной. В письмах к А. Бестужеву, оговаривая возможность публикации, поэт акцентирует внимание именно на «нелитературности» произведения: «...если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его»² (отрывок. — А. Н.). Героем стал разбойник, злодеяния которого вполне конкретны и способны ужаснуть не только «нежных

¹ Пушкин А. С. Полн. собр., соч., т. X, с. 58.

² Там же, с. 51.

читательниц». Контраст кровавой жестокости и свободолюбия делал фигуру героя психологически сложной. Воздействие Байрона соединялось с традицией русского фольклора, где разбойник одновременно привлекателен и страшен (эта двузначность разбойничьей темы будет развиваться у Пушкина вплоть до «Капитанской дочки»).

Другим вариантом романтической поэмы — опытом политического осмысления жанра — стал неоконченный «Вадим». Пушкин обратился к тираноборческому сюжету о Вадиме Новгородском. Одиноким романтический герой превращался в борца за политическую свободу. Однако замысел «Вадима» не увязывался у Пушкина с поэтикой жанра. Наряду с поэмой Пушкин пробовал разработать этот сюжет в форме трагедии, были также попытки писать «Вадима» народным стихом. В какой-то мере сам сюжет, представленный еще в трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» (1789), сопротивлялся жанровой природе поэмы. Сюжет был слишком классичен, слишком знаком, политические намеки слишком очевидны.

Если «Братья разбойники» и «Вадим» остались отрывками, то в «Бахчисарайском фонтане» на экзотическом восточном фоне разворачивался напряженный законченный сюжет. Неожиданность переходов от одного эпизода к другому, сюжетные умолчания, загадка гибели Марии, катастрофические взрывы страстей, отчетливый контраст двух героинь — все это создавало «яркие» каноны для русской романтической поэмы.

В 1830 году Пушкин, переосмысливая собственный опыт, писал: «Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство. Его кажется не критиковали. А. Раевский хохотал над следующими стихами:

Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю — и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет etc.

Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно как мелодрама¹. Характерна «ошибка» памяти поэта: «Бахчисарайский фонтан»

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. VII, с. 118.

вызвал достаточно оживленную полемику в 1823—1824 годах. Пушкин вряд ли попросту забыл тогдашние споры. В 1830 году было важно иное — подчеркнуть незаслуженный, как представлялось теперь, успех и связать его с гиперболизированной романтической поэтикой. Не случайно Пушкин дает «хохоту» Раевского расширительный смысл, тут же говоря о «молодых писателях», оставшихся на уровне поэтики «Бахчисарайского фонтана». В своей давней поэме Пушкин углядел готовую модель для эпитонов.

При работе над «Бахчисарайским фонтаном» Пушкину важно было создать не только сам текст романтической поэмы, но и романтическую легенду, окружающую этот текст. В письме А. Бестужеву от 8 февраля 1824 года сказано: «Радуюсь, что фонтан мой шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перелagal в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve»¹.

Цитата из А. Шенье значима — она усиливает смысл предшествующей фразы, становящейся важным автокомментарием к поэме. Как аргументированно показывает Ю. М. Лотман: «Пушкин сознательно и целенаправленно вызывал в литературных кругах Петербурга, еще до появления там поэмы, слухи об ее непосредственной связи с чувством автора»². «Бахчисарайский фонтан», по мысли Пушкина, должен был подводить читателя к убеждению в тайной любви его создателя. Отсюда особая роль лирической интонации, набирающей силу в финале поэмы («Я помню столь же милый взгляд // И красоту еще земную, // Все думы сердца к ней летят, // Об ней в изгнании тоскую...»).

Атмосфера тайны и страсти царит не только в поэме, но и окружает ее. Текст все время взаимодействует со строящейся легендой об «утаенной любви». В этом случае самые «недостатки плана» (то есть сюжета) становились достоинствами, наполнялись новым смыслом.

Четыре пушкинских поэмы вкуче с «Шильонским узником» очертили границы и возможности жанра. Надо было обладать незаурядным даром, чтобы в рамках установившейся нормы найти свой путь. Вглядываясь в историю романтической поэмы, отчетливо выделяешь три главных имени: Рылеев, Козлов, Баратынский.

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. X, с. 67. Перевод: «К нежным законам стиха я приноровал звуки // Ее милых и бесхитростных уст» (фр.).

² Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1982, с. 73.

Путь Рылеева — отчетливая «политизация» жанра. В «Войнаровском» была достигнута та цель, к которой, видимо, стремился Пушкин, работая над «Вадимом» (поиски Рылеева были вполне самостоятельны): романтическим героем стал бунтарь, борец за свободу, «изгнание» превратилось в суровую сибирскую ссылку, отчуждение от мира перестало быть поэтической метафорой. В истории Рылеев искал высокие гражданские образцы, проецируя на историческое прошлое декабристские идеалы. Поэт знал и не скрывал от читателей, что реальные события Северной войны, отношения Петра Великого и Мазепы складывались не совсем так, как представлено в поэме. «Жизнеописания» Войнаровского и Мазепы, написанные соответственно А. Корниловичем и А. Бестужевым и предпосланные поэме, — тому свидетельство. Но история глазами поэта и не должна равняться своду проверенных фактов, отсюда героизация Мазепы и Войнаровского.

Для декабриста Рылеева необычайно важно соотношение опыта героев с собственным. Рисуя бытие Войнаровского в изгнании, поэт соотносит его судьбу с предполагаемой своей. Исповедь борца за свободу становится исповедью поэта-декабриста, его словом к миру о своих идеалах. Сознание обреченности (поэма кончается смертью героя) опять-таки не случайно. Рылеев как бы утверждает: «Войнаровский погиб, вероятно, погибнем и мы, но иначе поступать невозможно». Романтическая поэма выходила за рамки литературы, начинала напрямую соотноситься с реальностью.

И в исповеди Наливайки звучат уже откровенно автобиографические, четкие до декларативности слова:

Известно мне: погибель ждет
 Того, кто первый восстает
 На утеснителей народа,—
 Судьба меня уж обрекла.
 Но где, скажи, когда была
 Без жертв искуплена свобода?
 Погибну я за край родной,
 Я это чувствую, я знаю...
 И радостно, отец святой,
 Свой жребий я благословляю!

Специфический «автобиографизм» «Войнаровского» и «Исповеди Наливайки», и менее чем через год — 14 декабря — поворотный день в судьбе Рылеева и его друзей, день, когда прозвучали слова: «Умрем, ах, как славно мы умрем!» Так поэтическое слово становилось поступком, деянием, к чему сознательно стремился Рылеев.

Декабристская линия романтической поэмы не погибла с Рылеевым. Его традиция продолжалась и после 1825 года, принимая разные обличья в «Андрее, князе Переяславском» А. Бестужева-Марлинского, «Василько» А. Одоевского, отчасти и в «Деве Карельских лесов» Ф. Глинки (тема изгнания, достаточно прозрачные аллюзии изгнания декабристского).

После 14 декабря мотив обреченности героя стал звучать особенно трагически. Скорбь о праведном и погубленном князе Василько, А. Одоевский думал, разумеется, и о своей участи и об участи своих друзей-декабристов. Не следует видеть социальный пессимизм в обращении к трагическим сюжетам, к символике «тьмы» (поэма завершается абсолютной темнотой: для ослепленного князя «целый мир — как мрачная темница!»). Конфликт тьмы и света (вспомним «Шильонского узника») мыслится Одоевским как глобальный, надисторический (пример из истории Древней Руси соотнесен с событиями сегодняшними, соотнесен хотя бы потому, что написана поэма на каторге). Но постоянство борьбы, поражения добра вовсе не означают примирения. Декабристская этика подразумевает подвиг вне зависимости от его «здравомысленности». Чем гуще мрак, тем необходимее свет: если есть память об ослепленном князе-мученике, значит, есть и надежда, та надежда, что продиктовала крылатую строку Одоевского: «Из искры возгорится пламя». Дойдя до трагического финала поэмы «Василько», читатель должен помнить свет, сиявший в ее начале, где о герое говорится: «Явился он, как месяц в сонме звезд».

Декабристская поэма во многом нарушила каноны поэмы Байрона. Это относится не только к ее политическому подтексту, но и к переосмыслению роли центрального персонажа. Сохранив его исключительность, поэты-декабристы устранили его духовную мрачность, герой стал лучом света во тьме. Если трагическая вина Войнаровского еще подразумевается, брезжит как одна из возможностей понимания характера, то Наливайко и Василько или герои стоящей в том же ряду неоконченной «Евпраксии» Д. В. Веневитинова противоречий лишены. Раздвоенность и подавленность, индивидуализм и разочарование героев Байрона заменены героизмом и светоносностью.

Эта особенность сохраняется даже в таком уникальном по трагическому накалу сочинении, как «Одичалый» Г. С. Батенькова, поэме, написанной в одиночном заключении, в крепости Свартгольм. В стихи отлилась страшная исповедь измученного телесно и духовно узника. Если судьба декабристов, сосланных в Сибирь, предсказана в «Войнаровском», то как бы пророчеством о судьбе Батенькова стал «Шильонский узник». На этот перевод Жуковского поэма Батенькова явно ориентирована (лирический монолог узни-

ка, мотив всепоглощающей тьмы). Однако узник Байрона — Жуковского был тьмою раздавлен. Узник Батенькова (автобиографический образ), стоящий на грани безумия, не подчиняется тьме. Отчаяние перебивается надеждой:

Вкушайте, сильные, покой,
 Готовьте новые мученья:
 Вы не удушите тюрьмой
 Надежды сладкой воскресенья!

* * *

Иной путь был избран наиболее талантливым «учеником» Жуковского И. И. Козловым. Блестящий знаток английского языка, внимательный читатель Байрона, Козлов сумел найти свой вариант жанра. Отличительная черта его поэзии — своеобразная мягкость, пастельность. Напряженные, исполненные драматизма сюжеты поэм Козлова как бы умиротворяются его плавным стихом. «Горящий» монолог героя «Чернеца» мотивирован психологически, это монолог предсмертный. Страсти, царящие в душе героя, могучи, но и ужасны, преступление, совершенное героем, ужасает его самого («Все, что сбылось, казалось мне, // Как что-то страшное во сне»). Монастырь в поэме Козлова не тюрьма, но остров спасения, куда удаляется измученный герой. В то же время поэт далек от осуждения героя — романтической поэме вовсе не нужен праведник. Рядом с правдой закона прощения живет правда души героя:

Но он, виновник разлученья,
 Он там, где милые в гробах,
 Когда еще в моих очах
 Дрожали слезы иступленья...
 То знает совесть, видит бог:
 Хотел простить — простить не мог.

Последний стих недаром восхищал Пушкина; по сути, Козлов приближался к тому двойному освещению романтического конфликта, что воплотилось в поэме «Цыганы». Красота мира, гармония природы становятся залогом прощения страдающего грешника, который никогда не мог забыть мелькнувшего перед ним счастья. Утрата возлюбленной, подобной ангелу, повергает героя в отчаяние и ведет его к преступлению, память о ней заставляет его страдать и оплакивать свершившееся. Преступление оторвало героя не только от мира, но и от той, за которую он мстил.

О, верь, не обогранный кровью,
 Дышал я чистою любовью,
 Умел земное позабыть:
 Я в небесах с ней думал жить!
 Теперь, как гибельным ударом,
 И там я с нею разлучен.

Козлов, естественно, не описывает загробного бытия героя — подобное было возможно в балладе, но не в поэме, которой мотивы фантастические чужды. Однако примиряющий аккорд в конце поэмы звучит; о смерти героя возвещает колокольный звон, его слышат люди: праведный схимник молится о покойнике, мать в рыбацкой хижине склоняется над проснувшимся младенцем, слышат звон колокола и «путник с милою женою», идущие полем в ночи. Любовь путников как бы отражает любовь умершего чернеца, появление их в последних строках поэмы звучит мягким намеком на «встречу», о которой скорбел герой.

Та же умиротворяющая, «умягчающая» страсти героев тональность заметна и в двух других поэмах Козлова. Козлов — наименее «экзотичный» из поэтов-романтиков: в его поэмах обрисовываются русский пейзаж, русская история, русский быт.

Сложный психологический рисунок сочетается у Козлова с отчетливо выраженным сочувствием к героям, почти интимным к ним отношением. Заключительная главка «Княгини Натальи Борисовны Долгорукой» заставляет воспринять поэму, историю героини как нечто особо значимое для автора (а стало быть, и для читателя).

Я вспомнил ночь, когда, томимый
 Тоской, ничем не отразимой,
 В Печерской лавре я сидел
 Над той спокойною могилой,
 Надеждам страшной, сердцу милой,
 В которой прах священный тлел;
 Она душе была порукой
 Неверной радости земной,—
 И тень Натальи Долгорукой
 Во тьме носилась надо мной.

Подобного переосмысления собственной жизни через судьбу героя нет у Пушкина или Баратынского — Козлов и в поэмах остался лириком по преимуществу, в этом смысле естественна его близость Жуковскому, умевшему внести интимную интонацию в сколь угодно стародавнюю историю.

Если Рылеев «возвышал» романтического героя, а Козлов приближал его к читателю, усиливая сопереживание, то Баратынский героя анализировал. Выше говорилось о том, что человек в романтическом мировосприятии — это прежде всего тайна. Баратынский стремился тайну объяснить: понять героя.

Стремление это заметно уже в его первой поэме — «Эде», недаром удивившей современников. Сюжет «Эды» можно рассматривать как шаг в прошлое — напрашивается аналогия с сентиментальной повестью, с «Бедной Лизой» Карамзина. Если учесть, что Баратынский, как показал Ю. В. Манн, сознательно убирал и из облика гусара и из обрисовки конфликта черты романтические¹, то картина представится особенно сложной. Поэт сознательно прозаизировал сюжет, тем самым выявляя внутреннюю суть современного человека. Этому способствовало нежелание Баратынского подчинять поэму одному персонажу: гусар и Эда, Нина и Арсений, Елецкой, Сара и Вера даны «на равных». С подобным мы сталкивались в «Бахчисарайском фонтане», но там могучие страсти Гирея и Заремы были однотипны, а образ Марии — подчинен «ангельскому» канону. У Баратынского же *разномасштабность* изображения героев подразумевает их *разнохарактерность*. В рамках его поэмы тайлся психологический роман.

Анализ Баратынского вел к сложной организации сюжета. Если пленник Пушкина был сразу и разочарованным, и смертельно раненным любовью, и одушевленным свободой, то Арсений, Нина и Елецкой проходят стадии романтического развития последовательно. Переходы от притяжения жизни к мизантропии или от обреченности разочарования к новой любви всегда тщательно мотивированы. «Проза» видна как в бытовых подробностях, так и в общем ходе событий.

Поэмы Баратынского показали романтического героя человеком одиноким. Но «тьму» «байронических» поэм заменил «холод», холод внутренний, ибо, даже возрождаясь к жизни новой (Арсений в «Бале» и Елецкой в «Цыганке»), герои холод в душе сохраняют.

Напряженный, оценивающий взгляд Баратынского изменил статус романтического героя; снизив бурную патетичность его чувств анализом страстей, поэт в обыкновенном человеке разглядел романтического индивидуалиста, лелеющего свое «я». Пушкин не случайно писал о «болезненном соучастии»² Баратынского к своим

¹ См.: Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976, с. 176—179.

² Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. VII, с. 61.

героям — герои Баратынского действительно «больны» духовно, и авторское участие в их судьбах напоминает отношения врача с пациентами.

* * *

В истории любого жанра можно заметить произведения «особой стати». Вбирая самую суть жанра, они превращаются в его своеобразную «эмблему», концентрируют энергию жанра, но и преодолевают ее, открывают дорогу действительно новой, соотносятся с историей литературы не в масштабе годов и десятилетий, но в рамках «большого времени». Литература «путешествий» конца XVIII века выдвигает на передний план великие книги Радицева и Карамзина. Русский психологический роман второй половины XIX столетия существует под знаком Толстого, автора «Войны и мира». Подобное место в истории романтической поэмы занимают пушкинские «Цыганы».

Поэма эта писалась в 1824 году, в 1825-м она стала известна по отрывкам, а в полном виде была опубликована лишь в декабрьскую эпоху, в 1827 году. «Цыганы» явились высшим достижением жанра, не хронологическим, а эстетическим его завершением. В основе сюжета поэмы — бегство героя от цивилизованного мира, но причину бегства сформулировать однозначно нельзя. Земфира говорит об Алеко: «Его преследует закон», — но она же спрашивает его: «Скажи, мой друг: ты не жалеешь // О том, что бросил навсегда?» «Изгнанник перелетный» — одновременно и преступник и добровольный беглец из «неволи душевных городов». Герой, тяготившийся окружающим миром, восставший против него и его покинувший, несет мир этот в своей душе:

Но боже, как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди.

«Страсти», «измученная грудь» — слова эти произнесены еще до трагического конфликта. Герой, вкушивший цыганской свободы, цыганского простора («Ему везде была дорога, // Везде была ночлега сень»), находится как бы в усыплении. Жизнь его вне страстей — это сладкий сон, а сны — царство страсти:

«О мой отец, Алеко страшен:
Послушай, сквозь тяжелый сон
И стонет, и рыдает он».

«Ночной дух», которого поминает старик — отец Земфиры, — это неутоленная мука Алеко, в которой прошлое («Другое имя произносит» — имя прежней возлюбленной, гибель или измена которой сокрушили душевный покой Алеко) мешается с будущим («Мне снилась ты. // Я видел, будто между нами... // Я видел страшные мечты»). Алеко губит тоска, тоска по полноте идеала, он ощущает утрату Земфиры задолго до того, как увидел «страшные мечты» наяву, задолго до того, как проснувшиеся страсти сделали его убийцей. Герой может лишь приблизиться к бытию цыган, но не слиться с ним.

Лунный, ускользящий по природе своей свет разлит по поэме; с луной сравнивается вольная любовь Земфиры. Старик любил Мариулу не менее глубоко, чем Алеко Земфиру, но для него сами понятия мести и ревности абсурдны. Мир цыган исключает мщение, исключает те страсти, без которых нет Алеко. И не только его. В не связанном с сюжетом рассказе старика о римском поэте-изгнаннике Овидии звучит та же тема. «Святой старик», как называет его рассказчик, не смог слиться с заботами «жизни бедной», тоска по Риму сохранилась у него до самой смерти, он ощущал себя чужим на берегах Дуная не только потому, что был сослан. Мир, сформировавший изгнанника, не отпускает, не может отпустить его.

Цыганская жизнь не идиллична, и отнюдь не потому, что цыганы «бедны» и «скитаются». Тяжесть есть в судьбе старика, смертью платят за любовь Земфиры и ее возлюбленный. И было бы неверно по этому поводу лишь осуждать Алеко. Последняя реплика героини: «Умру любя». В ней звучит голос проснувшейся страсти, которая оказалась властной и над вольной Земфирой.

В приговоре, который произносит старик, звучит не осуждение Алеко, но осознание несовместимости героя с миром цыган. Гордый человек, который «для себя лишь» хочет воли, не проклинается, но отодвигается в сторону. Рядом с правдой цыган («жить с убийцей не хотим») существует правда героя, который не может существовать иначе. Боль Алеко — это боль автора, в то же время ужасающегося следствию страстей. Параллелизм автора и героя, заданный уже их именами (Алеко — Александр), становится очевидным в эпилоге, где поэт говорит о собственных прошлых странствиях с цыганами, о своей «цыганской» любви:

И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Два взгляда на случившееся, соотнесение правды мира и правды героя означали глубинный поворот темы, открывали одну из магистральных линий русской литературы. Потому «Цыганы» оказались столь важны для Толстого в пору работы над «Казака-

ми». Потому о «Цыганах» говорил в «Пушкинской речи» Достоевский: «В типе Алеко, герое поэмы «Цыганы», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо-реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем (...) Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут»¹.

Лирическая энергия поэмы отозвалась не только у ближайших подражателей: цыганская тема в русской поэзии — у Полонского, у А. Григорьева, у Блока — невысказана без отголосков пушкинской поэмы.

* * *

Гениальным и неожиданным послесловием жанра стали поэмы Лермонтова. В конце 30-х годов казалось, что поэма окончательно перешла в руки эпигонов. Однако время это дало последнюю яркую вспышку жанра — поэмы «Демон» и «Мцыри».

Темы обеих поэм сопровождали Лермонтова с начала его творчества. Первая редакция «Демона» создавалась в 1829 году; в 1831 году написана «Исповедь», замысел которой трансформировался затем в «Боярине Орше», а позже — в «Мцыри». Обе темы оставались с поэтом фактически до его смерти («Демон» так и не получил окончательного авторского завершения). Истоки обеих тем легко устанавливаются. Демонизм вырастает из проблемы отчужденного героя-бунтаря или преступника, вступившего в спор со всем миром. Применительно к Пушкину выражение «весь мир» следует понимать не слишком конкретно: пленник, Гирей, Алеко остаются людьми, а человек вне мира не существует. У Лермонтова — иначе: спор его героя с миром глобален, космичен, потому и героем становится не человек, одержимый демоном страсти, но сам Демон. Жертвуя психологической проблематикой, Лермонтов поднимал вопросы о свободе личности, о добре и зле, то есть вопросы по преимуществу философские.

Загадочность является непременным атрибутом романтического героя, чья личность никогда и никак не может подчиниться строгой логике. Лермонтов доводит загадочность до высочайшей точки, делая вопрос о сути своего центрального персонажа неразрешимым. «Едва ли не все перипетии «Демона», равно как и конечная

¹ Достоевский Ф. М. Об искусстве. М., 1973, с. 352.

художественная цель, удовлетворяют сразу нескольким объяснениям, подчас прямо исключая друг друга», — обоснованно пишет И. Роднянская, автор статьи, название которой с поэтической точностью указывает на смысл поэмы — «Демон ускользающий»¹.

И далее мысль исследовательницы конкретизируется: «Видит ли автор в своем Демоне принципиального (пусть и страдающего) носителя зла или только мятежную жертву «несправедливого приговора»... В какой мере свободна воля героя, рвущегося к возрождению, — predetermined ли извне неосуществимость его «безумных» мечтаний, или он все-таки несет личную ответственность за смерть героини и за свою трагическую неудачу?» Парадоксальность героя и жанра стала единственным законом, царящим в поэме, где, по словам той же исследовательницы, «изобильная и мучительная запутанность содержания отливается в объективно убедительную форму»².

Смысловая многоликость поэмы и ее заглавного персонажа связана прежде всего с глубоко лирическим характером: словно бы на глазах читателя разворачивается бесконечный поиск Лермонтова, поиск, который важнее результата. Варьирующееся отношение автора к герою важно именно своей «зыблемостью», «текучестью». Это не ответ, а вопрос, не итог, а живое переживание тех проблем, что были поставлены романтической эпохой.

Последекабрьские десятилетия — время вопросов, время рефлексии, время внутренней сосредоточенности, и поэма «Демон» не в последнюю очередь предстает как попытка самоанализа. И здесь стоит взглянуть на проблему не с узкобиографической точки зрения. Не только Лермонтов вглядывался в себя, продумывая разные этико-философские варианты извечных проблем (свобода воли, добро и зло, одиночество личности), — сама культура романтизма потребовала самоанализа.

В ранней лирике и поэмах Лермонтова исследователи обнаружили море заимствований, литературных цитат, типовых сюжетных ходов. В какой-то мере эта особенность осталась и в зрелом творчестве поэта. Это стремление «опробовать» чужое и создавать из него свое — одна из характернейших черт поэтики Лермонтова. И отразилась в нем не только определенная «книжность» поэта; выросший на огромной готовой культуре (первые опыты Лермонтова датируются 1828 годом, когда романтизм уже перестал быть новинкой, а стал плотью русской словесности, более того, уже намечался его закат), Лермонтов стремится прежде всего культуру эту познать.

¹ «Вопросы литературы», 1981, № 5, с. 141.

² Там же, с. 141—142, 162.

Эта тяга к познанию обнаруживается и в поэме «Мцъри». Обратившись к ситуации «невинного узника», Лермонтов не довольствовался сочувствием герою. Мцъри может не бояться бури, победить барса, быть сильным и могучим, но лишь до известного предела:

Да, заслужил я жребий мой!
 Могучий конь в степи чужой,
 Плохого сбросив седока,
 На родину издалека
 Найдет прямой и краткий путь.
 Что я пред ним?

Свободный и прекрасный, описанный с удивительной мягкостью, пластичностью и теплотой мир Кавказа остается недостижимым. И виной тому не преследователи (за Мцъри никто не гонится). Не пускает героя домой природа, та, что поначалу приняла Мцъри как своего (характерны его «объятия» с природой: «обняться с бурей был бы рад», битва с барсом — это битва равных, не случайно возникает образ «дружеских объятий»). Но чем дальше развивается действие, тем враждебнее мир внешний к Мцъри: герой чужд природе и, видимо, уже чужд отцовскому дому. Неволя сделала свое дело. На смену богатырским образам приходит иное сравнение. Могучий Мцъри («Глазами тучи я следил, // Рукою молнию ловил...») сравнивается со слабым темничным цветком. Показательны предсмертные мечты Мцъри:

Когда я стану умирать,
 И, верь, тебе не долго ждать —
 Ты перенести меня вели
 В наш сад, в то место, где цвели
 Акаций белых два куста...
 Трава меж ними так густа,
 И свежий воздух так душист,
 И так прозрачно золотист
 Играющий на солнце лист!
 Там положить вели меня.
 Сияньем голубого дня
 Упьюся я в последний раз.
 Оттуда виден и Кавказ!

Это положение на границе между «тюрьмой» — монастырем и волей, между цивилизацией и природой, удивительный сад, о котором грезит Мцъри, разительно напоминает другое его видение — «влажное дно». Возникают те же мотивы прохлады, покоя,

тишины и легкости. Герой не может оставаться узником, но у него не хватает сил на свободу, на борьбу, на выход из неволи. Невинный страдалец и гордый бунтарь превращается в усталого человека. Усталость эта сквозит в финале «Мцыри», она же слышится в одном из последних стихотворений Лермонтова — «Выхожу один я на дорогу...», где возникает сходная картина обретенного покоя: тень, склонившиеся ветви, чудный голос, поющий песню. Усталость романтического героя, его уход из мира неразрешимых антитез были одним из закономерных итогов эволюции образа и жанра.

* * *

Умчался век эпических поэм,
И повести в стихах пришли в упадок,—

написал Лермонтов в «Сказке для детей». «Повести в стихах» — это и есть романтические поэмы: большинство произведений, публикуемых в нашей книге, носят такой подзаголовок. Может быть, стоило назвать сборник иначе? Конечно, нет. Повести в стихах стали поэмами, ибо благодаря им родилось новое понимание жанра. В упадок пришел канон, естественно ставший достоянием эпигонов — живая суть жанра осталась живой.

Романтическая поэма много говорит о людях первой половины прошлого века, их страстях, помыслах, духовных порывах. И, как всякое подлинное художественное слово, она перерастает свое время, свою культуру. То, что опыт русского романтизма оказался важным для отечественной поэзии второй половины XIX—XX веков, и то, что мы сейчас читаем Козлова и Рылеева, Глинку и Одоевского, не говоря уж о Жуковском, Баратынском, Лермонтове, Пушкине, взаимосвязано. Это и есть единство культуры, где слово большого писателя не умирает, но со временем обретает все большую глубину и силу.

А столетняя чаровница
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек,
И брюлловским манит плечом.

Эти строки из «Поэмы без героя» А. Ахматовой как нельзя лучше передают и странное обаяние старинного жанра, и его включенность в нашу духовную жизнь.

РУССКАЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ПОЭМА



В. А. Жуковский



ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

Повесть

Замок Шильон, в котором с 1530 по 1537 заключен был знаменитый Бонивар, женеvский гражданин, мученик веры и патриотизма, находится между Клара-ном и Вильнеvом, у самых восточных берегов Женеvского озера (Лемана). Из окон его видны с одной стороны устье Роны, долина, ведущая к Сен Морицу и Мартиньи, снежные Валлизские горы и высокие утесы Мельери; а с другой — Монтре, Шателар, Кларан, Веvе, множество деревень и замков; пред ним расстилается необъятная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют Лозанна, Морж, Сен-Пре и Ролль; а позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до 800 французских футов. Можно подумать, что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием: где кончится поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, до половины выдолблена в гранитном утесе: своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу; на одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бониварова; а на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей все по одному месту.

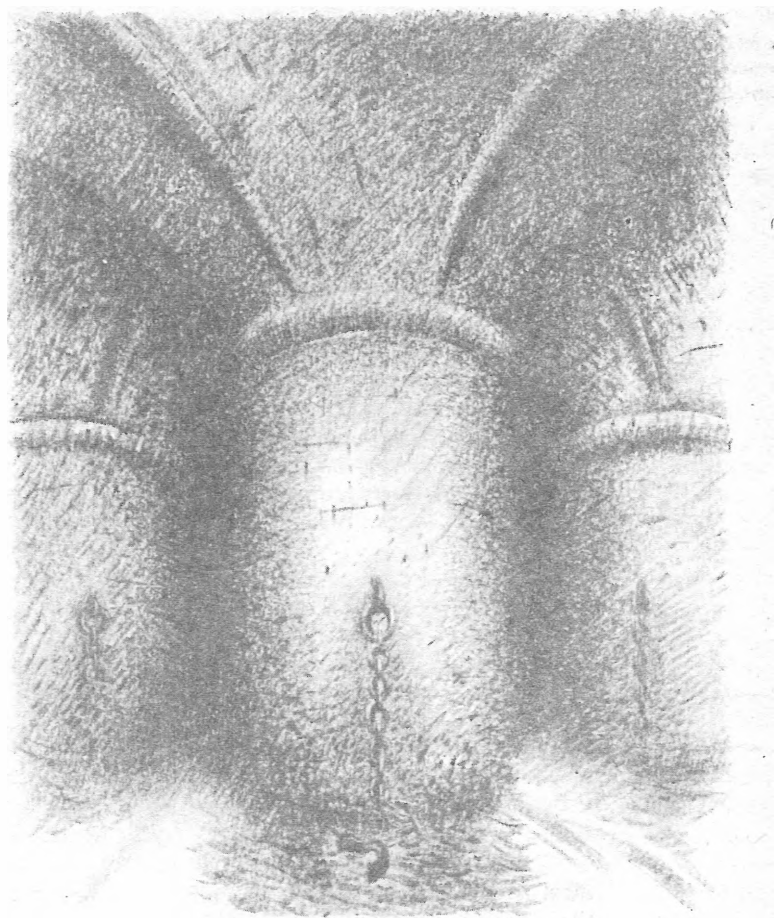
Неподалеку от устья Роны, вливающейся в Женевское озеро, недалеко от Вильнева, находится небольшой островок, единственный на всем пространстве Лемана; он неприметен, когда плывешь по озеру, но его можно легко различить из окон замка.

I

Взгляните на меня: я сед,
Но не от хилости и лет;
Не страх незапный в ночь одну
До срока дал мне седину.
Я сгорблен, лоб наморщен мой,
Но не труды, не хлад, не зной—
Тюрьма разрушила меня.
Лишенный сладостного дня,
Дыша без воздуха, в цепях,
Я медленно дряхлел и чах,
И жизнь казалась без конца.
Удел несчастного отца—
За веру смерть и стыд цепей—
Уделом стал и сыновей.
Нас было шесть—пяти уж нет.
Отец, страдалец с юных лет,
Погибший старцем на костре,
Два брата, падшие во пре,
Отдав на жертву честь и кровь,
Спасли души своей любовь.
Три заживо схоронены
На дне тюремной глубины—
И двух сожрала глубина;
Лишь я, развалина одна,
Себе на горе уцелел,
Чтоб их оплакивать удел.

II

На лоне вод стоит Шильон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет—
Луч, ненароком с вышины
Упавший в трещину стены
И заронившийся во мглу.



И на сыром тюрьмы полу
Он светит тускло, одинок,
Как над болотом огонек,
Во мраке веющий ночном.
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное им.
И день тяжел глазам моим,
Отвыкнувшим с толь давних лет
Глядеть на радующий свет;
И к воле я душой остыл
С тех пор, как брат последний был
Убит неволей предо мной
И, рядом с мертвым, я, живой,
Терзался на полу тюрьмы.

III

Цепями теми были мы
К колоннам тем пригвождены,
Хоть вместе, но разлучены;
Мы шагу не могли ступить.
В глаза друг друга различить
Нам бледный мрак тюрьмы мешал.
Он нам лицо чужое дал —
И брат стал брату незнаком.
Была услада нам в одном:
Друг другу голос подавать,
Друг другу сердце пробуждать
Иль былью славной старины,
Иль звучной песнею войны —
Но скоро то же и одно
Во мгле тюрьмы истощено;
Наш голос страшно одичал,
Он хриплым отголоском стал
Глухой тюремныя стены;
Он не был звуком старины,
В те дни, подобно нам самим,
Могучим, вольным и живым!
Мечта ль?.. но голос их и мой
Всегда звучал мне как чужой.

IV

Из нас троих я старший был;
Я жребий собственный забыл,
Дыша заботою одной,
Чтоб им не дать упасть душой.
Наш младший брат — любовь отца...
Увы! черты его лица
И глаз умильная краса,
Лазоревых, как небеса,
Напоминали нашу мать.
Он был мне все — и увядать
При мне был должен милый цвет,
Прекрасный, как тот дневный свет,
Который с неба мне светил,
В котором я на воле жил.
Как утро, был он чист и жив:
Умом младенчески игрив,
Беспечно весел сам с собой...
Но перед горестью чужой
Из голубых его очей
Бежали слезы, как ручей.

V

Другой был столь же чист душой,
Но дух имел он боевой:
Могуч и крепок в цвете лет,
Рад вызвать к битве целый свет
И в первый ряд на смерть готов...
Но без терпенья для оков.
И он от звука их завял!
Я чувствовал, как погибал,
Как медленно в печали гас
Наш брат, незримый нам, близ нас;
Он был стрелок, жилец холмов,
Гонитель вепрей и волков —
И гроб тюрьма ему была;
Неволи сила не снесла.

VI

Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;

В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
Печальный свод, который нам
Могилой заживо служил,
Изрыт в скале подводной был;
И день и ночь была слышна
В него бьющая волна
И шум над нашей головой
Струй, отшибаемых стеной.
Случалось — бурей до окна
Бывала взброшена волна,
И брызгов дождь нас окроплял;
Случалось — вихорь бушевал,
И содрогалася скала;
И с жадностью душа ждала,
Что рухнет и задавит нас:
Свободой был бы смертный час!

VII

Средний брат наш — я сказал —
Душой скорбел и увядал.
Уныл, угрюм, ожесточен,
От пищи отказался он:
Еда тюремная жестка;
Но для могучего стрелка
Нужду переносить легко:
Нам коз альпийских молоко
Сменила смрадная вода;
А хлеб наш был, какой всегда —
С тех пор как цепи созданы —
Слезами смачивать должны
Невольники в своих цепях.
Не от нужды скорбел и чах
Мой брат: равно завял бы он,
Когда б и негой окружен
Без воли был... Зачем молчать?
Он умер... я ж ему подать
Руки не мог в последний час,
Не мог закрыть потухших глаз;
Вотще я цепи грыз и рвал —
Со мною рядом умирал
И умер брат мой, одинок;
Я близко был — и был далек.

Я слышать мог, как он дышал,
Как он дышать переставал,
Как вздрагивал в цепях своих
И как ужасно вдруг затих
Во глубине тюремной мглы...
Они, сняв с трупа кандалы,
Его без гроба погребли
В холодном лоне той земли,
На коей он невольник был.
Вотще я их в слезах молил,
Чтоб брату там могилу дать,
Где мог бы дневный луч сиять;
То мысль безумная была,
Но душу мне она зажгла:
Чтоб волен был хоть в гробе он.
«В темнице, мнил я, мертвых сон
Не тих...» Но был ответ слезам
Холодный смех; и брат мой там
В сырой земле тюрьмы зарыт,
И в головах его висит
Пук им оставленных цепей:
Убийц достойный мавзолей.

VIII

Но он — наш милый, лучший цвет,
Наш ангел с колыбельных лет,
Сокровище семьи родной,
Он — образ матери душой
И чистой прелестью лица,
Мечта любимая отца,
Он — для кого я жизнь щадил,
Чтоб он бодрей в неволе был,
Чтоб после мог и волен быть...
Увы! он долго мог сносить
С младенческой тишиной,
С терпеньем ясным жребий свой;
Не я ему — он для меня
Подпорой был... Вдруг день от дня
Стал упадать, ослабевал,
Грустил, молчал и молча вял.
О боже! боже! страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека... я видал,

Как ратник в битве погибал;
Я видел, как пловец тонул
С доской, к которой он прильнул
С надеждой гибнущей своей;
Я зрел, как издыхал злодей
С свирепой дикостью в чертах,
С богохуленьем на устах,
Пока их смерть не заперла;
Но там был страх — здесь скорбь была,
Болезнь глубокая души.
Смиранным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне... Увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах:
Ни вздоха скорби на устах;
Ни ропота на жребий свой;
Лишь слово изредка со мной
О наших прошлых временах,
О лучших будущего днях,
О упованье... но, объят
Сей тратой, горшею из трат,
Я был в свирепом забытьи.
Вотще, кончаясь, он свои
Терзанья смертные скрывал...
Вдруг реже, трепетнее стал
Дышать, и вдруг умолкнул он...
Молчаньем страшным пробужден,
Я вслушиваюсь... тишина!
Кричу как бешеный... стена
Откликнулась... и умер гул...
Я цепь отчаянно рванул
И вырвал... К брату — брата нет!
Он на столбе — как вешний цвет,
Убитый хладом, — предо мной
Висел с поникшей головой.
Я руку тихую поднял;
Я чувствовал, как исчезал
В ней след последней теплоты;
И мнилось, были отняты
Все силы у души моей;

Все страшно вдруг сперлося в ней;
Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был,
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой;
И, взор на мертвого вперив,
Я знал лишь смутно, что я жив.
О! сколько муки в знанье том,
Когда мы тут же узнаем,
Что милому уже не быть!
И миг тот мог я пережить!
Не знаю — вера ль то была,
Иль хладность к жизни жизнь спасла?

IX

Но что потом сбилось со мной —
Не помню... Свет казался тьмой,
Тьма — светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в мутную слилось тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было — тьма без темноты;
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

X

Вдруг луч внезапный посетил
Мой ум... то голос птички был.
Он умолкал; он снова пел;
И мнилось, с неба он летел;
И был утешно-сладок он.
Им очарован, оживлен,
Заслушавшись, забылся я,
Но ненадолго... мысль моя
Стезей привычною пошла,
И я очнулся... и была
Опять передо мной тюрьма,
Молчанье то же, та же тьма;
Как прежде, бледною струей
Прокрадывался луч дневной
В стенную скважину ко мне...
Но там же, в свете, на стене
И мой певец воздушный был:
Он трепетал, он шевелил
Своим лазоревым крылом;
Он озарен был ясным днем;
Он пел приветно надо мной...
Как много было в песне той!
И все то было — про меня!
Ни разу до того я дня
Ему подобного не зрел!
Как я, казалось, он скорбел
О брате, и покинут был;
И он с любовью навестил
Меня тогда, как ни одним
Уж сердцем не был я любим;
И в сладость песнь его была:
Душа невольно ожила.
Но кто ж он сам был, мой певец?
Свободный ли небес жилец?
Или, недавно от цепей,
По случаю к тюрьме моей,
Играя в небе, залетел
И о свободе мне пропел?
Скажу ль?.. Мне думалось порой,
Что у меня был не земной,
А райский гость; что братний дух
Порадовать мой взор и слух
Примчался птичкою с небес...

Но утешитель вдруг исчез;
Он улетел в сиянье дня...
Нет, нет, то не был брат... меня
Покинуть так не мог бы он,
Чтоб я, с ним дважды разлучен,
Остался вдвое одинок,
Как труп меж гробовых досок.

XI

Вдруг новое в судьбе моей:
К душе тюремных сторожей
Как будто жалость путь нашла;
Дотоле их душа была
Бесчувственной желез моих;
И что разжалобило их?
Что милость вымолило мне,
Не знаю... но опять к стене
Уже прикован не был я;
Оборванная цепь моя
На шее билася моей;
И по тюрьме я вместе с ней
Вдоль стен, кругом столбов бродил,
Не смея братних лишь могил
Дотронуться моей ногой,
Чтобы последняя земной
Святыни там не оскорбить.

XII

И мне оковами прорыть
Ступени удалось в стене;
Но воля не входила мне
И в мысли... я был сирота,
Мир стал чужой мне, жизнь пуста,
С тюрьмой я жизнь сдружил мою:
В тюрьме я всю свою семью,
Все, что знавал, все, что любил,
Невозвратимо схоронил,
И в области веселой дня
Никто уж не жил для меня;
Без места на пиру земном,
Я был бы лишний гость на нем,
Как облако при ясном дне,

Потерянное в вышине
И в радостных его лучах
Ненужное на небесах...
Но мне хотелось бросить взор
На красоту знакомых гор,
На их утесы, их леса,
На близкие к ним небеса.

ХШ

Я их увидел — и оне
Все были те ж: на вышине
Веков создание — снега,
Под ними Альпы и луга,
И бездна озера у ног,
И Роны блестящий поток
Между зеленых берегов;
И слышен был мне шум ручьев,
Бегущих, бьющих по скалам;
И по лазоревым водам
Сверкали ясны облака;
И быстрый парус челнока
Между небес и вод летел;
И хижины веселых сел,
И кровы светлых городов
Сквозь пар мелькали вдоль берегов...
И я заметил островок;
Прекрасен, свеж, но одиноч
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нем,
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,
И воды были там живей,
И обвивались нежней
Кругом родных берегов оне.
И видел я: к моей стене
Челнок с пловцами приставал,
Гостил у берега, отпльывал
И при свободном ветерке
Летя, скрывался вдалеке;
И в облаках орел играл,
И никогда я не видал
Его столь быстрым — то к окну
Спускался он, то в вышину
Взлетал — за ним душа рвалась;

И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне сжала грудь... мне стало жаль
Моих покинутых цепей.
Когда ж на дно тюрьмы моей
Опять сойти я должен был —
Меня, казалось, обхватил
Холодный гроб; казалось, вновь
Моя последняя любовь,
Мой милый брат передо мной
Был взят несытою землей;
Но как ни тяжело ныла грудь —
Чтоб от страданья отдохнуть,
Мне мрак тюрьмы отрадой был.

XIV

День приходил, день уходил,
Шли годы — я их не считал;
Я, мнилось, память потерял
О переменах на земли.
И люди наконец пришли
Мне волю бедную отдать.
За что и как? О том узнать
И не помыслил я — давно
Считать привык я за одно:
Без цепи ль я, в цепи ль я был,
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал,
И равнодушно цепь скидал,
И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей... там все друг,
Все однодomeц было мой:
Паук темничный надо мной
Там мирно ткал в моем окне;
За резвой мышью при луне
Я там подсматривать любил;
Я к цепи руку приучил;
И... столь себе неверны мы! —
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.

А.С. ПУШКИН



КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Повесть

Посвящение

Н. Н. Раевскому

Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношение:
Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил;
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил.

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту¹*, пустынный величавый,
Аулов² и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?

* Цифры в поэме отсылают к примечаниям, помещенным Пушкиным в конце «Кавказского пленника». — Ред.

*Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.*

*Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя
Едва, едва расцвел и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.
Отечество тебя ласкало с умилением,
Как жертву милую, как верный свет надежд.
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
И счастье моих друзей
Мне было сладким утешеньем.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ауле, на своих порогах,
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Вспоминают прежних дней
Неотразимые набеги,
Обманы хитрых узденей³,
Удары шашек⁴ их жестоких,
И меткость неизбежных стрел,
И пепел разоренных сел,
И ласки пленниц чернооких.

Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» — хищник возопил.

Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.
Лица врагов не видит он,
Угроз и криков их не слышит;
Над ним летает смертный сон
И холодом тлетворным дышит.

И долго пленник молодой
Лежал в забвении тяжелом.
Уж полдень над его главой
Пылал в сиянии веселом;
И жизни дух проснулся в нем,
Невнятный стон в устах раздался;
Согретый солнечным лучом,
Несчастный тихо приподнялся;
Кругом обводит слабый взор...
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада.
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.
Вспомнил юноша свой плен,
Как сна ужасного тревоги,
И слышит: загремели вдруг
Его закованные ноги...
Все, все сказал ужасный звук;
Затмилась перед ним природа.
Прости, священная свобода!
Он раб.

За саклями⁵ лежит
Он у колючего забора.
Черкесы в поле, нет надзора,
В пустом ауле все молчит.
Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой;
Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины;
Меж них уединенный путь
В дали теряется угрюмой:
И пленника молодого грудь
Тяжелой взволновалась думой...

В Россию дальний путь ведет,
В страну, где пламенную младость
Он гордо начал без забот;
Где первую познал он радость,
Где много милого любил,
Где обнял грозное страданье,
Где бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье,
И лучших дней воспоминанье
В увядшем сердце заключил.

Людей и свет изведаль он
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашёл измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Свершилось... целью уповань
Не зрит он в мире ничего.
И вы, последние мечтанья,
И вы сокрылись от него.
Он раб. Склонясь главой на камень,
Он ждет, чтоб с сумрачной зарей
Погас печальной жизни пламень,
И жаждет сени гробовой.

Уж меркнет солнце за горами;
Вдали раздался шумный гул;
С полей народ идет в аул,
Сверкая светлыми косами.
Пришли; в домах зажглись огни,
И постепенно шум нестройный
Умолкнул; все в ночной тени
Объято негою спокойной;
Вдали сверкает горный ключ,
Сбегая с каменной стремнины;
Оделись пеленою туч
Кавказа спящие вершины...
Но кто, в сиянии луны,
Среди глубокой тишины
Идет, украдкою ступая?
Очнулся русский. Перед ним,
С приветом нежным и немым,
Стоит черкешенка младая.
На деву молча смотрит он
И мыслит: это лживый сон,
Усталых чувств игра пустая.
Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс⁶ прохладный
Подносит тихою рукой.
Но он забыл сосуд целебный;
Он ловит жадною душой
Приятной речи звук волшебный
И взоры девы молодой.
Он чуждых слов не понимает;
Но взор умильный, жар ланит,
Но голос нежный говорит:
Живи! и пленник оживает.
И он, собрав остаток сил,
Веленью милому покорный,
Привстал — и чашей благотворной
Томленья жажды утолил.
Потом на камень вновь склонился
Отягощенною главой,
Но все к черкешенке младой
Угасший взор его стремился.

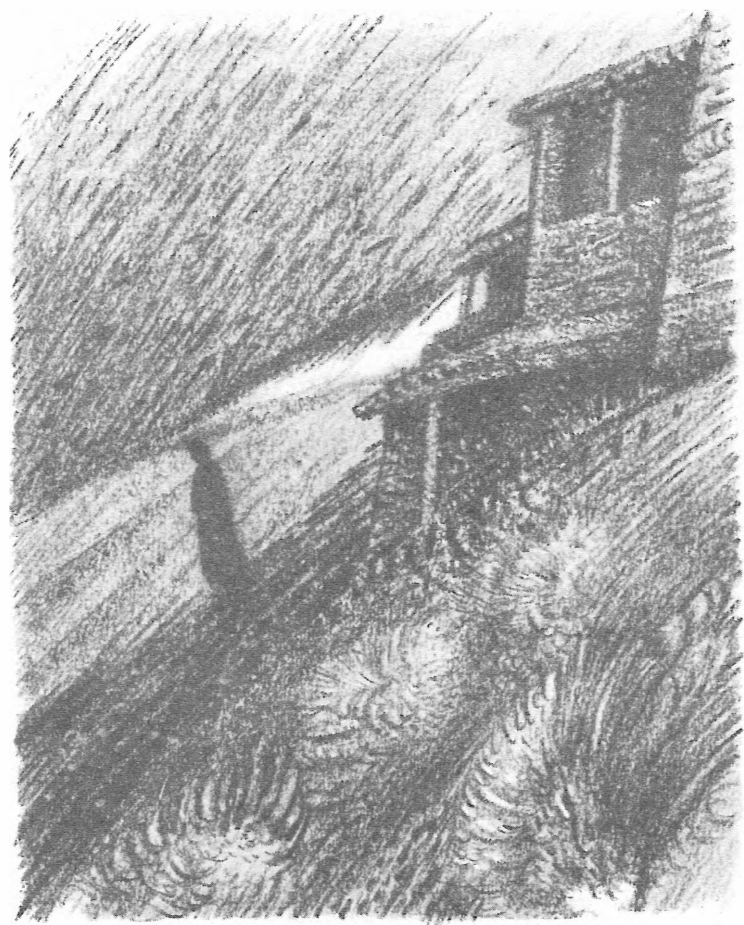
И долго, долго перед ним
Она, задумчива, сидела;
Как бы участием немым
Утешить пленника хотела;
Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались;
Она вздыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись.

За днями дни прошли как тень.
В горах, окованный, у стада
Проводит пленник каждый день.
Пещеры влажная прохлада
Его скрывает в летний зной;
Когда же рог луны серебристой
Блеснет за мрачною горой,
Черкешенка, тропой тенистой,
Приносит пленнику вино,
Кумыс, и ульев сот душистый,
И белоснежное пшено;
С ним тайный ужин разделяет;
На нем покоит нежный взор;
С неясной речью сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой⁷,
И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой.
Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье,
Но русский жизни молодой
Давно утратил сладострастье.
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой—
Быть может, сон любви забытой
Боялся он вспоминать.

Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз:
Но вы, живые впечатленья,

Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь.

Казалось, пленник безнадежный
К унылой жизни привыкал.
Тоску неволи, жар мятежный
В душе глубоко он скрывал.
Влачась меж угрюмых скал,
В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом⁸.
Когда, с глухим сливаясь гулом,
Предтеча бури, гром гремел,
Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
У ног его дымилась тучи,
В степи взвивался прах летучий;
Уже приюта между скал
Елень испуганный искал;
Орлы с утесов подымались
И в небесах перекликались;
Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались...
И вдруг на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые —
А пленник, с горной вышины,
Один, за тучей громовою,
Возврата солнечного ждал,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.



Но европейца всё вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани;
Смотрел по целым он часам,
Как иногда черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремяна
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешен;
Он им гордится, им утешен;
На нем броня, пицаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный —
Все тот же он; все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.
Гроза беспечных казаков,
Его богатство — конь ретивый.
Питомец горских табунов,
Товарищ верный, терпеливый.
В пещере иль в траве глухой
Коварный хищник с ним таится
И вдруг внезапною стрелой,
Завидя путника, стремится;
В одно мгновенье верный бой
Решит удар его могучий,
И странника в ущелья гор
Уже влечет аркан летучий.
Стремится конь во весь опор,
Исполнен огненной отваги;

Все путь ему: болото, бор,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый след за ним бежит,
В пустыне топот раздаётся;
Седой поток пред ним шумит—
Он в глубь кипящую несётся;
И путник, брошенный ко дну,
Глокает мутную волну,
Изнемогая, смерти просит
И зрит ее перед собой...
Но мощный конь его стрелой
На берег пенистый выносит.

Иль ухватив рогатый пень,
В реку низверженный грозою,
Когда на холмах пеленою
Лежит безлунной ночи тень,
Черкес на корни вековые,
На ветви вешает кругом
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцирь и шелом,
Колчан и лук—и в быстры волны
За ним бросается потом,
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Река ревет;
Могучий ток его несет
Вдоль берегов уединенных,
Где на курганах возвышенных,
Склонясь на копьё, казаки
Глядят на темный бег реки—
И мимо их, во мгле чернея,
Плывет оружие злодея...
О чем ты думаешь, казак?
Вспоминаешь прежни битвы,
На смертном поле свой бивак,
Полков хвалебные молитвы
И родину?.. Коварный сон!
Простите, вольные станицы,
И дом отцов, и тихий Дон,
Война и красные девицы!
К брегам причалил тайный враг,
Стрела выходит из колчана—
Взвилась—и падает казак
С окровавленного кургана.

Когда же с мирною семьей
Черкес в отеческом жилище
Сидит ненастною порой,
И тлеют угли в пепелище;
И, спрянув с верного коня,
В горах пустынных запоздалый,
К нему войдет пришлец усталый
И робко сядет у огня,—
Тогда хозяин благосклонный
С приветом, ласково, встает
И гостю в чаше благовонной
Чихирь⁹ отрадный подает.
Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром оставляет он
Ночлега кров гостеприимный¹⁰.

Бывало, в светлый Баиран¹¹
Сберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою.
То, полный разобрав колчан,
Они крылатыми стрелами
Пронзают в облаках орлов;
То с высоты крутых холмов
Нетерпеливыми рядами,
При данном знаке, вдруг падут,
Как лани землю поражают,
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

Но скучен мир однообразный
Сердцам, рожденным для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещут
В безумной резвости пиров,
И в прах летят главы рабов,
И в радости младенцы плещут.

Но русский равнодушно зрел
Сии кровавые забавы.
Любил он прежде игры славы
И жаждой гибели горел.

Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.
Быть может, в думу погруженный,
Он время то воспоминал,
Когда, друзьями окруженный,
Он с ними шумно пировал...
Жалел ли он о днях минувших,
О днях, надежду обманувших,
Иль, любопытный, созерцал
Суровой простоты забавы
И дикого народа нравы
В сем верном зеркале читал —
Таил в молчанье он глубоко
Движенья сердца своего,
И на челе его высоко
Не изменялось ничего;
Беспечной смелости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили век его молодой
И шепотом между собой
Своей добычею гордились.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ты их узнала, дева гор,
Восторги сердца, жизни сладость;
Твой огненный, невинный взор
Высказывал любовь и радость.
Когда твой друг во тьме ночной
Тебя лобзал немым лобзаньем,
Сгорая негой и желаньем,
Ты забывала мир земной,
Ты говорила: «Пленник милый,
Развесели свой взор унылый,
Склонись главой ко мне на грудь,
Свободу, родину забудь.
Скрываться рада я в пустыне
С тобою, царь души моей!
Люби меня; никто доньше
Не целовал моих очей;

К моей постеле одинокой
Черкес молодой и черноокий
Не крался в тишине ночной;
Сльву я девою жестокой,
Неумолимой красотой.
Я знаю жребий мне готовый:
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят
В чужой аул ценою злата;
Но умолю отца и брата,
Не то — найду кинжал иль яд.
Непостижимой, чудной силой
К тебе я вся привлечена;
Люблю тебя, невольник милый,
Душа тобой упоена...»

Но он с безмолвным сожаленьем
На деву страстную взирал
И, полный тяжким размышленьем,
Словам любви ее внимал.
Он забывался. В нем теснились
Воспоминанья прошлых дней,
И даже слезы из очей
Однажды градом покатались.
Лежала в сердце, как свинец,
Тоска любви без упованья.
Пред юной девой наконец
Он изливал свои страданья:

«Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Бесценных дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад;
Он будет верен, он оценит
Твою красу, твой милый взгляд,
И жар младенческих лобзаний,
И нежность пламенных речей;
Без упоенья, без желаний
Я вяну жертвою страстей.
Ты видишь след любви несчастной,
Душевной бури след ужасный;

Оставь меня; но пожалей
О скорбной участи моей!
Несчастный друг, зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни, как верил я надежде
И упоительным мечтам!
Но поздно: умер я для счастья,
Надежды призрак улетел;
Твой друг отвык от сладострастья,
Для нежных чувств окаменел...

Как тяжело мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной
Как тяжело мыслить о другой!..

Когда так медленно, так нежно
Ты пьешь лобзания мои,
И для тебя часы любви
Проходят быстро, безмятежно;
Снедая слезы в тишине,
Тогда рассеянный, унылый
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвенье предаюсь
И тайный призрак обнимаю.
Об нем в пустыне слезы лью;
Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит
На душу сирую мою.

Оставь же мне мои железы,
Уединенные мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы:
Их разделить не можешь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости... дай руку — на прощанье.

Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука:
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь».

Раскрыв уста, без слез рыдая,
Сидела дева молодая.
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор;
Бледна как тень, она дрожала:
В руках любовника лежала
Ее холодная рука;
И наконец любви тоска
В печальной речи излилася:

«Ах, русский, русский, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я предалась!
Не долго на груди твоей
В забвенье дева отдыхала;
Не много радостных ночей
Судьба на долю ей послала!
Придут ли вновь когда-нибудь?
Ужель навек погибла радость?..
Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя б из жалости одной,
Молчаньем, ласкою притворной;
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга;
Ты не хотел... Но кто ж она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь, русский? ты любим?..
Понятны мне твои страданья...
Прости ж и ты мои рыданья,
Не смейся горестям моим».

Умолкла. Слезы и стенанья
Стеснили бедной девы грудь.
Уста без слов роптали пени.
Без чувств, обняв его колени,
Она едва могла дохнуть.

И пленник, тихою рукою
Подняв несчастную, сказал:
«Не плачь: и я гоним судьбою,
И муки сердца испытал.
Нет, я не знал любви взаимной,
Любил один, страдал один;
И гасну я, как пламень дымный,
Забитый средь пустых долин;
Умру вдали берегов желанных;
Мне будет гробом эта степь;
Здесь на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь...»

Светила ночи затмевались;
В дали прозрачной означались
Громады светлоснежных гор;
Главу склонив, потупя взор,
Они в безмолвии расстались.

Унылый пленник с этих пор
Один окрест аула бродит.
Заря на знойный небосклон
За днями новы дни возводит;
За ночью ночь вослед уходит;
Вотще свободы жаждет он.
Мелькнет ли серна меж кустами,
Проскачет ли во мгле сайгак,—
Он, вспыхнув, загремит цепями,
Он ждет, не крадется ль казак,
Ночной аулов разоритель,
Рабов отважный избавитель.
Зовет... но все кругом молчит;
Лишь волны плещутся, бушуют,
И человека зверь почуя,
В пустыню темную бежит.

Однажды слышит русский пленный,
В горах раздался клик военный:
«В табун, в табун!» Бегут, шумят;
Уздечки медные гремят,
Чернеют бурки, блещут брони,
Кипят оседланные кони,
К набегу весь аул готов,

И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по берегам Кубани
Сбирать насильственные дани.

Утих аул; на солнце спят.
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, нагие
В свободной резвости шумят;
Их прадеды в кругу сидят,
Из трубок дым, вясь, синеет.
Они безмолвно юных дев
Знакомый слушают припев,
И старцев сердце молодеет.

ЧЕРКЕССКАЯ ПЕСНЯ

1

В реке бежит гремучий вал;
В горах безмолвие ночное;
Казак усталый задремал,
Склонясь на копье стальное.
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой.

2

Казак плывет на челноке,
Влача по дну речному сети.
Казак, утонешь ты в реке,
Как тонут маленькие дети,
Купаясь жаркою порой:
Чеченец ходит за рекой.

3

На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы;
Веселый пляшет хоровод.
Бегите, русские певицы,
Спешите, красные, домой:
Чеченец ходит за рекой.

Так пели девы. Сев на берегу,
Мечтает русский о побеге;
Но цепь невольника тяжка,
Быстра глубокая река...
Меж тем, померкнув, степь уснула,
Вершины скал омрачены.
По белым хижинам аула
Мелькает бледный свет луны;
Елени дремлют над водами,
Умолкнул поздний крик орлов,
И глухо вторится горами
Далекий топот табунов.

Тогда кого-то слышно стало,
Мелькнуло девы покрывало,
И вот — печальна и бледна
К нему приблизилась она.
Уста прекрасной ищут речи;
Глаза исполнены тоской,
И черной падают волной
Ее власы на грудь и плечи.
В одной руке блестит пила,
В другой кинжал ее булатный;
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвиг ратный.

На пленника возведши взор,
«Беги, — сказала дева гор, —
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит».

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась:
Визжит железо под пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цепь распалась и гремит.
«Ты волен, — дева говорит, —
Беги!» Но взгляд ее безумный
Любви порыв изобразил.
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил.

«О друг мой! — русский возопил, —
Я твой навек, я твой до гроба.
Ужасный край оставим оба,
Беги со мной...» — «Нет, русский, нет!
Она исчезла, жизни сладость;
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропал и след.
Возможно ль? ты любил другую!..
Найди ее, люби ее;
О чем же я еще тоскую?
О чем уныние мое?..
Прости! любви благословенья
С тобою будут каждый час.
Прости — забудь мои мученья,
Дай руку мне... в последний раз».

К черкешенке простер он руки,
Воскресшим сердцем к ней летел,
И долгий поцелуй разлуки
Союз любви запечатлел.
Рука с рукой, унынья полны,
Сошли ко берегу в тишине —
И русский в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них...
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон...
На дикий берег выходит он,
Глядит назад, берега яснили
И, опененные, белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у берегов, ни под горой...
Все мертво... на берегах уснувших
Лишь ветра слышен легкий звук,
И при луне в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.

Все понял он. Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где, пленный, стадо пас,

Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал,
Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

ЭПИЛОГ

Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам,
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там;
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.
Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальних стран,
Мстислава¹² древний поединок,
Измены, гибель россиян
На лоне мстительных грузинок;
И воспую тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,

На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой—
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се—Восток подъямет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!
Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Бешту*, или, правильнее, *Бештау*, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории.

² *Аул*. Так называются деревни кавказских народов.

³ *Уздень*, начальник или князь.

⁴ *Шашка*, черкесская сабля.

⁵ *Сакля*, хижина.

⁶ *Кумыс* делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении между всеми горскими и кочующими народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым.

⁷ Счастливым климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения.

⁸ Державин в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа:

О юный вождь, сверша походы,
 Прошел ты с воинством Кавказ,
 Зрел ужасы, красы природы:
 Как с ребр там страшных гор лиясь,
 Ревут в мрак бездн сердиты реки;
 Как с чел их с грохотом снега
 Падут, лежавши целы веки;
 Как серны, вниз склонив рога,
 Зрят в мгле спокойно под собою
 Рожденье молний и громов.

Ты зрел, как ясною порою
 Там солнечны лучи, средь льдов,
 Средь вод, играя, отражаясь,
 Великолепный кажут вид;
 Как, в разноцветных рассеаясь
 Там брызгах, тонкий дождь горит;
 Как глыба там сизо-янтарна,
 Навесясь, смотрит в темный бор;
 А там заря злато-багряна
 Сквозь лес увеселяет взор.

Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько предельных стихов описанию Кавказа:

Ты зрел, как Терек в быстром беге
 Меж виноградников шумел,
 Где, часто притаясь на бреге,

Чеченец иль черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом:
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавый,
Ужасною и величавой
Там все блистает красотой:
Утесов мшистые громады,
Бегущи с ревом водопады
Во мрак пучин с гранитных скал;
Леса, которых сна от века
Ни стук секир, ни человека
Веселый глас не возмущал,
В которых сумрачные сени
Еще луч дневный не проник,
Где изредка одни елени,
Орла послышав грозный крик,
Теснясь в толпу, шумят ветвями,
И козы легкими ногами
Перебегают по скалам.
Там все является очам
Великолепие творенья!
Но там — среди уединенья
Долин, таящихся в горах, —
Гнездятся и балкар, и бах,
И абазех, и камуцинец,
И карбулак, и албазинец,
И чечереец, и шапсук;
Пицаль, кольчуга, сабля, лук
И конь — соратник быстроногий —
Их и сокровища и боги;
Как серны скачут по горам,
Бросают смерть из-за утеса;
Или по топким берегам,
В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут;
Скалы свободы их приют.
Но дни в аулах их бредут
На костылях угрюмой лени:
Там жизнь их — сон; стеснясь в кружок
И в братский с табаком горшок
Вонзивши чубуки, как тени

В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят,
Иль хвалят меткие пицали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы.

⁹ *Чихирь*, красное грузинское вино.

¹⁰ Черкесы, как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством. Гость становится для них священной особою. Предать его или не защитить почитается меж ними за величайшее бесчестие. *Кунак* (т. е. приятель, знакомый) отвечает жизнью за вашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую средину кабардинских гор.

¹¹ *Байран*, или *байрам*, праздник разговенья. *Рамазан*, музульманский пост.

¹² Мстислав, сын св. Владимира, прозванный *Удалым*, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. *Ист. Гос. Росс. Том II*.

ВАДИМ

(Отрывок из неоконченной поэмы)

Свод неба мраком обложился;
 В волнах варяжских лунный луч,
 Сверкая меж вечерних туч,
 Столпом неровным отразился.
 Качаясь, лебедь на волне
 Заснул, и всё кругом почило;
 Но вот по темной глубине
 Стремится белое ветрило,
 И блещет пена при луне;
 Летит испуганная птица,
 Услыша близкий шум весла.
 Чей это парус? Чья десница
 Его во мраке напрягла?

Их двое. На весло нагбенный,
 Один, смиренный житель волн,
 Гребет и к югу правит челн;
 Другой, как волхвом пораженный,
 Стоит недвижим; на берега
 Глаза вперив, не молвит слова,—
 И через челн его нога
 Перешагнуть уже готова.
 Пльвуют...

«Причаливай, старик!
 К утесу правь»,— и в волны вмиг
 Прыгнул пловец нетерпеливый
 И берегов уже достиг.
 Меж тем, рукой неторопливой,
 Другой, ветрило опустив,
 Свой челн к утесу пригоняет,
 К подошвам двух союзных ив
 Узлом надежным укрепляет
 И входит медленной стопой
 На берег дикий и крутой.
 Кремьень звучит, и пламя вскоре
 Далеко осветило море.
 Суровый край! Громады скал
 На берегу стоят угрюмом;



Об них мятежный бьется вал
И пена плещет; сосны с шумом
Качают старые главы
Над зыбкой пеленой пучины;
Кругом ни цвета, ни травы,
Песок да мох; скалы, стремнины
Везде хранят клеймо громов
И след потоков истощенных,
И тлеют кости—пир волков
В расселинах окровавленных.
К огню заботливый старик
Простер немеющие руки.
Приметы долголетней муки,
Согбенны кости, тощий лик,
На коем время углубляло
Свои последние следы,
Одежда, обувь— всё являло
В нем дикость, нужду и труды.
Но кто же тот? Блится младость
В его лице; как вешний цвет,
Прекрасен он; но, мнится, радость
Его не знала с детских лет;
В глазах потупленных кручина;
На нем одежда славянина
И на бедре славянский меч.
Славян вот очи голубые,
Вот их и волосы златые,
Волнами падшие до плеч...
Косматым рубищем одетый,
Огнем живительным согретый,
Старик забылся крепким сном.
Но юноша, на перси руки
Задумчиво сложив крестом,
Сидит с нахмуренным челом.
Уста невняты шепчут звуки.
Предмет великий, роковой
Немые чувства в нем объемлет,
Он в мыслях видит край иной,
Он тайному призыву внемлет...

Проходит ночь, огонь погас,
Остыл и пепел; вод пучина
Белеет; близок утра час;
Нисходит сон на славянина.

Видал он дальные страны,
По суше, по морю носился,
Во дни былые, дни войны
На западе, на юге бился,
Деля добычу и труды
С суровым племенем Одена,
И перед ним врагов ряды
Бежали, как морская пена
В час бури к черным берегам.
Внимал он радостным хвалам
И арфам скальдов иступленных,
В жилище сильных пирувал
И очи дев иноплеменных
Красою чуждой привлекал.
Но сладкий сон не переносит
Теперь героя в край чужой,
В поля, где мчится бурный бой,
Где меч главы героев косит;
Не видит он знакомых скал
Кириаландии печальной,
Ни Альбиона, где искал
Кровавых сеч и славы дальней;
Ему не снится шум валов;
Он позабыл морские битвы,
И пламя яркое костров,
И трубный звук, и лай ловитвы.
Другие грезы и мечты
Волнуют сердце славянина:
Пред ним славянская дружина,
Он узнает ее щиты,
Он снова простирает руки
Товарищам минувших лет,
Забытым в долги дни разлуки,
Которых уж и в мире нет.
Он видит Новгород великий,
Знакомый терем с давних пор;
Но тын оброс крапивою дикой,
Обвиты окна повиликой,
В траве заглох широкий двор.
Он быстро храмин опустелых
Проходит молчаливый ряд,
Всё мертво... нет гостей веселых,
Застольны чаши не гремят.
И вот высокая светлица...

В нем сердце бьется: «Здесь иль нет
Любовь очей, душа девица,
Цветет ли здесь мой милый цвет,
Найду ль ее?» — и с этим словом
Он входит... что же? страшный вид!
В постеле холодной, под покровом
Девица мертвая лежит.
В нем замер дух и взволновался.
Покров приподымает он,
Глядит: *она!* — и слабый стон
Сквозь тяжкий сон его раздался...
Она... она... ее черты;
На персях рану обнажает.
«Она погибла, — восклицает, —
Кто мог?...» — и слышит голос: «*Ты...*»

Меж тем привычные заботы
Средь усладительной дремоты
Тревожат душу старика:
Во сне он парус развеивает,
Плывет по воле ветерка.
Его тихонько увлекает
К заливу светлая река,
И рыба вольная впадает
В тяжелый невод рыбака;
Всё тихо: море почивает,
Но туча виснет; дальный гром
Над звучной бездною грохочет,
И вот пучина под челном
Кипит, подымается, клокочет;
Напрасно к верным берегам
Несчастный возвратиться хочет,
Челнок трещит и — пополам!
Рыбак идет на дно морское,
И, пробудясь, трепещет он.
Глядит окрест: берега в покое,
На полусветлый небосклон
Восходит утро золотое...
С дерев, с утесистых вершин,
Навстречу радостной денницы,
Щебеча, полетели птицы,
И рассвело — но славянин
Еще на мшистом камне дремлет,
Пылает гневом гордый лик,
И сонный движется язык.

Со стоном камень он объекает...
Тихонько юношу старик
Ногой толкает осторожной—
И улетает призрак ложный
С его главы—он восстает
И, видя солнечный восход,
Прощаясь, рыбаку седому
Со златом руку подает.
«Чу,—молвил,—к берегу родному
Попутный ветер тебя зовет,
Спеши—теперь тиха пучина,
Ступай, а я—мне путь иной».
Старик с веселою душой
Благословляет славянина:
«Да сохранит тебя Перун,
Родитель бури, царь полнощный,
И Световид, и Ладо мощный;
Будь здоров до гроба, долго юн,
Да встретит юная супруга
Тебя в веселье и слезах,
Да выпьешь мед из чаши друга,
А недруга низринешь в прах».
Потом со скал он к челну сходит
И влажный узел развязал.
Надулся парус, побежал—
Но старец долго глаз не сводит
С крутых прибрежистых вершин,
Венчанных темными лесами,
Куда уж быстрыми шагами
Сокрылся юный славянин.

БРАТЯ РАЗБОЙНИКИ

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вокруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!
Здесь цель одна для всех сердец —
Живут без власти, без закона.
Меж ними зрится и беглец
С берегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей,
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!
Опасность, кровь, разврат, обман —
Суть узы страшного семейства;
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства;
Кто режет хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье,
Кто не прощает, не щадит,
Кого убийство веселит,
Как юнощу любви свиданье.

Затихло всё, теперь луна
Свой бледный свет на них наводит,
И чарка пенного вина
Из рук в другие переходит.
Простерты на земле сырой,
Иные чутко засыпают:
И сны зловещие летают
Над их преступной головой.
Другим рассказы сокращают
Угрюмой ночи праздный час;
Умолкли все — их занимает
Пришельца нового рассказ,
И всё вокруг его внимает:

«Нас было двое: брат и я.
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья:
Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сирот
Ни бедной хижинки, ни поля;
Мы жили в горе, средь забот,
Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной:
В товарищи себе мы взяли
Булатный нож да темну ночь;
Забьли робость и печали,
А совесть отогнали прочь.

Ах, юность, юность удалая!
Житье в то время было нам,
Когда, погибель презирая,
Мы всё делили пополам.
Бывало, только месяц ясный
Взойдет и станет средь небес,
Из подземелия мы в лес
Идем на промысел опасный.
За деревом сидим и ждем:
Идет ли позднею дорогой
Богатый жид иль поп убогий,—
Всё наше! всё себе берем.
Зимой, бывало, в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.
Кто не боялся нашей встречи?
Завидели в харчевне свечи—
Туда! к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли— всё даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем!

И что ж? попались молодцы;
Не долго братья пировали;
Поймали нас — и кузнецы
Нас друг ко другу приковали,
И стража отвела в острог.

Я старший был пятью годами
И вынести больше брата мог.
В цепях, за душными стенами
Я уцелел — он изнемог.
С трудом дыша, томим тоскою,
В забвенье, жаркой головою
Склоняясь к моему плечу,
Он умирал, твердя всечасно:
«Мне душно здесь... я в лес хочу...
Воды, воды!..» — но я напрасно
Страдальцу воду подавал:
Он снова жаждою томился,
И градом пот по нем катился.
В нем кровь и мысли волновал
Жар ядовитого недуга;
Уж он меня не узнавал
И поминутно призывал
К себе товарища и друга.
Он говорил: «Где скрылся ты?
Куда свой тайный путь направил?
Зачем мой брат меня оставил
Средь этой смрадной темноты?
Не он ли сам от мирных пашен
Меня в дремучий лес сманил
И ночью там, могущ и страшен,
Убийству первый научил?
Теперь он без меня на воле
Один гуляет в чистом поле,
Тяжелым машет кистенем
И позабыл в завидной доле
Он о товарище своем!..»
То снова разгорались в нем
Докучной совести мученья:
Пред ним толпились привиденья,
Грозя перстом издалека.
Всех чаще образ старика,
Давно зарезанного нами,
Ему на мысли приходил;

Больной, зажав глаза руками,
За старца так меня молил:
«Брат! сжался над его слезами!
Не режь его на старость лет...
Мне дряхлый крик его ужасен...
Пусти его — он не опасен;
В нем крови капли теплой нет...
Не смейся, брат, над сединами,
Не мучь его... авось мольбами
Смягчит за нас он божий гнев!..»
Я слушал, ужас одолев;
Хотел унять больного слезы
И удалить пустые грезы.
Он видел пляски мертвецов,
В тюрьму пришедших из лесов,
То слышал их ужасный шепот,
То вдруг погони близкий топот,
И дико взгляд его сверкал,
Стояли волосы горою,
И весь, как лист, он трепетал.
То мнил уж видеть пред собою
На площадях толпы людей,
И страшный ход до места казни,
И кнут, и грозных палачей...
Без чувств, исполненный боязни,
Брат упал ко мне на грудь.
Так проводил я дни и ночи,
Не мог минуты отдохнуть,
И сна не знали наши очи.

Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились,
Болезнь ужасная прошла,
И с нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильнее
Взяла тоска по прежней доле;
Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей.
Нам тошен был и мрак темницы,
И сквозь решетки свет денницы,
И стражи клик, и звон цепей,
И легкий шум залетной птицы.

По улицам однажды мы,
В цепях, для городской тюрьмы
Сбирали вместе подаянье
И согласились в тишине
Исполнить давнее желанье;
Река шумела в стороне,
Мы к ней—и с берегов высоких
Бух! поплыли в водах глубоких.
Цепями общими гремим,
Бьем волны дружными ногами,
Песчаный видим островок
И, рассекая быстрый ток,
Туда стремимся. Вслед за нами
Кричат: «Лови! лови! уйдут!»
Два стража издали плывут,
Но уж на остров мы ступаем,
Оковы камнем разбиваем,
Друг с друга рвем клочки одежд,
Отягощенные водою...
Погоню видим за собою;
Но смело, полные надежд,
Сидим и ждем. Один уж тонет,
То захлебнется, то застонет
И, как свинец, пошел ко дну.
Другой проплыл уж глубину,
С ружьем в руках, он вброд упрямо.
Не внемля крику моему,
Идет, но в голову ему
Два камня полетели прямо—
И хлынула на волны кровь;
Он утонул—мы в воду вновь,
За нами гнаться не посмели,
Мы берегов достичь успели
И в лес ушли. Но бедный брат...
И труд, и волн осенний хлад
Недавних сил его лишили:
Опять недуг его сломил,
И злые грезы посетили.
Три дня больной не говорил
И не смыкал очей дремотой;
В четвертый грустною заботой,
Казалось, он исполнен был;
Позвал меня, пожал мне руку,



Потухший взор изобразил
Одолевающую муку;
Рука задрогла, он вздохнул
И на груди моей уснул.

Над хладным телом я остался,
Три ночи с ним не расставался,
Всё ждал, очнется ли мертвец?
И горько плакал. Наконец
Взял заступ; грешную молитву
Над братней ямой совершил
И тело в землю схоронил...
Потом на прежнюю ловитву
Пошел один... Но прежних лет
Уж не дождусь: их нет как нет!
Пирь, веселые ночлеги
И наши буйные набеги—
Могила брата всё взяла.
Влачусь угрюмый, одинокий,
Окаменел мой дух жестокий,
И в сердце жалость умерла.
Но иногда щажу морщины:
Мне страшно резать старика;
На беззащитные седины
Не подымается рука.
Я помню, как в тюрьме жестокой
Больной, в цепях, лишенный сил,
Без памяти, в тоске глубокой
За старца брат меня молил».

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН

Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече.

Сади

Гирей сидел; потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.
Всё было тихо во дворце;
Благоговевя, все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачном его лице.
Но повелитель горделивый
Махнул рукой нетерпеливой:
И все, склонившись, идут вон.

Один в своих чертогах он;
Свободней грудь его вздыхает,
Живее строгое чело
Волненье сердца выражает.
Так бурны тучи отражает
Залива зыбкое стекло.

Что движет гордою душою?
Какою мыслью занят он?
На Русь ли вновь идет войною,
Несет ли Польше свой закон,
Горит ли местию кровавой,
Открыл ли в войске заговор,
Страшится ли народов гор,
Иль козней Генуи лукавой?

Нет, он скучает бранной славой,
Устала грозная рука;
Война от мыслей далека.

Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала?

Нет, жены робкие Гирея,
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине;
Под стражей бдительной и хладной
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне.
В тени хранительной темницы
Утаены их красоты:
Так аравийские цветы
Живут за стеклами теплицы.
Для них унылой чередой
Дни, месяцы, лета проходят
И неприметно за собой
И младость и любовь уводят.
Однообразен каждый день,
И медленно часов теченье.
В гареме жизнью правит лень;
Мелькает редко наслажденье.
Младые жены, как-нибудь
Желая сердце обмануть,
Меняют пышные уборы,
Заводят игры, разговоры,
Или при шуме вод живых,
Над их прозрачными струями
В прохладе яворов густых
Гуляют легкими роями.
Меж ними ходит злой эвнух,
И убегать его напрасно:
Его ревнивый взор и слух
За всеми следует всечасно.
Его стараньем заведен
Порядок вечный. Воля хана
Ему единственный закон;
Святую заповедь Корана
Не строже наблюдает он.
Его душа любви не просит;
Как истукан, он переносит
Насмешки, ненависть, укор,
Обиды шалости нескромной,
Презренье, просьбы, робкий взор,
И тихий вздох, и ропот томный.
Ему известен женский нрав;
Он испытал, сколь он лукав
И на свободе и в неволе:

Взор нежный, слез упрек немой
Не властны над его душой;
Он им уже не верит боле.

Раскинув легкие волосы,
Как идут пленницы младые
Купаться в жаркие часы,
И льются волны ключевые
На их волшебные красы,
Забав их сторож неотлучный,
Он тут; он видит, равнодушный,
Прелестниц обнаженный рой;
Он по гарему в тьме ночной
Неслышными шагами бродит;
Ступая тихо по коврам,
К послушным крадется дверям,
От ложа к ложу переходит;
В заботе вечной, ханских жен
Роскошный наблюдает сон,
Ночной подслушивает лепет;
Дыханье, вздох, малейший трепет—
Все жадно примечает он;
И горе той, чей шепот сонный
Чужое имя призывал
Или подруге благосклонной
Порочны мысли доверял!

Что ж полон грусти ум Гирея?
Чубук в руках его потух;
Недвижим, и дохнуть не смея,
У двери знака ждет эвнух.
Встает задумчивый властитель;
Пред ним дверь настезь. Молча он
Идет в заветную обитель
Еще недавно милых жен.

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана
На шелковых коврах оне
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.

Нарочно к ней на дно иные
Роняли серьги золотые.
Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный
И песнью звонкой и приятной
Вдруг огласили весь гарем:

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ

1

«Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.

2

Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.

3

Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя».

Они поют. Но где Зарема,
Звезда любви, краса гарема?—
Увы, печальна и бледна,
Похвал не слушает она.
Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою;
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбил Гирей.

Он изменил!.. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;

Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи;
Чей голос выразит сильнеей
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
Как сердце, полное тобой,
Забьется для красоты чужой?
Но, равнодушный и жестокий,
Гирей презрел твои красоты
И ночи хладные часы
Проводит мрачный, одинокий
С тех пор, как польская княжна
В его гарем заключена.

Недавно юная Мария
Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной.
Седой отец гордился ею
И звал отрадою своею.
Для старика была закон
Ее младенческая воля.
Одну заботу ведал он:
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день, ясна,
Чтоб и минутные печали
Ее души не помрачали,
Чтоб даже замужем она
Воспоминала с умилением
Девичье время, дни забав,
Мелькнувших легким сновиденьем.
Все в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.
Природы милые дары
Она искусством украшала;
Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла;
Толпы вельмож и богачей
Руки Марииной искали,
И много юношей по ней
В страданье тайном изнывали.
Но в тишине души своей
Она любви еще не знала

И независимый досуг
В отцовском замке меж подруг
Одним забавам посвящала.

Давно ль? И что же! Тьмы татар
На Польшу хлынули рекою:
Не с столь ужасной быстротою
По жатве стелется пожар.
Обезображенный войною,
Цветущий край осиротел;
Исчезли мирные забавы;
Уньли селы и дубравы,
И пышный замок опустел.
Тиха Мариина светлица...
В домово́й церкви, где кругом
Почиют мощи хладным сном,
С короной, с княжеским гербом
Воздвиглась новая гробница...
Отец в могиле, дочь в плену,
Скупой наследник в замке правит
И тягостным ярмом бесславит
Опустошенную страну.

Увы! Дворец Бахчисарая
Скрывает юную княжну.
В неволе тихой увядая,
Мария плачет и грустит.
Гирей несчастную щадит:
Ее уньные, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит;
Рукой заботливой не он
На ложе сна ее возводит;
Не смеет устремиться к ней
Обидный взор его очей;
Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей;
Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.

Там день и ночь горит лампада
Пред ликом девы пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упование в тишине
С смиренной верой обитает,
И сердцу все напоминает
О близкой, лучшей стороне;
Там дева слезы проливает
Вдали завистливых подруг;
И между тем, как все вокруг
В безумной неге утопает,
Святую строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...

.....
.....

Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали, под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На доли, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досути.
Дворец утих; уснул гарем,
Объятый негой безмятежной;
Не прерывается ничем
Спокойство ночи. Страж надежный,
Дозором обошел эвнух.
Теперь он спит; но страх прилежный
Тревожит в нем и спящий дух.
Измен всечасных ожиданье
Покоя не дает уму.
То чей-то шорох, то шептанье,
То крики чудятся ему;

Обманутый неверным слухом,
 Он пробуждается, дрожит,
 Напуганным приникнув ухом...
 Но все кругом его молчит;
 Одни фонтаны сладкозвучны
 Из мраморной темницы бьют,
 И, с милой розой неразлучны,
 Во мраке соловьи поют;
 Эвнух еще им долго внемлет,
 И снова сон его объемлет.

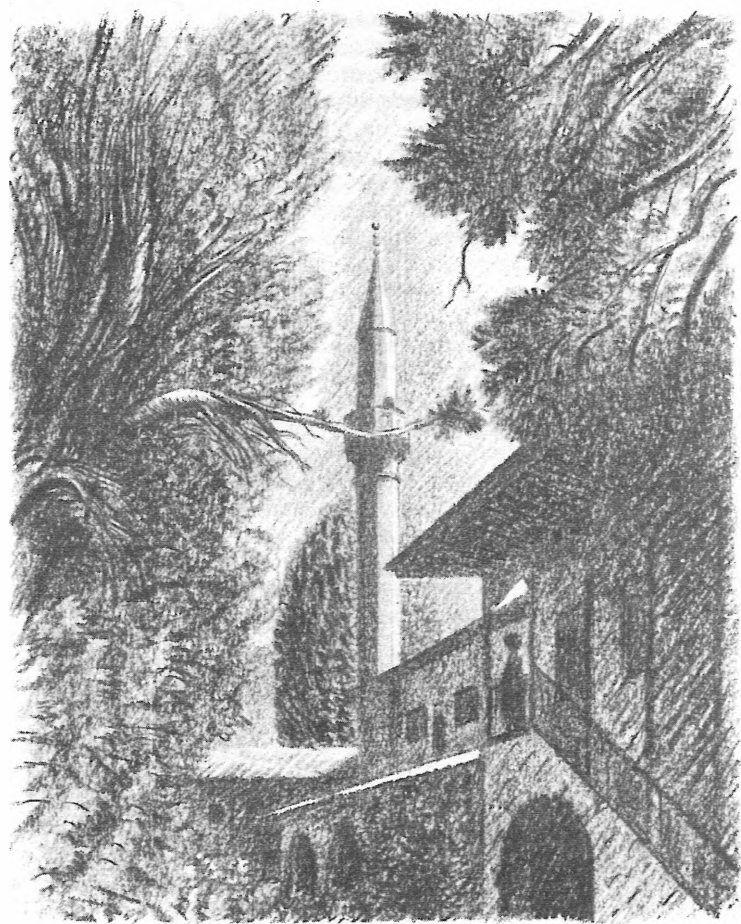
Как милы темные красы
 Ночей роскошного Востока!
 Как сладко льются их часы
 Для обожателей Пророка!
 Какая нега в их домах,
 В очаровательных садах,
 В тиши гаремов безопасных,
 Где под влиянием луны
 Все полно тайн и тишины
 И вдохновений сладострастных!

.....

Все жены спят. Не спит одна.
 Едва дыша, встает она;
 Идет; рукою торопливой
 Открыла дверь; во тьме ночной
 Ступает легкою ногой...
 В дремоте чуткой и пугливой
 Пред ней лежит эвнух седой.
 Ах, сердце в нем неумолимо:
 Обманчив сна его покой!..
 Как дух, она проходит мимо.

.....

Пред нею дверь; с недоуменьем
 Ее дрожащая рука
 Коснулась верного замка...
 Вошла, взирает с изумленьем...
 И тайный страх в нее проник.
 Лампады свет уединенный,
 Кивот, печально озаренный,
 Пречистой девы кроткий лик
 И крест, любви символ священный,
 Грузинка! все в душе твоей
 Родное что-то пробудило,



Все звуками забытых дней
Невнятно вдруг заговорило.
Пред ней покоилась княжна,
И жаром девственного сна
Ее ланиты оживлялись
И, слез являя свежий след,
Улыбкой томной озарялись.
Так озаряет лунный свет
Дождем отягощенный цвет.
Спорхнувший с неба сын эдема,
Казалось, ангел почивал
И сонный слезы проливал
О бедной пленнице гарема...
Увы, Зарема, что с тобой?
Стеснилась грудь ее тоской,
Невольню клонятся колени,
И молит: «Сжался надо мной,
Не отвергай моих молений!..»
Ее слова, движенье, стон
Прервали девы тихий сон.
Княжна со страхом пред собою
Младую незнакомку зрит;
В смятенье, трепетной рукою
Ее подьемля, говорит:
«Кто ты?.. Одна, порой ночью,—
Зачем ты здесь?» — «Я шла к тебе,
Спаси меня, в моей судьбе
Одна надежда мне осталась...
Я долго счастьем наслаждалась,
Была беспечней день от дня...
И тень блаженства миновалась;
Я гибну. Выслушай меня.

Родилась я не здесь, далеко,
Далеко... но минувших дней
Предметы в памяти моей
Доньше врезаны глубоко.
Я помню горы в небесах,
Потоки жаркие в горах,
Непроходимые дубравы,
Другой закон, другие нравы;
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю; помню только море
И человека в вышине
Над парусами...

Страх и горе

Доньне чужды были мне;
Я в безмятежной тишине
В тени гарема расцветала
И первых опытов любви
Послушным сердцем ожидала.
Желанья тайные мои
Сбылись. Гирей для мирной неги
Войну кровавую презрел,
Пресек ужасные набеги
И свой гарем опять узрел.
Пред хана в смутном ожиданье
Предстали мы. Он светлый взор
Остановил на мне в молчанье,
Позвал меня... и с этих пор
Мы в непрерывном упоенье
Дышали счастьем; и ни раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущала нас.
Мария! ты пред ним явилась...
Увы, с тех пор его душа
Преступной думой омрачилась!
Гирей, изменою дыша,
Моих не слушает укоров,
Ему докучен сердца стон;
Ни прежних чувств, ни разговоров
Со мною не находит он.
Ты преступленью не причастна;
Я знаю: не твоя вина...
Итак, послушай: я прекрасна;
Во всем гареме ты одна
Могла б еще мне быть опасна;
Но я для страсти рождена,
Но ты любить, как я, не можешь;
Зачем же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мне: он мой;
На мне горят его лобзанья,
Он клятвы страшные мне дал,
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал;
Меня убьет его измена...
Я плачу; видишь, я колена
Теперь склоняю пред тобой,
Молю, винить тебя не смея,

Отдай мне радость и покой,
 Отдай мне прежнего Гирея...
 Не возражай мне ничего;
 Он мой! он ослеплен тобою.
 Презреньем, просьбою, тоскою,
 Чем хочешь, отвори его;
 Клянись... (хоть я для Алкорана,
 Между невольницами хана,
 Забыла веру прежних дней;
 Но вера матери моей
 Была твоя) клянись мне ею
 Зарему возвратить Гирею...
 Но слушай: если я должна
 Тебе... кинжалом я владею,
 Я близ Кавказа рождена».

Сказав, исчезла вдруг. За нею
 Не смеет следовать княжна.
 Невинной деве непонятен
 Язык мучительных страстей,
 Но голос их ей смутно внятен;
 Он странен, он ужасен ей.
 Какие слезы и моления
 Ее спасут от посрамленья?
 Что ждет ее? Ужели ей
 Остаток горьких юных дней
 Провести наложницей презренной?
 О боже! если бы Гирей
 В ее темнице отдаленной
 Забыл несчастную навек
 Или кончиной ускоренной
 Унылы дни ее пресек,—
 С какою б радостью Мария
 Оставила печальный свет!
 Мгновенья жизни дорогие
 Давно прошли, давно их нет!
 Что делать ей в пустыне мира?
 Уж ей пора, Марию ждут
 И в небеса, на лоно мира,
 Родной улыбкою зовут.

.....

Промчались дни; Марии нет.
 Мгновенно сирота почила.
 Она давно желанный свет,
 Как новый ангел, озарила.

Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь или другое зло?..
Кто знает? Нет Марии нежной!..
Дворец угрюмый опустел;
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой предел
Он злой набег опять направил;
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный:
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет; и порой
Горючи слезы льет рекой.

Забывтый, преданный презренью,
Гарем не зрит его лица;
Там, обреченные мученью,
Под стражей хладного скопца
Стареют жены. Между ними
Давно грузинки нет; она
Гарема стражами немymi
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И селы мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна
(Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.

За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поньне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И золото блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... но не тем
В то время сердце полно было.
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..

.....

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселье Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,—
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин уютная краса,
И струй и тополей прохлада...
Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага...

Выписка из путешествия по Тавриде
И. М. Муравьева-Апостола

«Вчера ввечеру, подъехав к Бакчисараю и спустившись в ущелину, в которой он лежит, я засветло успел только проехать длинную улицу, ведущую к Хан-сараю (т. е. к ханскому дворцу), на восточном конце города находящемся. Солнца давно уже не видно было за горами, и сумрак начинал стгущаться, когда я вступил на первый двор *сарая*. Это не помешало мне пробежать по теремам и дворам таврической *Аламбры*; и чем менее видимы становились предметы, тем живее делалась игра воображения моего, наполнившегося радужными цветами восточной поэзии.

Я поведу тебя, мой друг, не из покоев, но так, как должно, от внешних ворот, в которые проезд с улицы, по мосту, чрез узкую *Грязную речку*, Сурук-су. Прошед в ворота, ты на первом дворе; на просторном параллелограмме, коего противоположный входу, малый бок граничит с садовыми террасами; оба же большие заняты на левой стороне мечетью и службами; а с правой дворцом, состоящим из смежных не одинаковой высоты зданий. На этой правой стороне, чрез ворота, под строением находящиеся, ты проходишь во внутренний двор, где тотчас на левой руке представляются тебе железные двери, пестро в аравском вкусе украшенные, с двуглавым над ними орлом, занявшим место оттоманской луны.

Переступив за порог, ты в просторных сенях, на мраморном помосте и на правой руке видишь широкое крыльцо, ведущее на верхние палаты. Но сперва остановимся в сенях и посмотрим на два прекрасные фонтана, беспрестанно лиющие воду из стены в белые мраморные чаши: один насупротив дверей, другой тотчас налево.

Дабы не оставить ничего недосказанным о сем нижнем помосте, заметим широкий коридор от левого угла противоположной входу стены, ведущий прямо в домовую ханскую божницу, над дверью коей начертано:

Селамид-Гирей хан, сын Гаджи Селим-Гирея хана *.

Другая дверь того же коридора налево дает вход в большую комнату, где диван вокруг стен до половины покоя, с мраморным посреди оногo водометом. Это убежище прелестно прохладоу в знойные часы, когда раскаляются от жару окружающие Бакчисарай горы. Третья дверь ведет в ханский диван, т. е. в комнату, где собирался государственный совет; в нее есть вход и чрез переднюю, снаружи от большого двора.

Когда я опишу тебе одну из зал верхнего жилья, ты будешь иметь понятие о всех прочих, разнствующих между собою одним только большим или меньшим украшением на стенах. Как фасад строения не по прямой черте, а городками, то первое должно заметить, что главные залы освещены с трех сторон; т. е. все из фасада выступающие оных стены сплошь окончатые. Другого входа в залу нет, кроме одной двери боковой, неприметной между пиластрами аравского вкусу, между коими и шкафы, также неприметные, находятся по всей темной этой стене. Над оными (в лучших залах) стекла снутри и снаружи покоя, до потолка, между коими стоят украшения лепной работы, как-то: чаши с плодами, с цветами, или деревцы с чучелами разных птиц. Потолки так же, как и темная стена, столярной работы и весьма красивы: это

* Селамид владел от 1587 по 1610. (Прим. Муравьева-Апостола.)

тоненькая вызолоченная решетка, лежащая на лаковом грунте, густого красного цвета. На полу я увидел знакомые мне в Испании *эстеры*, т. е. рогожки, весьма искусно сплетенные из тростника, род *гениста*, и употребляемые вместо ковров на полах кирпичных или каменных. Для защиты от яркости лучей в комнате, с трех сторон освещенной, кроме ставней, служат еще и цветные, узорчатые стекла в окнах, любимое рыцарских замков украшение, без сомнения, занятое европейцами от восточных народов, во время крестовых походов. Если в заключение сего общего описания ты представишь себе диван, т. е. подушки, некогда из шелковых тканей, на полу лежащие вокруг всех стен, исключая темной, ты будешь иметь понятие о лучших залах дворца, кроме трех или четырех, переделанных для императрицы Екатерины II, в европейском вкусе, с высокими диванами, с креслами и столами. Сия последняя утварь особливо драгоценна для нас *крещеных*, ибо во всех странах, где проповедуется Коран, правоверные вместо столов употребляют низкие круглые скамьи, на которые ставят подносы, и едят на них сидя, поджав под себя ноги, на полу.

Ты легко догадаться можешь, что в стороне от сего строения находится гарем, неприступный для всех, кроме хана, и для него одного имеющий сообщение через коридор с дворцом. Эта часть более всех в упадке. Разные домики, в коих некогда жертвы любви, или, лучше сказать, любострастия, томились в неволе, представляют теперь печальную картину разрушения: обвалившиеся потолки, изломанные полы. Время сокрушило узилище; но что в том пользы, когда то же время, роком узникам определенное, протекло для них безотрадно, в рабских угодениях *одному*, не по сердцу избранному другу, но жестокому властелину! — На краю сего гарема стоит на большом дворе высокая шестиугольная беседка, с решетками вместо окон, из которой, как сказывают, ханские жены, невидимые, смотрели на игры, въезды послов и другие позорища. Иные говорят, что будто бы тут хан любовался фазанами и показывал их любимцам своим. Это последнее потому только вероятно, что петух с семейством своим есть единственная картина, которую супруг-мусульман может представлять невольницам своим в оправдание многоженства. — Между сею полусогнившею беседкою и комнатою, о которой я говорил, на нижнем помосте, с мраморным фонтаном, есть прекрасный цветничок, где мирт и розы могли некогда внушать песни татарскому Анакреону.

Но пора оставить сии груды теснящие памятники невольничества и выйти подышать на чистом воздухе. Вот насупротив больших ворот, на конце двора, к горе примыкающегося, террасы в четыре уступа, на коих плодоносные деревья, виноград на решетках и прозрачные источники, с уступа на другой лиющияся в каменные бассейны. Может быть, некогда мурзы-царедворцы, уподобляя Гиреев с владыками Вавилона, сравнивали и террасы их с висящими садами Семирамиды: но теперь крымское чудо сие представляет вид опустения, так, как и все памятники в Тавриде. Более всего жаль драгоценнейшего здесь сокровища, воды: многие трубы уже засорились, а некоторые источники и совсем исчезли.

За мечетью, вне двора, кладбище ханов и султанов владетельного дома Гиреев. Прах их покоится под белыми, мраморными гробницами, осененными высокими тополями, ореховыми и шелковичными деревьями. Тут лежат Менгли и отец его, основа-

тель могущества царства крымского. Все памятники покрыты надписями...

Прежде нежели оставить сию юдоль сна непробудного, я укажу тебе отсюда на холм, влево от верхней садовой террасы, на коем стоит красивое здание с круглым куполом: это мавзолей прекрасной грузинки, жены хана Керим-Гирея. Новая Заира, силою прелестей своих, она повелевала тому, кому все здесь повиновалось; но не долго: увял райский цвет в самое утро жизни своей, и безотрадный Керим соорудил *любезной* памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной. Я сам хотел поклониться гробу красавицы, но нет уже более входа к нему; дверь наглухо заложена. Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек; все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, как разве принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких».

Отрывок из письма

Из Азии переехали мы в Европу* на корабле. Я тотчас отправился на так названную *Митридагову гробницу* (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал; луны не было; звезды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы... «Вот Четырдаг», — сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли жилищ татарских издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аюдаг... и крутом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...

В Юрзуфе жил я *сиднем*, купался в море и обедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и бесечностью неаполитанского Lazzarone**. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти.

Я объехал полуденный берег, и путешествие М(уравьева-Апостола) оживило во мне много воспоминаний, но страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост

* Из Тамани в Керчь. (Прим. Пушкина.)

** Лаццароне (ит.).

татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным, восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уж тосковать о милом полудне, хотя всё еще находился в Тавриде, всё еще видел и тополи и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, по крайней мере тут посетили меня рифмы.

В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes* (фонтан слез.—фр.). Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на побережье, в котором он истлевет, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. N. N. почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище:

Но не тем

В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила.

Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М(уравьев-Апостол), я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то непременно им воспользовался».

ЦЫГАНЫ

Цыганы шумною толпой
 По Бессарабии кочуют.
 Они сегодня над рекой
 В шатрах изодранных ночуют.
 Как вольность, весел их ночлег
 И мирный сон под небесами;
 Между колесами телег,
 Полузавешанных коврами,
 Горит огонь; семья кругом
 Готовит ужин; в чистом поле
 Пасутся кони; за шатром
 Ручной медведь лежит на воле.
 Все живо посреди степей:
 Заботы мирные семей,
 Готовых с утром в путь недалкий,
 И песни жен, и крик детей,
 И звон походной наковальни.
 Но вот на табор кочевой
 Нисходит сонное молчанье,
 И слышно в тишине степной
 Лишь лай собак да коней ржанье.
 Огни везде погашены,
 Спокойно все, луна сияет
 Одна с небесной вышины
 И тихий табор озаряет.
 В шатре одном старик не спит;
 Он перед углями сидит,
 Согреть их последним жаром,
 И в поле дальнее глядит,
 Ночным подернутое паром.
 Его молоденькая дочь
 Пошла гулять в пустынном поле.
 Она привыкла к резвой воле,
 Она придет; но вот уж ночь,
 И скоро месяц уж покинет
 Небес далеких облака,—
 Земфиры нет как нет; и стынет
 Убогий ужин старика.

Но вот она. За нею следом
 По степи юноша спешит;
 Цыгану вовсе он неведом.

«Отец мой,—дева говорит,—
Веду я гостя; за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на́ ночь зазвала.
Он хочет быть как мы цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко — он
Готов идти за мною всюду».

Старик

Я рад. Остањся до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш — привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле —
А завтра с утренней зарей
В одной телеге мы поедем;
Примись за промысел любой:
Железо куй иль песни пой
И селы обходи с медведем.

Алеко

Я остаюсь.

Земфира

Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашел; поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит...

Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира: солнце всходит,
Проснись, мой гость! пора, пора!..
Оставьте, дети, ложе неги!..
И с шумом высыпал народ;
Шатры разобраны; телеги
Готовы двинуться в поход.»

Все вместе тронулось — и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной!

Уньило юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет —
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:

Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.

Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал .
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога,
И жизни не могла тревога.
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальняя звезда;
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;
Но он беспечно под грозою
И в ведро ясное дремал.
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди!

Земфира

Скажи, мой друг: ты не жалеешь
О том, что бросил навсегда?

Алеко

Что ж бросил я?

Земфира

Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.

Алеко

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волнение,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Земфира

Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры,
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!..

Алеко

Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий.
А девы... Как ты лучше их
И без нарядов дорогих,
Без жемчугов, без ожерелий!
Не изменись, мой нежный друг!
А я... одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье!

Старик

Ты любишь нас, хоть и рожден
Среди богатого народа.
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.
Меж нами есть одно преданье:
Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье.
(Я прежде знал, но позабыл
Ему мудренное прозванье.)

Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной —
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный —
И полюбили все его,
И жил он на берегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя;
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети;
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он иссохший, бледный,
Он говорил, что гневный бог
Его карал за преступленье...
Он ждал: придет ли избавленье.
И все несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальний град вспоминая,
И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей земли
Не успокоенные гости!

Алеко

Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!..
Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий?
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?

Прошло два лета. Так же бродят
Цыганы мирною толпой;
Везде по-прежнему находят
Гостеприимство и покой.
Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен, как они;
Он без забот и сожаленья
Ведет кочующие дни.
Все тот же он; семья все та же;
Он, прежних лет не помня даже,
К бытью цыганскому привык.
Он любит их ночлегов сени,
И упоенье вечной лени,
И бедный, звучный их язык.
Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
В селеньях, вдоль степной дороги,
Близ молдаванского двора
Перед толпою осторожной
И тяжко пляшет, и ревет,
И цепь докучную грызет;
На посох опершись дорожный,
Старик лениво в бубны бьет,
Алеко с пеньем зверя водит,
Земфира поселян обходит
И дань их вольную берет.
Настанет ночь; они все трое
Варят нежатое пшено;
Старик уснул—и всё в покое...
В шатре и тихо и темно.

Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

Земфира

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

Алеко

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Земфира

Не любишь? мне какое дело!
Я песню для себя пою.

Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.

Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

Как ласкала его
Я в ночной тишине!
Как смеялись тогда
Мы твоей седине!

Алеко

Молчи, Земфира! я доволен...

Земфира

Так понял песню ты мою?

Алеко

Земфира!

Земфира

Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою.

Уходит и поет: Старый муж и проч.

Старик

Так, помню, помню — песня эта
Во время наше сложена,
Уже давно в забаву света
Поется меж людей она.
Кочуя на степях Кагула,
Ее, бывало, в зимню ночь
Моя певала Мариула,
Перед огнем качая дочь.
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней;
Но заронилась песня эта
Глубоко в памяти моей.

Все тихо; ночь. Луной украшен
Лазурный юга небосклон,
Старик Земфирой пробужден:
«О мой отец! Алеко страшен.
Послушай: сквозь тяжелый сон
И стонет и рыдает он».

Старик

Не тронь его. Храни молчанье.
Слышал я русское преданье:
Теперь полунощной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарей
Уходит он. Сиди со мной.

Земфира

Отец мой! шепчет он: Земфира!

Старик

Тебя он ищет и во сне:
Ты для него дорожке мира.

Земфира

Его любовь постыла мне,
Мне скучно; сердце воли просит —
Уж я... Но тише! слышишь? он
Другое имя произносит...

Старик

Чье имя?

Земфира

Слышишь? хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как ужасно!..
Я разбужу его...

Старик

Напрасно,
Ночного духа не гони —
Уйдет и сам...

Земфира

Он повернулся,
Привстал, зовет меня... проснулся —
Иду к нему — прощай, усни.

Алеко

Где ты была?

Земфира

С отцом сидела.
Какой-то дух тебя томил;
Во сне душа твоя терпела
Мученья; ты меня страшил:
Ты, сонный, скрежетал зубами
И звал меня.

Алеко

Мне снилась ты.
Я видел, будто между нами...
Я видел страшные мечты!

Земфира

Не верь лукавым сновиденьям.

Алеко

Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу твоему.

Старик

О чем, безумец молодой,
 О чем вздыхаешь ты всечасно?
 Здесь люди вольны, небо ясно,
 И жены славятся красой.
 Не плачь: тоска тебя погубит.

Алеко

Отец, она меня не любит.

Старик

Утешься, друг: она дитя.
 Твое унынье безрассудно:
 Ты любишь горестно и трудно,
 А сердце женское — шутя.
 Взгляни: под отдаленным сводом
 Гуляет вольная луна;
 На всю природу мимоходом
 Равно сиянье льет она.
 Заглянет в облако любое,
 Его так пышно озарит —
 И вот — уж перешла в другое;
 И то недолго посетит.
 Кто место в небе ей укажет,
 Примолвля: там остановись!
 Кто сердцу юной девы скажет:
 Люби одно, не изменись?
 Утешься.

Алеко

Как она любила!
 Как нежно преклонясь ко мне,
 Она в пустынной тишине
 Часы ночные проводила!
 Веселья детского полна,
 Как часто милым лепетаньем
 Иль упоительным лобзаньем
 Мою задумчивость она
 В минуту разогнать умела!..
 И что ж? Земфира неверна!
 Моя Земфира охладела!..

Старик

Послушай: расскажу тебе
Я повесть о самом себе.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал еще москаль —
(Вот видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль.)
Тогда боялись мы султана;
А правил Буджаком паша
С высоких башен Аккермана —
Я молод был: моя душа
В то время радостно кипела;
И ни одна в кудрях моих
Еще сединка не белела, —
Между красавиц молодых
Одна была... и долго ею,
Как солнцем, любовался я,
И наконец назвал моею...

Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только год
Меня любила Мариула.

Однажды близ Кагульских вод
Мы чуждый табор повстречали;
Цыганы те, свои шатры
Разбив близ наших у горы,
Две ночи вместе ночевали.
Они ушли на третью ночь, —
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула;
Проснулся я, подруги нет!
Ищу, зову — пропал и след.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакал — с этих пор
Постыли мне все девы мира;
Меж ими никогда мой взор
Не выбирал себе подруги,
И одинокие досуги
Уже ни с кем я не делил.

Алеко

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам и ей коварной
Кинжала в сердце не вонзил?

Старик

К чему? вольнее птицы младость;
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Алеко

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

Молодой цыган

Еще одно... одно лобзанье...

Земфира

Пора: мой муж ревнив и зол.

Цыган

Одно... но доле!.. на прощанье.

Земфира

Прощай, покамест не пришел.

Цыган

Скажи—когда ж опять свиданье?

Земфира

Сегодня, как зайдет луна,
Там, за курганом над могилой...

Цыган

Обманет! не придет она!

Земфира

Вот он! беги!.. Приду, мой милый.

Алеко спит. В его уме
Виденье смутное играет;
Он, с криком пробудясь во тьме,
Ревниво руку простирает;
Но обробелая рука
Покровы хладные хватает—
Его подруга далека...
Он с трепетом привстал и внемлет...
Все тихо—страх его объемлет,
По нем текут и жар и хлад;
Встает он, из шатра выходит,
Вокруг телег, ужасен, бродит;
Спокойно все; поля молчат;
Темно; луна зашла в туманы,
Чуть брезжит звезд неверный свет,
Чуть по росе приметный след
Ведет за дальные курганы:
Нетерпеливо он идет,
Куда зловецкий след ведет.

Могилы на краю дороги
Вдали белеет перед ним...
Туда слабеющие ноги
Влачит, предчувствием томим,
Дрожат уста, дрожат колени,
Идет... и вдруг... иль это сон?
Вдруг видит близкие две тени
И близкий шепот слышит он—
Над обесславленной могилой.

1-й голос

Пора...

2-й голос

Постой...

1-й голос

Пора, мой милый.

2-й голос

Нет, нет, постой, дождемся дня.

1-й гоолос

Уж поздно.

2-й голос

Как ты робко любишь.

Минуту!

1-й голос

Ты меня погубишь.

2-й голос

Минуту!

1-й голос

Если без меня

Проснется муж?..

Алеко

Проснулся я.

Куда вы! не спешите оба;

Вам хорошо и здесь у гроба.

Земфира

Мой друг, беги, беги...

Алеко

Постой!

Куда, красавец молодой?

Лежи!

Вонзает в него нож.



Земфира

Алеко!

Цыган

Умираю...

Земфира

Алеко, ты убьешь его!
Взгляни: ты весь обрызган кровью!
О, что ты сделал?

Алеко

Ничего.

Теперь дыши его любовью.

Земфира

Нет, полно, не боюсь тебя! —
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклиная...

Алеко

Умри ж и ты!

Поражает ее.

Земфира

Умру любя...

Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный,
Сидел на камне гробовом.
Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом.
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу в стороне копали.
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;

Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На все... когда же их закрыли
Последней горстью земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приближась, рек:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики; нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казим —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».

Сказал — и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И скоро все в дали степной
Сокрылось; лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подьмется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь; в телеге темной
Огня никто не разложил,
Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

ЭПИЛОГ

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы—
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

К.Ф.Рылеев



ВОЙНАРОВСКИЙ

Поэма

...Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria...

*Dante**

А. А. Бестужеву

Как странник грустный, одинокий,
В степях Аравии пустой,
Из края в край с тоской глубокой
Бродил я в мире сиротой.
Уж к людям холод ненавистный
Приметно в душу проникал,
И я в безумии дерзал
Не верить дружбе бескорыстной.
Незапно ты явился мне:
Повязка с глаз моих упала;
Я разуверился вполне,
И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла.

Прими ж плоды трудов моих,
Плоды беспечного досуга;
Я знаю, друг, ты примешь их
Со всей заботливостью друга.
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства,—
Я не Поэт, а Гражданин.

* Нет большего горя, чем вспоминать о счастливом времени в несчастье... Данте (*ит.*).

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МАЗЕПЫ

Мазепа принадлежит к числу замечательнейших лиц в российской истории XVIII столетия. Место рождения и первые годы его жизни покрыты мраком неизвестности. Достоверно только, что он провел молодость свою при варшавском дворе, находился пажем у короля Иоанна Казимира и там образовался среди отборного польского юношества. Несчастные обстоятельства, до сих пор еще не объясненные, заставили его бежать из Польши. История представляет нам его в первый раз в 1674 году главным советником Дорошенки, который, под покровительством Польши, правил землями, лежавшими по правой стороне Днепра. Московский двор решился присоединить в то время сии страны к своей державе. Мазепа, попавшись в плен при самом начале войны с Дорошенком, советами против бывшего своего начальника много способствовал успеху сего предприятия и остался в службе у Самойловича, гетмана малороссийской Украины. Самойлович, заметив в нем хитрый ум и пронырство, увлеченный его красноречием, употреблял его в переговорах с царем Феодором Алексеевичем, с крымским ханом и с поляками. В Москве Мазепа вошел в связи с первыми боярами царского двора и после неудачного похода любимца Софии князя Василья Васильевича Голицына в Крым в 1687 году, чтоб отклонить ответственность от сего вельможи, он приписал неуспех сей войны благодетелю своему Самойловичу; отправил о сем донос к царям Иоанну и Петру и в награду за сей поступок был, по проискам Голицына, возведен в звание гетмана обеих Украин.

Между тем война с крымцами не устала: поход 1688 года был еще неудачнее прошлогоднего; здесь в то время произошла перемена в правлении. Владычество Софии и ее любимца кончилось, и власть перешла в руки Петра. Мазепа, опасаясь разделить несчастную участь с вельможею, которому он обязан был своим возвышением, решился объявить себя на стороне юного государя, обвинил Голицына в лихоимстве и остался гетманом.

Утвержденный в сем достоинстве, Мазепа всячески старался снискать благоволение российского монарха. Он участвовал в азовском походе; во время путешествия Петра по чужим краям счастливо воевал с крымцами и один из первых советовал разорвать мир с шведами. В словах и поступках он казался самым ревностным поборником выгод России, изъявлял совершенное покорство воле Петра, предупреждал его желания, и в 1701 году, когда буджацкие и белгородские татары просили его о принятии их в покровительство, согласно с древними обычаями козаков, «прежние козацкие обыкновения миновались,—отвечал он депутатам,—гетманы ничего не делают без повеления государя». В письмах к царю Мазепа говорил про себя, что он один и что все окружающие его недоброжелательствуют России; просил, чтоб доставили ему случай показать свою верность, позволив участвовать в войне против шведов, и в 1704 году, после похода в Галицию, жаловался, что король Август держал его в бездействии, не дал ему способов к оказанию важных услуг русскому царю. Петр, плененный его умом, познаниями и довольный его службою, благоволил к гетману особенным образом. Он имел к нему неограниченную доверенность, осыпал его милостями, сообщал ему самые важные тайны, слушал его советов. Случалось ли, что недовольные, жалу-

ясь на гетмана, обвиняли его в измене, государь велел отсылать их в Малороссию и судить как ябедников, осмелившихся поносить достойного повелителя козаков. Еще в конце 1705 года Мазепа писал к Головкину: «Никогда не отторгнусь от службы премилостивейшего моего государя». В начале 1706 года был он уже изменник.

Несколько раз уже Станислав Лещинский подсылал к Мазепе поверенных своих с пышными обещаниями и убеждениями преклониться на его сторону, но последний отсылал всегда сии предложения Петру. Замыслив измену, повелитель Малороссии почувствовал необходимость притворства. Ненависть россиян в душе, он вдруг начал обходиться с ними самым приветливым образом; в письмах своих к государю уверял он более чем когда-нибудь в своей преданности, а между тем потаенными средствами раздувал между козаками неудовольствие против России. Под предлогом, что казаки ропщут на тягости, понесенные ими в прошлогдних походах и в крепостных работах, он распустил войско, вывел из крепостей гарнизоны и стал укреплять Батурич; сам Мазепа притворился больным, слег в постель, окружил себя докторами, не вставал с одра по несколько дней сряду, не мог ни ходить, ни стоять, и в то время, как все полагали его близким ко гробу, он приводил в действие свои намерения: переписывался с Карлом XII и Лещинским, вел по ночам переговоры с присланным от Станислава иезуитом Зеленским о том, на каких основаниях сдать Малороссию полякам, и отправлял тайных агентов к запорожцам с разглашениями, что Петр намерен истребить Сечу и чтоб они готовились к сопротивлению. Гетман еще более начал притворяться по вступлении Карла в Россию. В 1708 году болезнь его усилилась. Тайные пересылки к шведским королем и письма к Петру сделались чаще. Карла умолял он о скорейшем прибытии в Малороссию и избавлении его от ига русских, и в то же время писал к графу Гавриле Ивановичу Головкину, что никакие прелести не могут отторгнуть его от высокодержавной руки царя русского и поколебать недвижимой его верности. Между тем шведы были разбиты при Добром и Лесном, и Карл обратился в Украину. Петр повелел гетману следовать к Киеву и с той стороны напасть на неприятельский обоз; но Мазепа не двигался из Борзны; притворные страдания его час от часу усиливались; 22 октября 1708 г. писал он еще к графу Головкину, что он не может ворочаться без пособия своих слуг, более 10 дней не употребляет пищи, лишен сна и, готовясь умереть, уже соборовался маслом, а 29, явившись в Горках с 5000 козаков, положил к стопам Карла XII булаву и бунчук, в знак подданства и верности.

Что побудило Мазепу к измене? Ненависть ли его к русским, полученная им еще в детстве, во время его пребывания при польском дворе? Любовная ли связь с одною из родственниц Станислава Лещинского, которая принудила его перейти на сторону сего короля? Или, как некоторые полагают, любовь к отечеству, внушившая ему неуместное опасение, что Малороссия, оставшись под владычеством русского царя, лишится прав своих? Но в современных актах ее не вижу в поступке гетмана Малороссии сего возвышенного чувства, предполагающего отвержение от личных выгод и пожертвование собою пользе сограждан. Мазепа в универсалах и письмах своих к козакам клялся самыми священными именами, что действует для их блага; но в тайном договоре с Станиславом отдавал Польшу Малороссию и Смоленск с тем, чтоб его признали владетельным князем полоцким и витебским. Низкое,

мелочное честолюбие привело его к измене. Благо козаков служило ему средством к умножению числа своих соумышленников и предлогом для сокрытия своего вероломства, и мог ли он, воспитанный в чужбине, уже два раза опятнавший себя предательством, двигаться благородным чувством любви к родине?

Генеральный судья Василий Кочубей был давно уже в несогласии с Мазепою. Ненависть его к гетману усилилась с 1704 года, после того как сей последний, во зло употребляя власть свою, обольстил дочь Кочубея и, смеясь над жалобами родителей, продолжал с нею виновную связь. Кочубей поклялся отомстить Мазепе; узнав о преступных его замыслах, может быть, движимый усердием к царю, решился открыть их Петру. Согласившись с полтавским полковником Искрою, они отправили донос свой в Москву, а вскоре потом и сами туда явились; но двадцатилетняя верность Мазепы и шестьдесят четыре года жизни отдаляли от него всякое подозрение. Петр, приписывая поступок Кочубея и Искры личной ненависти на гетмана, велел отослать их в Малороссию, где сии несчастные, показав под пыткой, что их показания ложны, были казнены 14 июля 1708 года в Борцаговке, в 8 милях от Белой Церкви.

А. Корнилович

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ВОЙНАРОВСКОГО

Андрей Войнаровский был сын родной сестры Мазепы, но об его отце и детстве нет никаких верных сведений. Знаем только, что бездетный гетман, провидя в племяннике своем дарования, объявил его своим наследником и послал учиться в Германию наукам и языкам иностранным. Объехав Европу, он возвратился домой, обогатив разум познанием людей и вещей. В 1705 году Войнаровский послан был на службу царскую. Мазепа поручил его тогда особому покровительству графа Головкина; а в 1707 году мы уже встречаем его атаманом пяти тысячного отряда, посланного Мазепою под Люблин в усиление Меншикова, откуда и возвратился он осенью того же года. Участник тайных замыслов своего дяди, Войнаровский в решительную минуту впадения Карла XII в Украину отправился к Меншикову, чтобы извинить медленность гетмана и заслонить его поведение. Но Меншиков уже был разочарован: сомнения об измене Мазепы превращались в вероятия, и вероятия склонились к достоверности — рассказы Войнаровского остались втуне. Видя, что каждый час умножается опасность его положения, не принося никакой пользы его стороне, он тайно отъехал к войску. Мазепа еще притворствовал: показал вид, будто разгневался на племянника, и, чтобы удалить от себя тягостного наживателя, полковника Протасова, упросил его исходатайствовать лично у Меншикова прощение Войнаровскому за то, что тот уехал не простясь. Протасов дался в обман и оставил гетмана, казалось, умирающего. Явная измена Мазепы и прилучение части козацкого войска к Карлу XII последовали за сим немедленно, и от сих пор судьба Войнаровского была нераздельна с судьбою сего славного изменника и венценосного рыцаря, который не раз посылал его из Бендер к хану крымскому и турецкому двору, чтобы восстановить их противу России. Станислав Лещинский нарек Войнаровского

коронным воеводою Царства Польского, а Карл дал ему чин полковника шведских войск и по смерти Мазепы назначил гетманом обеих сторон Днепра. Однако ж Войнаровский потерял блестящую и верную надежду быть гетманом всей Малороссии, ибо намерение дяди и желание его друзей призывали его в преемники сего достоинства, отклонил от себя безземельное гетманство, на которое осудили его одни беглецы, и даже откупился от оногo, придав Орлику 3000 червонных к имени гетмана и заплатив кошевому 200 червонцев за склонение казаков на сей выбор. Наследовав после дяди знатное количество денег и драгоценных камней, Войнаровский приехал из Турции и стал очень роскошно жить в Вене, в Бреславле и Гамбурге. Его образованность и богатство ввели его в самый блестящий круг дворов германских, и его ловкость, лобезность доставили ему знакомство (кажется, весьма двусмысленное) с славною графинею Кенитсмарк, любовницею противника его, короля Августа, матерью графа Морица де Сакс. Между тем как счастье ласкало так Войнаровского забавами и дарами, судьба готовила для него свои перуны. Намереваясь отправиться в Швецию для получения с Карла занятых им у Мазепы 240 000 талеров, он приехал в 1716 году в Гамбург, где и был схвачен на улице магистратом по требованию российского резидента Беттахера. Однако ж, вследствие протестации венского двора, по правам нейтралитета, отправление его из Гамбурга длилось долго, и лишь собственная решимость Войнаровского отдаться милости Петра I предала его во власть русских. Он представился государю в день именин императрицы, и ее заступление спасло его от казни. Войнаровский был сослан со всем семейством в Якутск, где и кончил жизнь свою, но когда и как, неизвестно. Миллер, в бытность свою в Сибири в 1736 и 1737 годах, видел его в Якутске, но уже одичавшего и почти забывшего иностранные языки и светское обхождение.

Такова была жизнь Войнаровского, и нрав его виден в делах. Он был отважен, ибо Мазепа не вверил бы ему многочисленного отряда людей независимых, у коих одни личные достоинства могли скреплять власть; красноречив, что доказывают поручения от Карла XII и Мазепы; решителен и неуклончив, как это видно из размовки его с Меншиковым; наконец, ловок и обходителен, ибо тщеславие не нарекло бы его в Вене графом*, если бы лобезный дикарь сей не имел тонкости светской; одним словом, Войнаровский принадлежал к числу тех немногих людей, которых Великий Петр почтил именем опасных врагов. Без сомнения, Войнаровский, одаренный сильным характером, которому случай дал развернуться в такую славную эпоху, принадлежит к числу любопытнейших лиц прошлого века — лиц, равно присвоенных истории и поэзии, ибо превратность судьбы его предупредила все вымыслы романтика.

А. Бестужев

* В Вене называли его графом. (Прим. Рыльева.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В стране метелей и снегов,
На берегу широкой Лены,
Чернеет длинный ряд домов
И юрт¹* бревенчатые стены.
Кругом сосновый частокол
Поднялся из снегов глубоких,
И с гордостью на дикий дол
Глядят верхи церквей высоких;
Вдали шумит дремучий бор,
Белеют снежные равнины,
И тянутся кремнистых гор
Разнообразные вершины...

Всегда сурова и дика
Сих стран угрюмая природа;
Ревет сердитая река,
Бушует часто непогода,
И часто мрачны облака...

Никто страны сей безотрадной,
Обширной узников тюрьмы,
Не посетит, боясь зимы
И продолжительной и хладной.
Однообразно дни ведет
Якутска житель одичалый;
Лишь раз иль дважды в круглый год,
С толпой преступников усталой,
Дружина воинов придет;
Иль за якутскими мехами,
Из ближних и далеких стран,
Приходит с русскими купцами
В забытый город караван.
На миг в то время оживится
Якутск унылый и глухой;
Все зашумит, засуетится,
Народы разные толпой:
Якут и юкагир пустынный,
Неся богатый свой ясак²,
Лесной тунгуз и с пикой длинной
Сибирский строевой козак.

* Цифры в поэме отсылают к примечаниям, приложенным Рылеевым к первой части поэмы (см. стр. 145.—Ред.)

Тогда зима на миг единый
От мест угрюмых отлетит,
Безмолвный лес заговорит,
И чрез зеленые долины
По камням Лена зашумит.
Так посещает в подземелье
Почти убитого тоской
Страдальца-узника порой
Души минутное веселье.
Так в душу мрачную влетит
Подчас спокойствие ошибкой
И принужденною улыбкой
Чело злодея прояснит...

Но кто украдкою из дому
В тумане раннею порой
Идет по берегу крутому
С винтовкой длинной за спиной;
В полукафтанье, в шапке черной
И перетянут кушаком,
Как стран Днепра козак проворный
В своем наряде боевом?
Взор беспокойный и угрюмый,
В чертах суровость и тоска,
И на челе его слегка
Тревожные рисует думы
Судьбы враждующей рука.
Вот к западу простер он руки;
В глазах вдруг пламень засверкал,
И с видом нестерпимой муки,
В волненье сильном он сказал:

«О край родной! Поля родные!
Мне вас уж боле не видать;
Вас, гробы праотцев святыя,
Изгнаннику не обнимать.
Горит напрасно пламень пылкий,
Я не могу полезным быть:
Средь дальней и позорной ссылки
Мне суждено в тоске изныть.

О край родной! Поля родные!
Мне вас уж боле не видать;
Вас, гробы праотцев святыя,
Изгнаннику не обнимать».
Сказал; пошел по косогору;

Едва приметною тропой
 Поворотил к сырому бору.
 И вот исчез в глуши лесной.
 Кто ссыльный сей, никто не знает;
 Давно в страну изгнанья он,
 Молва народная вещает,
 В кибитке крытой привезен.
 Улыбки не видать приветной
 На незнакомце никогда,
 И поседели уж приметно
 Его и ус и борода.
 Он не варнак[†]; смотри: не видно
 Печати роковой на нем,
 Для человечества постыдной,
 В чело клейменной палачом.
 Но вид его суровой вдвое,
 Чем дикий вид чела с клеймом;
 Покоен он—но так в покое
 Байкал⁴ пред бурей мрачным днем,
 Как в час глухой и мрачной ночи,
 Когда за тучей месяц спит,
 Могильный огонек горит,—
 Так незнакомца блещут очи.
 Всегда дичится и молчит,
 Один, как отчужденный, бродит,
 Ни с кем знакомства не заводит,
 На всех сурово он глядит...

В стране той хладной и дубравной
 В то время жил наш Миллер⁵
 славный:

В укромном домике, в тиши,
 Работал для веков в глуши,
 С судьбой боролся своенравной
 И жажду утолял души.
 Из родины своей далекой
 В сей край пустынный завлечен.
 К познаньям страстию высокой,
 Здесь наблюдал природу он.
 В часы суровой непогоды
 Любил рассказы стариков
 Про Ермака и козаков,
 Про их отважные походы
 По царству хлада и снегов.



Как часто, вышедши из дому,
Бродил по целым он часам
По океану снеговому
Или по дебрям и горам.
Следил, как солнце, яркий пламень
Разлив по тверди голубой,
На миг за Кангалацкий камень
Уходит летнею порой.
Все для пришельца было ново:
Природы дикой красота,
Климат жестокий и суровый
И диких нравов простота.

Однажды он в мороз трескучий,
Оленя гнав с сибирским псом,
Вбежал на льжах в лес дремучий —
И мрак и тишина кругом!
Повсюду сосны вековые
Иль кедры в инее седом;
Сплелися ветви их густые
Непроницаемым шатром.
Не видно из лесу дороги...
Через хворост, кочки и снега
Олень несется быстроногий,
Закинув на спину рога,
Вдали меж соснами мелькает.
Летит!.. Вдруг выстрел!.. Быстрый бег
Олень внезапно прерывает...
Вот зашатался — и на снег
Окровавленный упадает.
Смущенный Миллер робкий взор
Туда, где пал олень, бросает,
Сквозь чащу, ветви, дичь и бор,
И зрит: к оленю подбегает
С винтовкой длинною в руке,
Окутанный дохою⁶ черной
И в длинношерстном чебаке⁷,
Охотник ловкий и проворный...

То ссыльный был. Угрюмый взгляд,
Вооруженье и наряд
И незнакомца вид унылый —
Все душу странника страшило.

Но, трепеща в глуши лесной
Блуждать один, путей не зная,
Преодолея он ужас свой
И быстрой полетел стрелой,
Бег к незнакомцу направляя.
«Кто б ни был ты,— он так сказал,—
Будь мне вожатым, ради бога;
Гнав зверя, я с тропы сбежал
И в глушь нечаянно попал;
Скажи, где на Якутск дорога?»
— «Она осталась за тобой,
За час отсюда, в ближнем доле;
Кругом всё дичь и лес густой,
И вряд ли до ночи глухой
Успеешь выбраться ты в поле;
Уже вечерняя пора...
Но мы вблизи заимки⁸ скудной:
Пойдем — там в юрте до утра
Ты отдохнешь с охоты трудной».

Они пошли. Все глуше лес,
Все реже виден свод небес...
Погасло дневное светило;
Настала ночь... Вот месяц всплыл,
И одинокий и унылый,
Дремучий лес осеребрил
И юрту путникам открыл.
Пришли — и ссыльный, торопливо
Вошел в угрюмый свой приют,
Вдруг застучал кремнем в огниво,
И искры сыпались на трут,
Мрак освещая молчаливый,
И каждый в сталь удар кремня
В углу обители пустынной
То дуло озарял ружья,
То ратовище пальмы⁹ длинной,
То саблю, то конец копья.
Глаз с незнакомца не спуская,
Близ двери Миллер перед ним,
В душе невольный страх скрывая,
Стоит и нем и недвижим...
Вот, вздув огонь, пришлец суровый
Проворно жирник¹⁰ засветил,

Скамью придвинул, стол сосновый
Простою скатертью накрыл
И с лаской гостя посадил.
И вот за трапезою сытной,
В хозяина вперяя взор,
Заводит странник любопытный
С ним о Сибири разговор.
В какое ж Миллер удивленье
Был незнакомцем приведен,—
И кто бы не был поражен:
Стран европейских просвещенье
В лесах сибирских встретил он!
Покинув родину, с тоскою
Два года Миллер, как чужой,
Бродил бездомным сиротою
В стране забытой и глухой,
Но тут, в пустыне отдаленной,
Он неожиданно, в глуши,
Впервые мог тоску души
Отвесть беседой просвещенной.
При строгой важности лица,
Слова, высоких мыслей полны,
Из уст седого пришлеца
В избытке чувств текли, как волны.
В беседе долгой и живой
Глаза у обоих сверкали;
Они друг друга понимали
И, как друзья, в глуши лесной
Взаимно души открывали.
Усталый странник позабыл
И поздний час, и сон отрадный,
И, слушать незнакомца жадный,
Казалось, весь вниманье был.

«Ты знать желаешь, добрый странник,
Кто я и как сюда попал?—
Так незнакомец продолжал:—
Того до сей поры изгнанник
Здесь никому не поверял.
Иных здесь чувств и мнений люди:
Они не поняли б меня,
И повесть мрачная моя
Не взволновала бы их груди.
Тебе же тайну вверю я
И чувства сердца обнаружу,—

Ты в родине, как должно мужу,
Наукой просветил себя.
Ты все поймешь, ты все оценишь
И несчастливцу не изменишь...

Дивись же, странник молодой,
Как гонит смертных рок свирепый:
В одежде дикой и простой,
Узнай, сидит перед тобой
И друг и родственник Мазепы!¹¹
Я Войнаровский. Обо мне
И о судьбе моей жестокой
Ты, может быть, в родной стране
Слышал не раз, с тоской глубокой...
Ты видишь: дик я и угрюм,
Брожу, как остов, очи впали,
И на челе бразды печали,
Как отпечаток тяжких дум,
Страдальцу вид суровый дали.
Между лесов и грозных скал,
Как вечный узник, безотраден,
Я одряхлел, я одичал,
И, как климат сибирский, стал
В своей душе жесток и хладен.
Ничто меня не веселит,
Любовь и дружество мне чужды,
Печаль свинцом в душе лежит,
Ни до чего нет сердцу нужды.
Бегу, как недруг, от людей;
Я не могу снести их вида:
Их жалость о судьбе моей
Мне нестерпимая обида.
Кто брошен в дальние снега
За дело чести и отчизны,
Тому сноснее укоризны,
Чем сожаление врага.

.....

И ты печально не гляди,
Не изъясляй мне сожаленье,
И так жестоко не буди
В моей измученной груди
Тоски, уснувшей на мгновенье.

Признаться ль, странник: я б желал,
Чтоб люди узника чуждались,
Чтоб взгляд мой душу их смущал,
Чтобы меня средь этих скал,
Как привидения, пугались.
Ах! может быть, тогда покой
Сдружился бы с моей душой...
Но знал и я когда-то радость,
И от души людей любил,
И полной чашею испил
Любви и тихой дружбы сладость.
Среди родной моей земли,
На лоне счастья и свободы,
Мои младенческие годы
Ручьем игривым протекли;
Как легкий сон, как привиденье,
За ними радость на мгновенье,
А вместе с нею суеты,
Война, любовь, печаль, волнение
И пылкой юности мечты.

Враг хищных крымцев, враг поляков,
Я часто за Палеем¹² вслед,
С ватагой¹³ храбрых гайдамаков¹⁴,
Искал иль смерти, иль побед.
Бывало, кони быстроноги
В степях и диких и глухих,
Где нет жилья, где нет дороги,
Мчат вихрем всадников лихих.
Дыша любовью к дикой воле,
Бодры и веселы без сна,
Мы воздухом питались в поле
И-малой горстью толокна¹⁵.
В неотразимые наезды
Нам путь указывали звезды,
Иль шумный ветер, иль курган;
И мы, как туча громовая,
Внезапно и от разных стран,
Пустыню воплем оглашая,
На вражий наезжали стан,
Дружины грозные громили,
Селения и грады в прах,
И в земли чуждые вносили
Опустошение и страх.

Враги везде от нас бежали
И, трепеща постыдных уз,
Постыдной данью покупали
У нас сомнительный союз.

Однажды, увлечен отвагой,
Я, с малочисленной ватагой
Неустрасливых удалцов,
Ударил на толпы врагов.
Бой длился до ночи. Поляки
Уже смешались в рядах
И, строясь дале, на холмах,
Нам уступали поле драки.
Вдруг слышим крымцев дикий глас...
Поля и стонут и трясутся...
Глядим — со всех сторон на нас
Толпы враждебные несутся...
В одно мгновение тучи стрел
В дружину нашу засвистали;
Вотще я устоять хотел, —
Враги все боле нас стесняли,
И, наконец, покинув бой,
Мы степью дикой и пустой
Рассыпались и побежали...
Погоню слыша за собой,
И раненый и изнуренный,
Я на коне летел стрелой,
Страшася в плен попасть презренный.
Уж Крыма хищные сыны
За мною гнаться перестали;
За рубежом родной страны
Уж хутора¹⁶ вдали мелькали.
Уж в куренях¹⁷ я зрел огонь,
Уже я думал — вот примчался!
Как вдруг мой изнуренный конь
Остановился, зашатался
И близ границ страны родной
На землю грянулся со мной...

Один, вблизи степной могилы¹⁸,
С конем издохнувшим своим,
Под сводом неба голубым
Лежал я мрачный и унылый.
Катился градом пот с чела,
Из раны кровь ручьем текла...

Напрасно, помощь призывая,
Я слабый голос подавал;
В степи пустынной исчезая,
Едва родясь, он умирал.

Все было тихо... Лишь могила
Уныло с ветром говорила.
И одинока и бледна,
Плыла двурога лана
И озаряла сумрак ночи.
Я без движения лежал;
Уж я, казалось, замирал;
Уже, заглядывая в очи,
Над мною хищный вран летал...
Вдруг слышу шорох за курганом
И зрю: покрытая серпием,
Козачка юная стоит,
Склоняясь робко надо мною,
И на меня с немой тоскою
И нежной жалостью глядит.

О незабвенное мгновенье!
Воспомяненье о тебе,
Назло враждующей судьбе,
И здесь страдальцу упоенье!
Я не забыл его с тех пор:
Я помню сладость первой встречи,
Я помню ласковые речи
И полный сострадания взор.
Я помню радость девицы нежной,
Когда страдалец безнадежный
Был под хранительную сень
Снесен к отцу ее в курень.
С какой заботою ходила
Она за страждущим больным;
С каким участием живым
Мои желания ловила.
Я все утешения находил
В моей козачке черноокой;
В ее словах я негу пил
И облегал недуг жестокий.
В часы бессонницы моей
Она, прикинувшись к изголовью,
Сидела с тихою любовью
И не сводя с меня очей.

В час моего успокоенья
Она ходила собирать,
Степные травы и коренья,
Чтоб ими друга врачевать.
Как часто нежно и приветно
На мне прекрасный взор бродил,
И я козачку неприметно
Душою пылкой полюбил.
В своей невинности сначала
Она меня не понимала;
Я тосковал, кипела кровь!
Но скоро пылкая любовь
И в милой деве запылала...
Настала счастья пора!
Подругой юной исцеленный,
С душой, любовью упоенной,
Я обновленный встал с одра.
Недолго мы любовь таили,
Мы скоро жар сердец своих
Ее родителям открыли
И на союз сердец просили
Благословения у них.
Три года молнией промчались
Под кровом хижины простой;
С моей подругой молодой
Ни разу мы не разлучались.
Среди пустынь, среди степей,
В кругу резвящихся детей,
На мирном лоне сладострастья,
С козачкой милою моей
Вполне узнал я цену счастья.
Угрюмый гетман нас любил,
Как дед, дарил малюток милых
И, наконец, из мест унылых
В Батурин нас переманил.

Все шло обычной чередой.
Я счастлив был; но вдруг покой
И счастье мое сокрылось:
Нагрянул Карл на Русь войной—
Все на Украине ополчилось,
С весельем все летят на бой;
Лишь только мраком и тоской
Чело Мазепы обложилось.

Из-под бровей нависших стал
Сверкать какой-то пламень дикий;
Угрюмый с нами, он молчал
И равнодушнее внимал
Полков приветственные клики.

Вину таинственной тоски
Вотще я разгадать старался,—
Мазепа ото всех скрывался,
Молчал—и собирал полки.
Однажды позднею порою
Он в свой дворец меня призвал.
Вхожу—и слыщу: «Я желал
Давно беседовать с тобою;
Давно хотел открыться я
И важную поверить тайну;
Но наперед заверь меня,
Что ты, при случае, себя
Не пожалеешь за Украину».
«Готов все жертвы я принести,—
Воскликнул я,— стране родимой;
Отдам детей с женой любимой;
Себе одну оставлю честь».
Глаза Мазепы засверкали,
Как пред рассветом ночи мгла,
С его угрюмого чела
Сбежало облако печали.
Сжав руку мне, он продолжал:
«Я зрю в тебе Украйны сына;
Давно прямого гражданина
Я в Войнаровском угадал.
Я не люблю сердец холодных:
Они враги родной стране,
Враги священной старине,—
Ничто им бремя бед народных.
Им чувств высоких не дано,
В них нет огня душевной силы,
От колыбели до могилы
Им пресмыкаться суждено.
Ты не таков, я это вижу;
Но чувств твоих я не унижу,
Сказав, что родину мою
Я более, чем ты, люблю.

Как должно юному герою,
Любя страну своих отцов,
Женой, детьми и собою
Ты ей пожертвовать готов...
Но я, но я, пылая мезтью,
Ее спасая от оков,
Я жертвовать готов ей честью.
Но к тайне приступить пора.
Я чту Великого Петра;
Но — покоряся судьбине,
Узнай: я враг ему отныне!..
Шаг этот дерзок, знаю я;
От случая всему решенье,
Успех не верен, — и меня
Иль слава ждет, иль поношенье!
Но я решил: пусть судьба
Грозит стране родной злосчастьем, —
Уж близок час, близка борьба,
Борьба свободы с самовластьем!»
Началом бед моих была
Сия беседа роковая!
С тех пор пора утех прошла,
С тех пор, о родина святая,
Лишь ты всю душу заняла!
Мазепе предался я слепо,
И, друг отчизны, друг добра,
Я поклялся враждой свирепой
Против Великого Петра.
Ах, может, был я в заблужденье,
Кипящей ревностью горя;
Но я в слепом ожесточенье
Тираном почитал царя...
Быть может, увлеченный страстью,
Не мог я цену дать ему
И относил то к самовластью,
Что свет отнес к его уму.
Судьбе враждующей послушен,
Переносу я жребий свой,
Но, ах! вдали страны родной,
Могу ль всегда быть равнодушен?
Рожденный с пылкою душой,
Полезным быть родному краю,
С надеждой славиться войной,
Я бесполезно изнываю
В стране пустынной и чужой.

Как тень, везде тоска за мною,
Уж гаснет огонь моих очей.
И таю я, как лед весною
От распалющихся лучей.
Душе честолюбивой бремя
Вести с бездействием борьбу;
Но как ужасно знать до время
Свою ужасную судьбу!
Судьбу — всю жизнь влача в кручине,
Тая тоску в душе своей,
Зреть гроб в безбрежной сей пустыне,
Далёко от родных степей...
Почто, почто в битве кровавой,
Летая гордо на коне,
Не встретил смерти под Полтавой?
Почто с бесславием иль славой
Я не погиб в родной стране?
Увы! умру в сем царстве ночи!
Мне так сулил жестокий рок;
Умру я — и чужой песок
Изгнанника засыплет очи!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Уж было ясно и светло,
Мороз стрелял в глуши дубравы,
По небу серому текло
Светило дня, как шар кровавый.
Но в юрту день не проникал;
Скользя сквозь ветви древ густые,
Едва на окна ледяные
Луч одинокий ударял.
Знакомцы новые сидели
Уже давно пред очагом;
Дрова сосновые дотлели,
Лишь угли красные блестели
Порою синим огоньком.
Недвижно добрый странник внемлет
Страдальца горестный рассказ,
И часто гнев его объемлет
Иль слезы падают из глаз...

«Видал ли ты, когда весной,
Освобожденная из плена,
В брегах крутых несется Лена,
Когда, гоня волну волной
И разрушая все преграды,
Ломает льдистые громады
Иль, поднимая дикий вой,
Клубится и бугры вздымает,
Утесы с ревом отторгает
И их уносит за собой,
Шумя, в неведомые степи?
Так мы, свои разрушив цепи,
На глас отчизны и вождей,
Ниспровергая все препоны,
Помчались защищать законы
Среди отеческих степей.
Летая за гремящей славой,
Я жизни юной не щадил,
Я степи кровью обогрил
И свой булат в войне кровавой
О кости русских притупил.

Мазепа с северным героем
Давал в Украине бой за боем.
Дымились кровию поля,
Тела разбросанные гнили,
Их псы и волки теребили;
Казалась трупом вся земля!
Но все усилья тщетны были:
Их ум Петров преодолел;
Час битвы роковой приспел—
И мы отчизну погубили!
Полтавский гром загрохотал...
Но в грозной битве Карл свирепый
Против Петра не устоял!
Разбит, впервые он бежал;
Вослед ему—и мы с Мазепой.
Почти без отдыха пять дней
Бежали мы среди степей,
Бояся вражеской погони;
Уже измученные кони
Служить отказывались нам.
Дрожа от стужи по ночам,
Изнемогая в день от зноя,
Едва сидели мы верхом...

Однажды в полночь под леском
Мы для минутного покоя
Остановились за Днепром.
Вокруг синела степь глухая,
Луну затмили облака,
И, тишину перерывая,
Шумела в берегах река.
На войлоке простом и грубом,
Главою на седло склонен,
Усталый Карл дремал под дубом,
Толпами ратных окружен.
Мазепа пред костром сосновым,
Вдали, на почерневшем пне,
Сидел в глубокой тишине
И с видом мрачным и суровым,
Как другу, открывался мне:

«О, как неверны наши блага!
О, как подвластны мы судьбе!
Вотще в душах кипит отвага:
Уже настал конец борьбе.
Одно мгновенье все решило,
Одно мгновенье погубило
Навек страны моей родной
Надежду, счастье и покой...
Но мне ли духом унижаться?
Не буду рока я рабом;
Мазепе ль с роком не сражаться,
Когда сражался я с Петром?
Так, Войнаровский, испытаю,
Покуда длится жизнь моя,
Все способы, все средства я,
Чтобы помочь родному краю.
Спокоен я в душе своей:
И Петр и я—мы оба правы;
Как он, и я живу для славы,
Для пользы родины моей».

Замолкнул он; глаза сверкали;
Дивился я его уму.
Дрова, треща, уж догорали.
Мазепа лег, но вдруг к нему
Двух пленных козаки примчали.

Облокотясь, вождь седой,
Волнуем тайно мрачной думой,
Спросил, взглянув на них утрумо:
«Что нового в стране родной?»

«Я из Батурина недавно,—
Один из пленных отвечал,—
Народ Петра благословлял
И, радуясь победе славной,
На стогнах шумно пировал.
Тебя ж, Мазепа, как Иуду,
Клянут украинцы повсюду;
Дворец твой, взятый на копье,
Был предан нам на расхищенье,
И имя славное твое
Теперь — и брань и поношенье!»

В ответ, склонив на грудь главу,
Мазепа горько улыбнулся;
Прилег, безмолвный, на траву
И в плац широкий завернулся.
Мы все с участием живым,
За гетмана пылая мезтью,
Стояли молча перед ним,
Поражены ужасной везтью.
Он приковал к себе сердца:
Мы в нем главу народа чтили,
Мы обожали в нем отца,
Мы в нем отечество любили.
Не знаю я, хотел ли он
Спасти от бед народ Украйны
Иль в ней себе воздвигнуть трон,—
Мне гетман не открыл сей тайны.
Ко нраву хитрого вождя
Успел я в десять лет привыкнуть;
Но никогда не в силах я
Был замыслов его проникнуть.
Он скрытен был от юных дней,
И, странник, повторю: не знаю,
Что в глубине души своей
Готовил он родному краю.
Но знаю то, что, затая
Любовь, родство и глас природы,
Его сразил бы первый я,
Когда б он стал врагом свободы.

С рассветом дня мы снова в путь
Помчались по степи унылой.
Как тяжко взволновалась грудь,
Как сердце юное заныло,
Когда рубеж страны родной
Узрели мы перед собой!

В волненье чувств, тоской томимый,
Я, как ребенок, зарыдал
И, взявши горсть земли родимой,
К кресту с молитвой привязал.
«Быть может,—думал я, рыдая,—
Украины мне уж не видать!
Хоть ты, земля родного края,
Меня в чужбине утешая,
От грусти будешь врачевать,
Отчизну мне напоминая...»
Увы! предчувствие сбылось:
Судьбы веленьем самовластной
С тех пор на родине прекрасной
Мне побывать не довелось...

В стране глухой, в стране безводной,
Где только изредка ковыль
По степи стелется бесплодной,
Мы мчались, поднимая пыль.
Коней мы вовсе изнурили,
Страдал увенчанный беглец,
И с горстью шведов наконец
В Бендеры к туркам мы вступили.
Тут в страшный нédуг гетман впал;
Он непрестанно трепетал,
И, взгляд кругом бросая быстрый,
Меня и Орлика он звал
И, задыхаясь, уверял,
Что Кочубея видит с Искрой.

«Вот, вот они!.. При них палач!—
Он говорил, дрожа от страху:—
Вот их взвели уже на плаху,
Кругом стенания и плач...
Готов уж исполнитель муки;
Вот засучил он рукава,
Вот взял уже секиру в руки...

Вот покати́лась голова...
И вот другая!.. Все трепещут!
Смотри, как страшно очи блещут!..»

То в ужасе порой с одра
Бросался он в мои объятия:
«Я вижу грозного Петра!
Я слышу страшные проклятья!
Смотри: блестит свечами храм,
С кадилъниц вьется фимиам...
Митрополит, грозящий взором,
Так возглашает с громким хором:
«Мазепа проклят в род и род:
Он погубить хотел народ!»

То, трепеща и цепenea,
Он часто зрел в глухую ночь
Жену страдальца Кочубея
И обольщенную их дочь.
В страданьях сих изнемогая,
Молитву громко он читал,
То горько плакал и рыдал,
То, дикий взгляд на всех бросая,
Он, как безумный, хохотал.
То, в память приходя порою,
Он очи, полные тоскою,
На нас уныло устремлял.

В девятый день приметно стало
Страдальцу под вечер трудней;
Изнеможенный и усталый,
Дышал он реже и слабей;
Томим болезнию своей,
Хотел он скрыть, казалось, муку...
К нему я бросился, взял руку,—
Увы! она уже была
И холодна и тяжела!
Глаза, остановясь, смотрели,
Пот проступал, он отходил...
Но вдруг, собрав остаток сил,
Он приподнялся на постели
И, бросив пылкий взгляд на нас:
«О Петр! О родина!» — воскликнул.
Но с сим в страдальце замер глас,
Он вновь упал, головой поникнул,

В меня недвижный взор вперил
И вздох последний испустил...
Без слез, без чувств, как мрамор хладный,
Перед умершим я стоял.
Я ум и память потерял,
Убитый грустью безотрадной...

День грустных похорон настал:
Сам Карл, и мрачный и унылый,
Вождя Украйны до могилы
С дружиной шведов провожал.
Козак и швед равно рыдали;
Я шел, как тень, в кругу друзей.
О странник! Все предузнавали,
Что мы с Мазепой погребали
Свободу родины своей.
Увы! последний долг герою
Чрез силу я отдать успел.
В тот самый день внезапно мною
Недуг жестокий овладел.
Я был уж на краю могилы;
Но жизнь во мне зажглась опять,
Мои возобновились силы,
И снова начал я страдать.
Бендеры мне противны стали,
Я их покинул и летел
От земляков в чужой предел,
Рассеять мрак своей печали.
Но, ах, напрасно! Рок за мной
С неотразимою бедой,
Как дух враждующий, стремился:
Я схвачен был толпой врагов —
И в вечной ссылке очутился
Среди пустынных сих лесов...

Уж много лет прошло в изгнание.
В глухой и дикой стороне
Спасение и упование
Была святая вера мне.

Я привыкал к несчастной доле;
Лишь об Украйне и родных,
Украдкой от врагов моих,
Грустил я часто поневоле.
Что случилось с родиной моей?

Кого в Петре — врага иль друга
Она нашла в беде своей?
Где слезы льет моя подруга?
Увижу ль я своих друзей?..
Так я души покой минутный
В своем изгнанье возмущал
И от тоски и думы смутной,
Покинув город бесприютный,
В леса и дебри убежал.
В моей тоске, в моем несчастье,
Мне был отраден шум лесов,
Отрадно было мне ненастье,
И вой грозы, и плеск валов.
Во время бури заглушала
Борьба стихий борьбу души;
Она мне силы возвращала,
И на мгновение, в глуши,
Душа страдать переставала.

Раз у якутской юрты я
Стоял под сѳной одинокой;
Буран шумел вокруг меня,
И свирепел мороз жестокой;
Передо мной скалы и лес
Грядой тянулись безбрежной;
Вдали, как море, с степью снежной
Сливался темный свод небес.
От юрты вдаль тальник кудрявый
Под снегом стлался, между гор
В боку был виден черный бор
И берег Лены величавый.
Вдруг вижу: женщина идет,
Дохой убогою прикрыта,
И связку дров едва несет,
Работой и тоской убита.
Я к ней, и что же?.. Узнаю
В несчастной сей, в мороз и вьюгу,
Козачку юную мою,
Мою прекрасную подругу!..

Узнав об участи моей,
Она из родины своей
Пошла искать меня в изгнанье.
О странник! Тяжко было ей
Не разделять со мной страданье.

Встречала много на пути
Она страдальцев знаменитых,
Но не могла меня найти:
Увы! я здесь в числе забытых.
Закон велит молчать, кто я,
Начальник сам того не знает.
Об том и спрашивать меня
Никто в Якутске не дерзает.

И добрая моя жена,
Судьбой гонимая жестокой,
Была блуждать осуждена,
Тая тоску в душе высокой.

Ах, говорить ли, странник мой,
Тебе об радости печальной
При встрече с доброю женой
В стране глухой, в стране сей дальней?
Я ожил с нею; но детей
Я не нашел уже при ней.
Отца и матери страданья
Им не судил узнать творец;
Они, не зрев страны изгнанья,
Вкусили радостный конец.

С моей подругой возвратилось
Душе спокойствие опять:
Мне будто легче становилось;
Я начал реже тосковать.
Но, ах! не долго счастье длилось,
Оно, как сон, исчезло вдруг.
Давно закравшийся недуг
В младую грудь подруги милой
С весной приметно стал сближать
Ее с безвременной могилой.
Тут мне судил творец узнать
Всю доброту души прекрасной
Моей страдальцы несчастной.
Болезнию изнурена,
С какой заботою она
Свои страданья скрыть старалась:
Она шутила, улыбалась,
О прежних говорила днях,
О славном дяде, о детях.

К ней жизнь, казалось, возвращалась
С порывом пылких чувств ея;
Но часто, тайно от меня,
Она слезами обливалась.
Ей жизнь и силы возвратить
Я небеса молил напрасно —
Судьбы ничем не отвратить.
Настал для сердца час ужасный!
«Мой друг! — сказала мне она. —
Я умираю, будь покоен;
Нам здесь печаль была дана;
Но, друг, есть лучшая страна:
Ты по душе ее достоин.
О! там мы свидимся опять!
Там ждет награда за страданья,
Там нет ни казней, ни изгнанья,
Там нас не будут разлучать».
Она умолкла. Вдруг приметно
Стал угасать огонь очей.
И, наконец, вздохнув сильней,
Она с улыбкою приветной
Увяла в цвете юных лет,
Безвременно, в Сибири хладной,
Как на иссохшем стебле цвет
В теплице душной, безотрадной.

Могильный, грустный холм ея
Близ юрты сей насыпал я.
С закатом солнца я порою
На нем в безмолвии сижу
И чудотворною мечтою
Лета протекшие бужу.
Все воскресает предо мною:
Друзья, Мазепа, и война,
И с чистою своею душою
Невозвратимая жена.

О странник! Память о подруге
Страдальцу бодрость в душу льет;
Он равнодушной смерти ждет
И плачет сладостно о друге.
Как часто вспоминаю я
Над хладною ее могилой
И свойства добрые ея,
И пылкий ум, и образ милой!

С какую страстию она,
Высоких помыслов полна,
Свое отечество любила.
С какую живостью об нем,
В своем изгнанье роковом,
Она со мною говорила!
Неутолимая печаль
Ее, тягча, снедала тайно;
Ее тоски не зрел москаль —
Она ни разу и случайно
Врага страны своей родной
Порадовать не захотела
Ни тихим вздохом, ни слезой.
Она могла, она умела
Гражданкой и супругой быть
И жар к добру души прекрасной,
В укор судьбине самовластной,
В самом страданье сохранить.

.....
С утратой сей, от бед усталой,
С душой для счастья увялой,
Я веру в счастье потерял;
Я много горя испытал,
Но, тяжкой жизнью недовольный,
Как трус презренный, не искал
Спасенья в смерти самовольной.
Не раз встречал я смерть в боях;
Она кругом меня ходила
И груды трупов громоздила
В родных украинских степях.
Но никогда, ей в очи глядя,
Не содрогнулся я душой;
Не забывал, стремяся в бой,
Что мне Мазепа друг и дядя.
Чтить Брута с детства я привык:
Защитник Рима благородный,
Душою истинно свободный,
Делами истинно велик.
Но он достоин укоризны:
Свободу сам он погубил —
Он торжество врагов отчизны
Самоубийством утвердил.
Ты видишь сам, как я страдаю,
Как жизнь в изгнанье тяжела;

Мне б смерть отрадою была,—
Но жизнь и смерть я презираю...
Мне надо жить; еще во мне
Горит любовь к родной стране,—
Еще, быть может, друг народа
Спасет несчастных земляков,
И, достояние отцов,
Воскреснет прежняя свобода!...»
Тут Войнаровский замолчал;
С лица исчезнул мрак печали,
Глаза слезами засверкали,
И он молиться тихо стал.
Гость просвещенный угадал,
Об чем страдалец сей молился;
Он сам невольно прослезился
И несчастливцу руку дал,
В душе с тоской и грустью сильной
В знак дружбы верной, домогильной...

Дни уходили с быстротой.
Зима обратно налетела
И хладною рукой одела
Природу в саван снеговой.
В пустыне странник просвещенный
Страдальца часто навещал,
Тоску и грусть с ним разделял
И об Украине незабвенной,
Как сын Украины, он мечтал.

Однажды он в уединенье
С отрадной вестью о прощенье
К страдальцу-другу поспешал.
Мороз трещал. Глухой тропею
Олень пернатой стрелою
Его на быстрой нарте мчал.
Уже он ловит жадным взором
Сквозь ветви древ, в глуши лесной,
Кров одинокий и простой
С полуразрушенным забором.

«С каким восторгом сладким я
Скажу: окончены страданья!
Мой друг, покинь страну изгнанья!
Лети в родимые края!
Там ждут тебя, в стране прекрасной,
Благословенье земляков,

И круг друзей с душою ясной,
И мирный дом твоих отцов!»
Так добрый Миллер предавался
Дорогой сладостным мечтам.
Но вот он к низким воротам
Пустынной хижины примчался.
Никто встречать его нейдет.
Он входит в двери. Луч приветный
Сквозь занесенный снегом лед
Украдкой свет угрюмый льет:
Все пусто в юрте безответной;
Лишь мрак и холод в ней живет.
«Все в запустенье!—мыслит странник.—
Куда ж сокрылся ты, изгнанник?»
И, думой мрачной отягчен,
Тревожим тайною тоскою,
Идет на холм могильный он,—
И что же видит пред собою?
Под наклонившимся крестом,
С опущенным на грудь челом,
Как грустный памятник могилы,
Изгнанник, мрачный и унылый,
Сидит на холме гробовом
В оцепененье роковом:
В глазах недвижных хлад кончины,
Как мрамор, лобнится чело,
И от соседственной долины
Уж мертвеца до половины
Пушистым снегом занесло.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
«ВОЙНАРОВСКОГО»

¹ *Юрта*— жилище диких сибирских обывателей. Они бывают летние и зимние, подвижные и постоянные; бывают бревенчатые, берестяные, иногда войлочные и кожаные.

² *Ясак*— подать мехами, собираемая с сибирских народов.

³ *Варнак*— преступник, публично наказанный и заклеименный.

⁴ *Байкал*— святое море или озеро, справедливее Ангарский провал, лежит в Иркутской губернии между 51° и 58° северной широты и между 121° и 127° восточной долготы, считая от острова Ферро. Непостоянные ветры, беспрерывные жестокие бури и непроницаемые туманы, особенно в ноябре и декабре месяце бывающие на сем озере, были причиною многих бедствий. Часто во время весьма хорошей погоды ветер неожиданно и мгновенно переменяется, начинается буря, и до того спокойные и светлые воды Байкала поднимаются горами, чернеют, пенятся, ревут, и все представляет ужасное и вместе величественное зрелище.

⁵ В стране той хладной и дубравной

В то время жил наш Миллер славный.

Миллер. Российский историограф Гергард-Фридрих Миллер родился 7 октября 1705 года в Вестфалии. Первое воспитание получил он под надзором отца своего, который был ректором Герфордской гимназии. Тогда еще открывалась в юноше склонность к истории. Он любил по вечерам в семейственном кругу рассказывать братьям и сестрам слышанное того утра, о греках и римлянах, с жадностию читал жизни великих мужей древности; и когда Петр I проезжал в 1717 году чрез Герфорд, двенадцатилетний Миллер ушел тайным образом босой из отцовского дома, чтоб иметь случай посмотреть на Великого. На 17-м году возраста Миллер отправился в Лейпцигский университет, где довершил свое воспитание под руководством Готтеда, в свое время учнейшего мужа в Германии.

Между тем Петр, окончив войну с Швециею, занялся исключительно водворением просвещения в своем отечестве. Зная, что прежде заведения училищ нужно было образовать учителей, он учредил Академию; и, чтоб достигнуть своей цели, дал ей направление, соответственное своим видам. Все европейские заведения сего рода состоят из ученых людей, которые сочинениями своими обязаны способствовать успеху наук и искусств. С.-Петербургская Академия, сверх сей обязанности, имела другую: образование молодых россиян, которые, в свою очередь, должны были сообщать приобретенные познания своим соотечественникам. Она была светилом, которого благотворные лучи должны были распространяться во все концы России. Президенту ее Блюментросту поручено было вызвать для сего из Германии ученых, и по его-то приглашению Миллер прибыл в Россию.

Петра I не стало, но намерения его исполнялись: Академия открыла свои заседания 16 декабря 1725 года, и Миллер начал свое поприще в России преподаванием латинского языка, географии и истории в верхнем классе академической гимназии. Познания его, рачительность в исполнении возложенной на него обязанности и точное исполнение порученной ему секретарской должности, во

время которой он издал три части комментариев, заслужили ему всеобщее уважение. В половине 1730 года Миллер произведен в профессора истории и назначен действительным членом Академии.

Скорое его возвышение поселило зависть в людях, которые хотя уступали ему в познаниях, но полагали, что имеют равные с ним права на почести. Чтоб удалиться от неприятностей, Миллер под предлогом домашних обстоятельств поехал в чужие края и во время сего путешествия имел случай оказать услугу Академии, приобретши для нее нового члена, ученого ориенталиста Кера, который положил основание нынешнему Азиатскому минц-кабинету при Петербургской Академии наук.

Новое важнейшее поручение ожидало Миллера по возвращении его в Россию. В это время Петербургская Академия наук предприняла достойный ее труд. снаряжена была экспедиция для приведения в известность земель, составляющих северную часть Азии. Профессор Делиль де ла-Крокер отправлен был для астрономических наблюдений; Гмелин должен был заняться описанием всего, что касалось до естественных наук, а Миллеру поручено было обратить внимание на географию, древности и историю народов, населяющих Сибирь. Путешествие сие, начатое в феврале 1733 года, продолжалось 10 лет. Не будем следовать за ученым исследователем во время его пути, наблюдать с ним вместе обычаи черемисов и вотяков и простые нравы телеутов, тунгузов и якутов. Довольно, если скажем, что он вел подробный журнал всему пути, сам заготовлял карты оному, с точным означением местности каждой страны, составлял исторические и географические описания городов, чрез которые проезжал, разбирал архивы оных и тщательно выписывал все, что находил в них для русской истории, срисовывал везде древности, какие ему попадались, и, кроме того, привез кучу замечаний о нравах, языке и вере народов, которых посещал. Сие множество трудов и суровый климат Сибири расстроили его здоровье. Он не мог ехать далее Якутска и больной возвратился в Петербург в 1743 году. Здесь к физическим болезням присоединились нравственные. В отсутствие Миллера сделан был президентом Академии Шумахер, человек познаний ограниченных, не прощавший Миллеру его достоинств. Посредственность ненавидит истинное дарование. Шумахер, с завистью смотревший на возвышение Миллера, еще более вознегодовал на него, когда сей возвратился из Сибири, предшествуемый славою, что кончил столь важное для наук поручение. Миллер за десятилетние труды свои получил вместо награды одни неприятности. Он не оспаривал у других права ползать перед сильными, не искал посторонними путями и непозволенными средствами того, чего имел право требовать, не унижал дарований своих, изменяя истине, а потому имел многих неприятелей. Тауберт, Теплов и даже великий наш Ломоносов, ни в чем не терпевший соперников, были врагами Миллера. На полезные труды его не обращали внимания, и даже, поверит ли этому потомство, диссертацию о начале русского народа, которую он напечатал на латинском и русском языках и готовился читать в публичном собрании Академии 5 сентября 1743 г. в день именин императрицы, запретили потому только, что историограф утверждал в ней, будто Рюрик вышел из Скандинавии. Несмотря на сии неприятности, Миллер, любивший науки не из личных видов и движимый любовию к общей пользе, был неунышен в трудах своих. Казалось, что деятельность его возрастала с препятствиями, какие он встре-

чал на каждом шагу. За работою ученый муж находил утешение от несправедливости людей, которых отзвывы не доходили до его кабинета. По званию российского историографа в 1747 г. занимался он составлением сибирской и разными исследованиями по части российской истории и географии, составлял родословные таблицы российских великих князей, исправлял должность конференц-секретаря при Академии и был самым деятельным сотрудником в издании «Ежемесячных сочинений» с 1757 по 1764 год.

Со вступлением императрицы Екатерины занялась в России новая заря на горизонте наук. Заслуги Миллера были наконец уважены. По просьбе Ив. Ив. Бецкого назначен он был в 1763 году директором Московского воспитательного дома, а в 1766, по представлению графа Никиты Ивановича Панина и князя Александра Михайловича Голицына, определен в начальники Московского архива иностранных дел. Никто лучше Миллера не мог исполнить обязанностей, сопряженных с сим местом. Он радовался как дитя, когда получил оное, и по целым суткам проводил в сем хранилище отечественных хартий, занимаясь приготовлением материалов для российской истории и объяснением встречающихся в оной темных мест. Государыня, быв еще великою княжною, знала Миллера и во время пребывания его в Москве часто призывала его к себе для советов. Миллер был избран Академиею в 1767 году депутатом в Комиссию законов, находившуюся в Москве, и здесь предлагал различные планы для водворения наук и распространения просвещения в России. Когда комиссия переведена была в С.-Петербург, он получил от императрицы позволение остаться в Москве и, кроме архива иностранных дел, занялся по приказу государыни разбором архивов Разрядного и Сибирского приказа. Он работал с утра до ночи и жалел только, что ему минуло 63 года и он не будет иметь ни времени, ни силы для исполнения ожидаемой монархини и соотечественников. В 1775 году Академия поручила ему написать ее историю от самого ее основания. В том году праздновали 50-летнее ее существование. Миллер, единственный из членов, который находился при ее основании, был свидетелем и участником в том, что в ней происходило во все время ее заседаний, и потому лучше всякого другого мог исполнить сие назначение. Окончив сию работу, он занялся по-прежнему извлечениями из архивских бумаг и приготовлениями материалов для русской истории. Необъятный труд сей занимал последние годы его жизни. Иногда для поправления своего здоровья отвлекал он себя поездками в города, лежащие поблизости Москвы; но и тут, чтоб употребить время с пользою, составлял историческое и географическое описание оных. Миллер скончался в 1783 году, имея 79 лет от роду.

Заслуги Миллера по нашей истории более или менее известны всякому образованному россиянину. Излишне было бы исчислять его сочинения. Здесь прибавим только, что нравственные его качества не уступали его познаниям. Миллер знал, что человек, готовящийся к исправлению других, должен сам собою подавать пример, что в писателе добродетельная жизнь есть лучшее предисловие к его сочинениям. Избрав Россию своим отечеством, он любил ее как родной ее сын, всегда предпочитал ее пользу частным выгодам, никогда не жаловался на оказанные ему несправедливости и везде, где мог, старался быть ей полезным. Никогда не унижал он достоинства своего лестью, искательством; никогда не старался выставлять себя: скромность, отличительная черта истинного та-

ланта, и даже некоторая застенчивость составляли главные черты его характера. Многие особы, занимавшие после важнейшие места при дворе Екатерины, обязаны ему своим воспитанием. Он охотно помогал советами молодым людям из россиян или иностранным писателям, желавшим иметь сведения по части российской истории. В домашнем быту он служил образцом семейственного счастья, был лучшим супругом, лучшим отцом семейства. Он имел многих врагов, которые, завидуя его славе, старались очернить его в глазах современников; но справедливость восторжествовала: обвинения их, внушенные корыстолюбием, были опровергнуты, и Миллер в конце жизни своей имел утешение видеть, что истинное достоинство найдется всегда защитников и почитателей.

⁶ *Доха*—шуба вверх шерстью, из шкуры дикой козы.

⁷ *Чебак*—большая теплая шапка с ушами.

⁸ *Замка*—вне города место, занятое под частный дом, или крестьянский двор с огородом и с другими принадлежностями; словом, русская дача или малороссийский хутор.

⁹ *Пальма*.—Так называются в Сибири длинные, широкие и толстые ножи, укрепленные наиболее в березовых, для крепости прокопченных, ратовищах, обшитых снаружи кожей. С ними якуты, юкагиры и другие северные народы ходят на лосей, медведей, волков и проч.

¹⁰ *Жирник*—ночник с каким-нибудь маслом или жиром, засвечаемый на ночь.

¹¹ (Примечание не было составлено).

¹² *Хвостовский* (Хвостов, местечко в Киевской губернии, Васильковского уезда), полковник *Симеон Палей*, отважный предводитель заднепровских наездников, родился в Борзне и стал славен подвигами около 1690 года. Под рукою гетмана своего *Самуя* он, как владетельный князь, брал дань с земель по Днестр и Случ, запирали Россию и Польшу от татар, нередко вторгался в орды Буджацкую и Белгородскую и захватил однажды в плен самого салтана. Получал от первых награды, брал от других добычи и выкупы. Очков не раз видал его истребительный пламень вокруг стен своих. Восстав на поляков за их неправды, он попал в плен, но вырвался из крепкой тюрьмы магдебургской и сторичею заплатил им за свою неволю, разбив поляков под Хвостовым, под Бердичевым и покорившись России. В 1694 году с Мокиевским набежав на турок под Очаковом, не вкладывая сабли в ножны, с черниговским полковником Лизогубом вторгся в орду Буджацкую. Добыча и победа увенчали оба предприятия. Удалые промыслы его над поляками перемежались только тогда, как он громил татар. Он брал и палил польские города и, опустошив край Вольни, овладел Троянкою. Между тем коварный Мазепа, завистливый к славе, жадный к богатству, недоверчивый к силе Самуя и Палея, своих соперников, старался очернить их в глазах Петра Великого. С наветами представил и доказательства: жалобы Августа, письма Потоцкого и Яблоновского, которые писали, что «Палей вьет себе разбойничьи гнезда в крепостях Ржечи-Посполитой и кормится хлебом, которого не сеял». Мазепа тайно действовал против Самуя и Палея, а они явно воевали Польшу. Первый занял Богуслав, Корсунь, Бердичев; второй взял Немиров и Белую Церковь. Перерезали там шляхтичей и жидов и всех окружающих крестьян подняли на поляков, обещая им права и вечную свободу. Мазепа жаловался наслушанье, Август просил удовлетворения; Петр

повелевал оставить в покое своего союзника, но ожесточенные полководцы делали свое, ничему не внимая. Наконец решился Мазепа известъ Палея, как бы то ни было. Окруженный всем своим войском, выступившим тогда на помощь Августу против шведов, сильный собственною властью и милостию царскою, он не смел, однако ж, захватить Палея силою; позвал к себе в гости в Бердичев и за дружескою чашею заковал доверчивого героя в цепи, как это видно из следующих стихов одной песни:

Ой, пье Палый, ой пье Семен да головоньку клонит,
А Мазепин чура * Палию Семену кайданы готовит.

Вслед за сим он отослал его в Батурин, извещая Головина, что Палей оказался явным изменником государю и предался Карлу XII, в надежде через посредство Любомирских получить гетманство в Малороссии. В следующем году он был отправлен в Москву, а оттоле по указу государеву сослан в Енисейск, где целые пять лет томился вдалеке от родины и родных, снедаем тоскою бездействия и неволи. Измена Мазепы открыла глаза Петру, и он посреди забот военных вспомнил об оклеветанном Палее и возвратил ему имущество, чин и свободу. Но как земная власть могла возвратить ему здоровье! Однако ж последние дни Палеевой жизни были отрадны для сердца старого воина. Он приехал к войску в день Полтавской битвы, сел на коня и, поддерживаемый двумя козаками, явился перед своими. Радостные клики огласили воздух — вид Палея воспламенил всех мужеством. Старик ввел козаков в дело, и хотя сабля его не могла уже разить врагов, но еще однажды указала путь к победе. Весело было умирать после Полтавского сражения; недолго пережил его и Палей от язв, трудов, лет, несчастий и славы.

В характере сего бесстрашного вождя украинцев видны все черты дикого рыцарства. Открыт в дружбе и жесток в мести. Деятелен и сметлив в войне, которая стала его стихиею, — он не менее был искусен и в распорядке дел гетманских, которые велись его головою; ибо Самусь, лишась его, сложил булаву правления. Когда имя Палеево сторожило границу Заднеприи, татары не нарушали его покоя, и поляки не смели там умничать. Попеременно вождь и подчиненный, он умел повиноваться своеизбранной власти и строго хранить ему врученную; был любим как брат своими товарищами и как отец своими козаками. Когда Мазепа захватил его, то насилу мог взять Белую Церковь, и то изменою мещан. «Умрем тут вси, — говорили козаки Палеевы, — а не поддадимся, коли нет здесь нашего батьки». Враг татар за их грабежи, враг поляков за их утеснения — он в обоих случаях был полезен России, хотя не вполне исполнял ее требования, как воспитанник необузданной свободы. Сын сего неустрашимого воина по неотступной просьбе старшин Белоцерковского полка заступил его место.

¹³ *Ватага* — малороссийское слово, имеет следующие значения: толпа, шайка, стадо, стая; ватага разбитак — шайка разбойников (Котляревский).

¹⁴ *Гайдамак* — иногда удалец, иногда разбойник; слово сие, как видно из его корня, взято с татарского языка и в собственном смысле значит бродяга или беглец; посему гайдамаки в Малороссии значат то же, что *усоки* у славян иллирийских.

* Чура — слуга. (Прим. Рыльева.)

¹⁵ *Толокно*—мука из пересушенного овса. Известно, что в дальних своих походах, как ныне в чумакованье, то есть в поездках за рыбою и солью, малороссияне запасались всегда небольшим количеством толокна или гречневых круп для кашицы, которую называют они кулиш. Умеренность есть одна из похвальных добродетелей сих простодушных сынов природы. Идучи обозом, они останавливаются в поле, разводят огонь и всем кошом, то есть артелью, садятся за кашлицу, которую варит для них так называемый кашевар. Кто едет в осеннюю ночь по степным полям Полтавской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерний, тому часто случается видеть несколько таких огней, мелькающих, как звездочки, в разных расстояниях на гладкой необозримой равнине.

¹⁶ *Хутор*—небольшая деревушка, часто один дом, стоящий среди поля или в лесу, в стороне от жилых мест. Обыкновенно почти таковые хутора строятся при ярутах, лесистых оврагах или под прикрытием чапыжника (дробнолеска).

¹⁷ *Курень*—хижина или землянка, в каковых и поныне еще живут многие черноморские козаки. Несколько таковых куреней состоят под ведением куренного, или старшины, назначаемого от начальства.

¹⁸ *Курганы*—высокие земляные насыпи, видимые и ныне во многих местах Малороссии и Украины. Курганы сии служили иногда общими могилами на местах столь частых спшибок, бывавших у малороссиян с всегдашними их врагами татарами, и во время отторжения их от Польши, с поляками; в таковых курганах и поныне при разрытии оных находят кости и волосы человеческие, недотлевшие лоскутки одежд, отломки орудий, старинные монеты, сткляницы и т. п. Иногда же целый ряд таковых курганов, идущий на далекое пространство по одному направлению, подобно цепи гор, служил как бы ведетами или подзорными возвыщениями для наблюдения за неприятелем. Таковых курганов много можно видеть по древним границам Малороссии и Украины с Ордою крымскою, особливо в губерниях Слободско-Украинской и Полтавской.

НАЛИВАЙКО*〈Отрывки из поэмы〉***КИЕВ**

Едва возникнувший из праха,
С полуразвенчаным челом,
Добычей дерзостного ляха
Дряхлеет Киев над Днепром.

Как все изменчиво, непрочное!
Когда-то роскошью восточной
В стране богатой он сиял;
Смотрелся в Днепр с берегов высоких
И красотой из стран далеких
Пришельцев чуждых привлекал.
На шумных торжищах звенели
Царьградским золотом купцы,
В садах по улицам блестели
Великолепные дворцы.
Среди хазар и печенегов
Дружиной витязей храним,
Он посмеялся, невредим,
Грозе их буйственных набегов.
Народам диво и краса:
Воздвигнуты рукою дерзкой,
Легко взносились в небеса
Главы обители Печерской,
Как души иноков святых
В своих молитвах неземных.

Но уж давно, давно не видно
Богатств и славы прежних дней—
Все Русь утратила постыдно
Междоусобием князей:
Дворцы, серебро, врата золотые,
Толпы граждан, толпы детей—
Все стало жертвою Батыя;
Но Гедимин нанес удар:
Прошло владычество татар!
На миг раздался глас свободы,
На миг воскреснули народы...

Но Киев на степи глухой,
Дивить уж боле неспособный,
Под властью ляха роковой,
Стоит, как памятник надгробный,
Над угнетенною страной!

ВЕСНА

Блестит весна; ее дыханьем,
Как бы волшебным врачеваньем,
Край утесненный оживлен;
Все отрясает зимний сон:
Пестреет степь, цветет долина,
Оделся лес, стада бегут,
Тяжелый плуг поселянина
Волы послушные влекут;
Кружится жаворонок звонкий,
Лазурней тихий небосклон,
И воздух чистый, воздух тонкий
Благоуханьем напоен.

Все веселятся, все ликуют,
Весне цветущей каждый рад;
Поляк, еврей и униат
Беспечно, буйственно пируют,
Все радостью оживлены;
Одни украинцы тоскуют,
И им не в праздник пир весны,
Что за веселье без свободы,
Что за весна — весна рабов;
Им чужды все красы природы,
В душах их вечный мрак гробов.
Печали облако не сходит
С их истомленного лица;
На души их, на их сердца
Все новую тоску наводит.
Лазурь небес, цветы полей
Для угнетенных не отрадны, —
Рабы и сумрачны и хладны.
Питая грусть в душе своей,
Глядят уныло на детей,
Все радости для них противны,
И песни дев их заунывны,
Как заунывен звук цепей.

* * *

Но Наливайко всех сильней
Томится думою и страждет;
Его душа чего-то жаждет,
Он что-то на сердце таит;
Родных, друзей, семьи бежит,
Один в степи пустынной бродит
Нередко он по целым дням:
Ему отрадно, сладко там,
Он грусть душевную отводит
В беседе там с самим собой
И из глуши в Чигирин свой
Назад спокойнее приходит.

* * *

Забыв вражду великодушно,
Движенью тайному послушный,
Быть может, я еще могу
Дать руку личному врагу;
Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья.—
Не в силах я: один лишь раб
Так может быть и подл и слаб.
Могу ли равнодушно видеть
Порабощенных земляков?..
Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть
Равно тиранов и рабов.

СМЕРТЬ ЧИГИРИНСКОГО СТАРОСТЫ

С пиццалью меткой и копьем,
С булатом острым и с нагайкой,
На аргамаче вороном
По степи мчится Наливайко.
Как вихорь бурный конь летит.
По ветру хвост и грива вьется,
Густая пыль из-под копыт,
Как облако, вослед несется...

Летит... привстал на стременах,
В туман далекий взоры топит,
Узрел—и с яростью в очах
Коня и нудит и торопит...

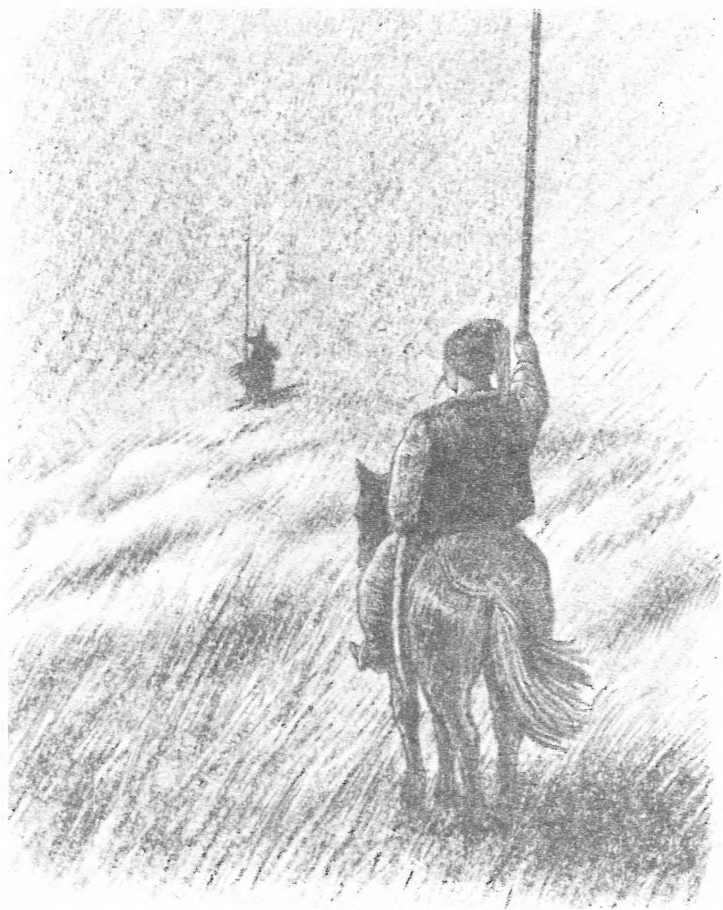
Как точка перед ним вдали
Чернеет что-то в дымном поле;
Вот отделилась от земли,
Вот с каждым мигом боле, боле,
И наконец на вышине,
Средь мглы седой, в степи пустынной,
Вдруг показался на коне
Красивый всадник с пикой длинной...

Козак коня быстрее погнал;
В его очах веселье злое...
И вот—почти уж доскакал...
Копье направил роковое,
Настиг, ударил—всадник пал,
За стремя зацепясь ногою,
И конь испуганный помчал
Младого ляха под собою.

Летит, как ястреб, витязь вслед;
Коня измученного колет
Или в ребро, или в хребет
И в дальний бег его неволит.
Напрасно ногу бедный лях
Освободить из стремя рвется—
Летит, глотая черный прах,
И след кровавый остается...

* * *

«Ты друг давно мне, Лобода,
Давно твои я чувства знаю,
Твою любовь к родному краю
Я уважал, я чтил всегда;
Ты ненавидишь, как злодеев,
И дерзких ляхов и евреев:
Но ты отец, но ты супруг,
А уж давно пора, мой друг,
Быть не мужьями, а мужами.



Всех оковал какой-то страх,
Все пресмыкаются рабами,
И дерзостно надменный лях
Ругается над козаками».

«Ты прав, мой друг, люблю родных,
Мне тяжело видеть их в неволе,
Всем жертвовать готов для них,
Но родину люблю я боле.
Нет, не одна к жене любовь
Мой ум быть осторожней учит,—
Нередко дума сердце мучит,
Не тщетно ли прольется кровь?
Что, если снова неудача?
Вот я чего, мой друг, боюсь,—
Тогда, тогда святая Русь
Навек страную будет плача».

* * *

Протяжный звон колоколов
В Печерской лавре раздавался;
С рассветом из своих домов
Народ к заутрене стекался.
Один, поодаль от других,
Шел Наливайко. Благовенье
К жилищу мертвецов святых
И непритворное смирение
В очах яснили голубых.
Как читатель ревностный закона,
К вратам ограды подойдя,
Крестом он осенил себя
И сделал три земных поклона.
Вот в церкви он. Идет служенье,
С камильниц вьется фимиам,
Сребром и золотом блещет храм,
И кротко-сладостное пенье
Возносит души к небесам.
В углу, от всех уединенно,
Колени преклоня смиренно,
Он стал. В богатых жемчугах
Пред ним Марии лик сияет;

Об угнетенных земляках
Он к ней молитвы воссылает;
Лицо горит, и, как алмаз,
Как драгоценный перл, из глаз
Слеза порою упадает.
Так для него прошло семь дней.
[Часов молитв не пропуская,
Постился он. И вот страстная.]

ИСПОВЕДЬ НАЛИВАЙКИ

«Не говори, отец святой,
Что это грех! Слова напрасны:
Пусть грех жестокий, грех ужасный...

Чтоб Малороссии родной,
Чтоб только русскому народу
Вновь возвратить его свободу,—
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
Я на душу принять готов.
Итак, уж не старайся боле
Меня страшить. Не убеждай!
Мне ад — Украину зреть в неволе,
Ее свободной видеть — рай!..

Еще от самой колыбели
К свободе страсть зажглась во мне;
Мне мать и сестры песни пели
О незабвенной старине.
Тогда, объятый низким страхом,
Никто не рабствовал пред ляхом;
Никто дней жалких не влачил
Под игом тяжким и бесславным:
Козак в союзе с ляхом был,
Как вольный с вольным, равный с равным.
Но все исчезло, как призрак.
Уже давно узнал козак
В своих союзниках тиранов.
Жид, униат, литвин, поляк —
Как стаи кровожадных вранов,
Терзают беспощадно нас.

Давно закон в Варшаве дремлет,
Вотще народный слышен глас:
Ему никто, никто не внемлет.
К полякам ненависть с тех пор
Во мне кипит и кровь бунтует.
Угрюм, суров и дик мой взор,
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта и ночь и день
Меня преследует, как тень;
Она мне не дает покоя
Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых.
«Пора! — мне шепчет голос тайный,—
Пора губить врагов Украины!»

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!»

* * *

Веет, веет, поведает
Тихий ветер с днепровских вод,
Войско храбрых выступает
С шумной радостью в поход.
Полк за полком безбрежной степью
Иль тянутся лесистой цепью,
Или несутся на рысях.
По сторонам на скакунах
Гарцуют удалыцы лихие:
То быстро, как орлы степные,
Из глаз умчатся, то порой,
Дразня друг друга, едут тихо,
То вскачь опять, опять стрелой—
И вдоль полков несутся лихо.

Вослед за войском идут вьюки.
Свирелей, труб, суремок звуки,
И гарк летящих удальцов,
И шум и пенье козаков,—
Все Наливайку веселило,
Все добрым предвещеньем было.

«Смотри,— он Лободе сказал,—
Как изменилось все. Давно ли
Козак с печали увядал,
Стонал и под ярмом неволи
В себе все чувства подавлял?
Возьмут свое права природы,
Бессмертна к родине любовь,—
Раздастся глас святой свободы,
И раб проснется к жизни вновь».

(МОЛИТВА НАЛИВАЙКИ)

Ты зришь, о боже всемогущий!
Злодействам ляхов нет числа;
Как дуб, на теме гор растущий,
Тиранов дерзость возросла.
Я невиновен, боже правый,
Когда здесь хлынет кровь рекой;
Войну воздвиг я не для славы,
Я поднял меч за край родной;
Ты лицемеров ненавидишь,
Ты грозно обличаешь их;
Ты с высоты небес святых
На дне морском песчинку видишь.
[Ты пронцаешь, мой творец,
В изгибы тайные сердец.]

* * *

Глухая ночь. Молчит река,
Луна сокрылась в облака.
И Чигирин и оба стана
Обвиты саваном тумана.

Вокруг костров шумят и пьют
 Толпами буйные поляки;
 Их души яростные ждут,
 Как праздника, кровавой драки.
 Одни врагов своих клянут,
 Другие спорят, те поют,
 Тот, богохульствуя, хохочет,
 Тот хвалится лихим конем,
 [Тот] саблю дедовскую точит
 И дерзостно над козаком
 Победу землякам пророчит.
 В кунтуше пышном на ковре
 Жолкевский спит в своем шатре.

СОН ЖОЛКЕВСКОГО

Над ним летает чудный сон:
 В Варшаве площадь видит он;
 На ней костер стоит, чернея;
 В середине столб; палач, бледнея,
 Кого-то в саване влечет;
 Вослед ему народ толпами
 Из улиц медленно идет
 И головы свои несет
 Окровавленными руками,
 Подняв их страшно над плечами.

Вот неизвестный с палачом
 К костру подходит без боязни;
 Взошли... безмолвие кругом...
 Вот хладный исполнитель казни
 Его к столбу уж привязал,
 Зажег костер, костер вспылал,
 И над высокими домами
 Понесся черный дым клубами.
 Вдруг в небесах раздался глас:
 «Свершилось все... на вас, на вас
 Страдальца кровь и вопль проклятий.
 Погиб, но он погиб за братьев».
 Народ ужасно застонал,
 Кругом костра толпиться стал
 И, головы бросая в пламень,
 Назад в стенании бежал
 И упал на хладный камень.

Все тихо... Только кровь шумит...
Во сне Жолкевский страшно стонет,
Трепещет, молится... вдруг зрит,
Что он в волнах кровавых тонет.
Душа невольно обмерла;
Сон отлетел: в шатре лишь мгла,
Но он, но он еще не знает,
Что в крупных каплях упадает—
Иль кровь, иль пот с его чела...

* * *

Меж тем, потопленный в туманах,
Козацкий табор на курганах
Спокойно дремлет вдоль реки;
Как звезды в небесах пустынных,
Кой-где чуть светят огоньки;
Вкруг них у коновязей длинных
Лежат рядами козаки.
Напрасно Тясмин быстры воды,
Шумя, в очеретах струит,
Напрасно, вестник непогоды,
Ветр буйный по степи шумит:
Спят сладко ратники свободы,
Их сна ничто не возмутит...

И.И.Козлов



ЧЕРНЕЦ

Киевская повесть

Прекрасный друг минувших светлых дней,
Надежный друг дней мрачных и тяжелых,
Вина всех дум, и грустных и веселых,
Моя жена и мать моих детей!
Вот песнь моя, которой звук унылый,
Бывало, в час бессонницы ночной,
Какою-то невидимою силой
Меня пленял и дух тревожил мой!
О, сколько раз я плакал над струнами,
Когда я пел страданье Чернеца,
И скорбь души, обманутой мечтами,
И пыл страстей, волнующих сердца!
Моя душа сжилась с его душою:
Я с ним бродил во тме чужих лесов;
С его родных днепровских берегов
Мне веяло знакомою тоскою.
Быть может, мне так сладко не мечтать;
Быть может, мне так стройно не петь! —
Как мой Чернец, все страсти молодые
В груди моей давно я схоронил;
И я, как он, все радости земные
Небесною надеждой заменил.
Не зреть мне дня с зарями золотыми,
Ни роз весны, ни сердцу милых лиц!
И в цвете лет уж я между живыми
Тень хладная бесчувственных гробниц.
Но я стремлю, встревожен тяжкой мглою,
Мятежный рой сердечных дум моих
На двух детей, взлелеянных тобою,
И на тебя, почти милей мне их.

Я в вас живу,—и сладко мне мечтанье!
Всегда со мной мое очарованье.
Так в темну ночь цветок, краса полей,
Свой запах льет, незримый для очей.

17 сентября 1824
Санкт-Петербург

1

За Киевом, где Днепр широкой
В крутых берегах кипит, шумит,
У рощи на горе высокой
Обитель иноков стоит;
Вокруг нее стена с зубцами,
Четыре башни по углам
И посредине божий храм
С позолоченными главами;
Ряд келий, темный переход,
Часовня у святых ворот
С чудотворящею иконою,
И подле ключ воды студеной
Журчит целительной струей
Под тенью липы вековой.

2

Вечерний мрак в туманном поле;
Заря уж гаснет в небесах;
Не слышно песен на лугах;
В долинах стад не видно боле;
Ни рог в лесу не затрубит,
Никто не пройдет,—лишь порою
Чуть колокольчик прозвенит
Вдали дорогой столбовою;
И на Днепре у рыбаков
Уж нет на лодках огоньков;
Взошел и месяц полуночный,
И звезды яркие горят;
Поляны, рощи, воды спят;
Пробил на башне час урочный;
Обитель в сон погружена;
Повсюду мир и тишина.
В далекой келье луч лампадный
Едва блестит; и в келье той
Кончает веж свой безотрадный
Чернец, страдалец молодой.

Утраты, страсти и печали
Свой знак ужасный начертали
На пасмурном его челе;
Гроза в сердечной глубине,
Судьба его покрыта тмою:
Откуда он, и кто такой? —
Не знают. Но, в вражде с собой,
Он мучим тайной роковою.
Раз ночью, в бурю, он пришел;
С тех пор в обители остался,
Жизнь иноков печально вел,
Дичился всех, от всех скрывался;
Его вид чудный всех страшил,
Чернец ни с кем не говорил,
Но в глубине души унылой
Ужасное заметно было.
В торжественный молитвы час
И он певал хвалебный глас...
Но часто вопли тяжкой муки
Святые прерывали звуки!
Бывало, он, во тме ночей,
Покоя в келье не находит,
И в длинной мантии своей
Между могил, как призрак, бродит;
Теперь недвижим, ждет конца:
Недуг терзает Чернеца.

3

Пред ним, со взором умиления,
Держал игумен крест спасенья,—
И тяжело страждущий вздыхал:
Он пламенел, он трепетал,
Он дважды тихо приподнялся,
Он дважды речь начать старался;
Казалось, некий грозный сон
Вспоминать страшился он,
И робко, дико озирался.
Чернец, Чернец, ужели ты
Всё помнишь прежние мечты!..
Но превозмог он страх могилы,
Зажглися гаснущие силы:
Он старца за руку схватил,
И так страдалец говорил:



4

«Отец! меж вас пришлец угрюмый,
Быть может, я моей тоской
Смуцал спасительные думы
И мир обители святой.
Вот тайна: дней моих весною
Уж я всё горе жизни знал;
Я взрос бездомным сиротою,
Родимой ласки не видал;
Веселья детства пролетали,
Едва касаясь до меня:
Когда ровесники играли,
Уже задумывался я;
Огонь и чистый и прекрасный
В груди молодой пылал напрасно:
Мне было некого любить!
Увы! я должен был таить,
Страшась холодного презренья,
От неприветливых людей
И сердца пылкого волненья,
И первый жар души моей;
Унью расцветала младость,
Смотрел я с дикостью на свет,
Не знал я, что такое радость;
От самых отроческих лет
Ни с кем любви не разделяя,
Жил нелюдимо в тишине,—
И жизнь суровая, простая
Отрадною казалась мне.
Любил я по лесам скитаться,
День целый за зверьми гоняться,
Широкий Днепр переплывать,
Любил опасностью играть,
Над жизнью дерзостно смеяться,—
Мне было нечего терять,
Мне было не с кем расставаться.

5

Но вскоре с невских берегов
Покрытый воин сединами
Приехал век дожить меж нами,
Под тенью отческих дубров.

Он жил в селе своем с женою,
И с ними дочь в семнадцать лет...
О старец! гроб передо мною...
Во взорах тмится божий свет!..
Ее давно уж в мире нет...
Но ею всё живу одною...
Она одна в моих мечтах,
И на земле и в небесах!..
Отец святой, теперь напрасно
О ней тебе подробно знать,
Я не хочу ее назвать!..
Молился только о несчастной!
Случайно нас судьба свела;
Ее красы меня пленили;
Она мне сердце отдала,—
И мать с отцом нас обручили.
Уже налой с венцами ждал;
Всё горе прежнее в забвеньи,—
И я в сердечном упоеньи,
Дивясь, творца благословлял.
Давно ль, печально увядая,
Была мне в тягость жизнь младая?
Давно ли дух томился мой,
Убитый хладною тоской?
И вдруг дано мне небесами
И жить, и чувствовать вполне,
И плакать сладкими слезами,
И видеть радость не во сне!
С какой невинностью святою
Она пылающей душою
Лила блаженство на меня!
И кто из смертных под луною
Так мог любить ее, как я?
Сбылося в ней мое мечтанье,
Весь тайный мир души моей,—
И я, любви ее созданье,
И я воскрес любовью к ней!

6

Но снова рок ожесточился;
Я снова обречен бедам.
Какой-то вдруг, на гибель нам,
Далекий родственник явился;

Он польских войск хорунжий был;
Злодей, он чести изменил!
Он прежде сам коварно льстился
С ней в брак насильственно вступить.
Хотел ограбить, притеснить,—
И презрен был, и только мщенья
Искал с улыбкой примиренья.
О мой отец! сердечный жар,
Благих небес высокий дар,
Нет, не горит огонь священный
В душе, пороком омраченной.
Не видно звезд в туманной мгле:
Любовь — святое на земле.
Ему ль любить!.. Но, ах, судьбою
Нам с нашей матерью родною
Была разлука суждена!
Она внезапно сражена
Недугом тяжким... мы рыдали,
Мы одр с молитвой окружали;
Настал неизбежимый час:
Родная скрылася от нас.
Еще теперь перед очами,
Как в страшную разлуки ночь
Теплейшей веры со слезами
Свою рыдающую дочь
Земная мать благословляла
И, взяв дрожащею рукой
Пречистой девы лик святой,
Ее небесной поручала.
С кончиной матери смелей
Стал мстить неистовый злодей;
Он клеветал; уловкой злою
Он слабой овладел душою,—
И старец слову изменил:
Желанный брак разрушен был.
Обманут низкой клеветою,
Он мнил, безжалостный отец,
Что узы пламенных сердец
Мог разорвать; и дочь младая,
Его колена обнимая,
Вотще лила потоки слез;
Но я ни гнева, ни угроз,
Ни мщенья их не убоялся,
Презрел злодея, дочь увез
И с нею тайно обвенчался.

7

Быть может, ты, отец святой,
Меня за дерзость обвиняешь;
Но, старец праведный, не знаешь,
Не знал ты страсти роковой.
Ты видишь сердца трепетанья,
И смертный хлад, и жар дыханья,
И бледный лик, и мутный взор,
Мое безумье, мой позор,
И грех, и кровь — вот пламень страстный!
Моей любви вот след ужасный!
Но будь мой рок еще страшней:
Она была... была моей!
О, как мы с нею жизнь делили!
Как, утесненные судьбой,
Найдя в себе весь мир земной,
Друг друга пламенно любили!
Живою нежностью мила,
В тоске задумчивой милее,
На радость мне она цвела;
При ней душа была светлее.
Промчался год прелестным сном.
Уж мнил я скоро быть отцом;
Мы сладко в будущем мечтали,
И оба вместе уповали:
Родитель гневный нам простит.
Но злоба алчная не спит:
В опасный час к нам весть несется,
Что вся надежда отнята,
Что дочь отцом уж проклята...
Обман ужасный удается —
Злодей несчастную убил:
Я мать с младенцем схоронил.
И я... творец!.. над той могилой,
Где лег мой сын с подругой милой,
Стоял — и жив!..

Отец святой!

Как было, что потом со мною,
Не знаю: вдруг какой-то тмою
Был омрачен рассудок мой;
Лишь помню, что, большой дорогой
И день и ночь скитаясь, я
Упал; когда ж вошел в себя,
Лежал уж в хижине убогой.

Без чувства бед моих, без сил;
Я жизнь страданьем пережил,
И в сердце замерло волнение;
Не скорбь, но страх и удивленье
Являло томное лицо;
В душе всё прежнее уснуло;
Но невзначай в глаза мелькнуло
Мое венчальное кольцо...

8

Я бросил край наш опустельный;
Один, в отчаяньи, в слезах,
Блуждал, с душой осиротелой,
В далеких дебрях и лесах.
Мой стон, мой вопль, мои укору
Ущелья мрачные и горы
Внимали с ужасом семь лет.
Угрюмый, скорбный, одичалый,
Терзался я мечтой бывалой;
Рыдал о том, чего уж нет.
Ночная тень, поток нагорный,
И бури свист, и ветров вой
Сливались втайне с думой черной,
С неутолимою тоской;
И горе было наслажденьем,
Святым остатком прежних дней;
Казалось мне, моим мученьем
Я не совсем расстался с ней.

9

Где сердце любит, где страдает,
И милосердный бог наш там:
Он крест дает, и он же нам
В кресте надежду посылает.
Чрез семь тяжелых, грозных лет
Блеснул и мне отрадный свет.
Однажды я, ночной порою,
Сидел уныло над рекою,
И неба огнезвездный свод,
И тихое луны мерцанье,

И говор листьев, и плесканье
Луной осеребренных вод —
Невольно душу всё пленяло,
Всё в мир блаженства увлекало
Своей таинственной красой.
Проснулся дух мой сокрушенный:
«Творец всего! младенец мой
С моей подругой незабвенной
Живут в стране твоей святой;
И, может быть, я буду с ними,
И там они навек моими!..»
Любви понятны чудеса:
С каким-то тайным ожиданьем
Дрожало сердце упованьем;
Я поднял взор на небеса,
Дерзал их вопрошать слезами...
И, мнилось, мне в ответ был дан
Сей безмятежный океан
С его нетленными звездами.
С тех пор я в бедствии самом
Нашел, отец мой, утешенье,
И тяжким уповал крестом
С ней выстрадать соединенье.
Еще, бывало, слезы лью,
Но их надежда улаждала,
И горесть тихая сменяла
Печаль суровую мою.
Забыл я, верой пламенея,
Мое несчастье и злодея:
Она с младенцем в небесах
Мечталась сердцу в райских снах.
Я к ней душою возносился,—
И мысль одним была полна:
Желал быть чистым, как она,
И с жизнью радостно простился;
Но умереть хотелось мне
В моей родимой стороне.
Я стал скучать в горах чужбины:
На роцци наши, на долины
Хотел последний бросить взгляд,
Увидеть край, весь ею полный,
И сельский домик наш, и сад,
И синие днепровски волны,

И церковь на холме, где спит
В тени берез их пепел милый,
И как над тихою могилой
Заря вечерняя горит.

10

Ах, что сбылось с моей душою,
Когда в святой красе своей
Вдруг вид открылся предо мною
Родимых киевских полей!
Они, как прежде, зеленели,
Волнами так же Днепр шумел,
Всё тот же лес вдали темнел,
На жнивях те же песни пели,
И так же всё в стране родной,
А нет лишь там ее одной!
Везде знакомые долины,
Ручьи, пригорки и равнины
В прелестной, милой тишине,
Со всех сторон являлись мне
С моими светлыми годами;
Но с отравленною душой,
На родине пришлец чужой,
Я их приветствовал слезами
И безотрадною тоской.
Я шел; день к вечеру склонялся;
И скоро сельский божий храм
Предстал испуганным очам;
И вне себя я приближался
К могиле той, где сын, жена...
Вся жизнь моя погребена.
Я чуть ступал, как бы страшился
Прервать их непробудный сон;
В груди стеснял мой тяжкий стон,
Чтоб их покой не возмутился;
Страстям встревоженным своим
Не смел вдаваться дух унылый;
Казалось мне, над их могилой
Дышал я воздухом святым.
Творилось дивное со мною,
И я с надеждой неземною
Колена тихо преклонил,
Молился, плакал и любил...

Вдруг слышу шорох за кустами;
Гляжу, что ж взор встречает мой?
Жнеца с подругой молодой,
И воз, накладенный снопами;
И вижу я, между снопов
Сидит в венке из васильков
Младенец с альыми щеками.
Невольно я затрепетал:
«Я всё имел, всё потерял,
Нам не дали жить друг для друга.
В сырой земле моя подруга,
И не в цветах младенец мой —
Его червь точит гробовой».
В слезах тогда к ним на могилу
Без памяти бросаюсь я;
Горело сердце у меня;
Тоска души убила силу.
Целуя дерн, я разрывал
Руками жадными моими
Ту землю, где я лег бы с ними;
В безумстве диком я роптал;
Мне что-то страшное мечталось;
Едва дышал я, в мутной тме
Сливалось всё, как в тяжком сне;
Уж чувство жизни пресекалось,
И я лежал между гробов
Мертвей холодных мертвецов.
Но свежий воздух, влажность ночи
Страдальца вновь животворят;
Вздохнула грудь, открылись очи.
Кругом бродил мой томный взгляд:
Всё было тихо, скрыто мглою,
В тумане месяц чуть светил,
И лишь могильною травкою
Полночный ветер шевелил.

11

Я встал и скорыми шагами
Пошел с потупленной главой
Через поляну; за кустами
Вилась дорога под горой;
Почти без памяти, без цели
Я шел куда глаза глядели;

Из-за кустов навстречу мне
Несется кто-то на коне.
Не знаю сам, какой судьбою,
Но вдруг... я вижу пред собою,
При блеске трепетном луны,
Убийцу сына и жены.
Отец, то встреча роковая!
Я шел, весь мир позабывая;
Не думал я его искать,
Я не хотел ему отмщать;
Но он, виновник разлученья,
Он там, где милые в гробах,
Когда еще в моих очах
Дрожали слезы исступленья...
То знает совесть, видит бог,
Хотел простить — простить не мог.
Я изменил святой надежде,
Я вспомнил всё, что было прежде,—
И за узду схватил коня:
«Злодей, узнал ли ты меня?»
Он робко смотрит, он дивится,
Он саблю обнажить стремится;
Увы! со мною был кинжал...
И он в крови с коня упал.

Тогда еще не рассветало;
Я вне себя иду назад;
И рощи и поля молчат,
Перед зарею всё дремало,
Лишь неся гул издалика,
Как конь скакал без седока;
Бесчувственно я удалялся.
Всё, что сбылось, казалось мне
Как что-то страшное во сне.
Вдруг звон к заутрене раздался...
Огнями светлый храм сиял,
А небо — вечными звездами,
И лунный свет осеребрял
Могилы тихие с крестами;
Призывный колокол звенел;
А я стоял, а я смотрел,
Я в светлый храм идти не смел...
«О чем теперь и как молиться?
Чего мне ждать у алтарей?»

Мне ль уповать навеки с ней
В святой любви соединиться?
Как непорочность сочетать
Убийцы с буйными страстями?
Как в небе ангела обнять
Окровавленными руками?»

12

В обитель вашу я вступил,
Искал я слез и покаянья;
Увы, я, грешный, погубил
Святые сердца упования!
Бывало, бедствие мое
Я верой услаждал всечасно;
Теперь—до гроба жить ужасно!
За гробом—вечность без нее!
Я мнил, отец мой, между вами
Небесный гнев смягчать слезами;
Я мнил, что пост, молитва, труд
Вине прощенье обретут;
Но и в обители спасенья
Я слышу бурь знакомый шум;
Проснулись прежние волненья,
И сердце полно прежних дум.
Везде, отчаяньем томимый,
Я вижу лик неотразимый;
Она в уме, она в речах,
Она в моленье на устах;
К ней сердце пылкое стремится,
Но тень священную боится
На лоне мира возмутить.
О, верь, не обгаренный кровью,
Дышал я чистою любовью,
Умел земное позабыть:
Я в небесах с ней думал жить!
Теперь, как гибельным ударом,
И там я с нею разлучен,
Опять горю безумным жаром,
Тоскою дикой омрачен.
Здесь, на соломе, в келье хладной,
Не пред крестом я слезы лью;
Я вяну, мучуся, люблю,
В печали сохну безотрадной;

Весь яд, всё бешенство страстей
Кипят опять в груди моей,
И, жертва буйного страданья,
Мои преступные рыданья
Тревожат таинство ночей.

13

Вчера — бьет полночь — страх могилы
Последние разрушил силы,
И пред иконою святой
С непостижимой тоской
Я изливал мои страданья;
Я милосердного молил,
Чтоб грех кровавый мне простил,
Чтоб принял слезы покаянья.
Вдруг что-то, свыше осеня,
Как будто душу озарило
И тайной святостью страшило,
Отец мой, грешного меня.
Лампада луч дрожащий, бледный
Бросала томно в келье бедной.
Покрыта белой пеленой,
Она предстала предо мной.
И черные горели очи
Ярче звезд осенней ночи.
О нет, то был не призрак сна
И не обман воображенья!
Святой отец, к чему сомненья!
С нее слетела пелена,
И то была, поверь... она!
Она, прелестная, младая!
Ее улыбка неземная!
И кудри темные с чела
На грудь лилейную бежали,
И, мнилось мне, ее уста
Былое, милое шептали;
Всё та ж любовь в ее очах.
И наш младенец на руках.
«Она!.. прощен я небесами!»
И слезы хлынули ручьями.
Я вне себя бросаюсь к ней,
Схватил, прижал к груди моей...

Но сердце у нее не бьется,
Молчит пленительная тень;
Неумолимая несется
Опять в таинственную сень;
И руки жадные дрожали;
И только воздух обнимали;
Мечтой обмануты, они
К груди прижались одни.
«Ужель отринуты моления?
Ужель ты вестник отверженья?
Или в ужасный, смертный час,
Моя всё верная подруга,
Хотела ты в последний раз
Взглянуть на гибнущего друга?..»
И с ложа на колена пал
Чернец, и замер голос муки;
Взор оживился, засверкал;
К чему-то вдруг простер он руки,
Как иступленный закричал:
«Ты здесь опять!.. конец разлуки!
Зовешь!.. моя!.. всегда!.. везде!..
О, как светла!.. к нему!.. к тебе!..»

14

Два дни, две ночи он томился,
И горько плакал, и молился;
На третью ночь отец святой
Обитель мирную сзывает;
Последний час уже летает
Над юной грешною главой.
И в келью брата со свечами
Собором иноки вошли,
И белый саван принесли...
И гроб дощатый за дверями.
Печален был их томный глас,
За упокой души молящих;
Печален вид их черных ряс
При тусклом блеске свеч горящих.
Прочитана святым отцом
Отходная над Чернецом.
Когда ж минута роковая
Пресекла горестный удел,
Он, тленный прах благословляя,
Ударить в колокол велел...

И звон трикратно раздаётся
Над полуночною волной.
И об усопшем весть несётся
Далеко зыбкою рекой.
В пещеру вещей звон домчался,
Где схимник праведный спасался:
«Покойник!» — старец прошептал,
Открыл налой и четки взял;
У рыбаков сон безмятежный
Им прерван в хижине прибрежной.
Грудной младенец стал кричать;
Его крестит спросонья мать,
Творить молитву начинает
И тихо колыбель качает,—
И перед тлеющим огнем
Опять уснула крепким сном.
И через поле той порою
Шел путник с милою женою;
Они свой ужас в темну ночь
Веселой песнью гнали прочь;
Они, лишь звоны раздались,—
Перекрестились, обнялись,
Пошли грустней рука с рукой...
И звук утих во тме ночной.

КНЯГИНЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА ДОЛГОРУКАЯ

*Посвящено
Василию Андреевичу Жуковскому*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Nessun maggior dolore,
Che ricor darsi del tempo felice
Nella miseria.

*Dante, V. **

1

Большой Владимирской дорогой,
В одежде сельской и убогой,
С грудным младенцем на руках,
Шла тихо путница младая;
В усталом взоре тайный страх.
«Как быть? Москва в семи верстах;
Дорога меж холмов лесная;
А в поле дымном тень ночная
Уж скоро ляжет; и луна
Лишь в полночь на небе видна».

2

Она идет, и сердце бьется;
Поляна с рощей перед ней,
И вот в село тропинка вьется:
Она туда дойдет скорей;
Ночлег радушный там найдется.
Уже, пылая между туч,
Зари багровой гаснет луч;
Уже пред ночью, к буре склонной,
Поднялся ветер, бор шумит;

* О, нет мученья боле,
Как вспоминать дни счастья в тяжелой доле.

Ее младенец полусонный
Озяб, и плачет, и дрожит.
Она спешит в приют укромный,
Подходит скоро к роце темной.
Но, чем-то вдруг поражена,
Стоит уныла и бледна.
В ее очах недоуменье,
Ей будто страшно то селенье;
Нейдет в него, нейдет назад,
Кругом обводит робкий взгляд.
«О, если там!.. А мне таиться
Велит судьба... быть может... нет!
Кому узнать!.. и сколько лет!
Забыто всё; но вечер тмится,
Пора!» И к роце с быстротой
Приблизилась, остановилась,
Подумала, перекрестилась,
Потом пошла, махнув рукой,—
И скрылася в тени густой.

3

За рощей темною в долине,
При зеркальной пруда равнине,
Вельможи знатного село
Красой приветною цвело;
Высоких лип в тени зеленой
Хоромы барские стоят;
Они вид древности хранят;
В гербе под графскою короной
Щит красный в поле золотом,
Лавровым окружен венком
С двумя блестящими крестами,
А в поле светлом меч с копьём
И полумесяц вверх рогами.
Но сад, и воды, и мосты,
И роз душистые кусты
В забвеньи долгом сиротели.
Хозяин, честь страны родной,
Давно лежит в земле сырой;
Его хоромы опустели,
Широкий двор зарос травой.



Простясь с родимую Москвою,
В столице пышной над Невою
Живет наследник молодой;
А здесь одни воспоминанья
Во мраке сельской тишины
И рода знатного преданья...
Священный отзыв старины.

4

У церкви сельской за оградой,
В уютном домике своем,
В кругу семьи, пред тихим сном,
Дыша вечернею прохладой,
Священник у окна сидел;
Он в думе набожной смотрел,
Как, на закате догорая,
Багряный блеск сменялся тмой:
Так ясно жизнь его святая
Клонилась к сени гробовой.
Давно украшен сединами,
Небесный житель на земле,
У Шереметева в селе
Он сердцем, словом и делами
Творцу и ближнему служил;
Ум здоровый с детской простотою
Был светел праведной душою;
Покойный граф его любил;
И прах владельца незабвенный
Был свят душе его смиренной;
Для старца граф не умирал.
Он часто, часто поминал
Его богатство, знатность рода,
Как он со шведом воевал
И, после шумного похода,
В тиши села у них живал.

5

Но, полон важности старинной,
Святого старца кроток вид;
На нем подрясник обьяринный,

И катаур широкий шит
Узорно яркими шелками,
И на груди его висит
Из кипариса крест с мощами,
Хранитель верный с давних пор:
Один монах, с Афонских гор,
Тот крест принес. Его обитель
Была убога и скромна
И, как ее радушный житель,
Какой-то святости полна;
В углу, в серебряном окладе,
Икона Спасова блесит,
И перед ней огонь горит
В хрустальной на цепях лампаде;
На полке ряд церковных книг,
Бумага, перья подле них;
У зеркала часы стенные,
Портрет, задернутый тафтой,
Две канарейки выписные,
И полотенце с бахромой
Висит на вербе восковой.

6

Уже готов идти молиться,
Да снидет тих грядущий сон,
Беседы Златоуста он
Хотел закрыть; но вдруг стучится
Легонько кто-то у ворот,
И кто-то на крыльцо идет,
И дверь шатнулась: у порога
С младенцем путница стоит,
И голос жалобный дрожит,
Прося ночлега ради бога.

7

«Войди под мой убогий кров
(Сказал он ей): пора ночная,
Кругом всё лес, ночлег готов,
И есть у нас хлеб-соль простая;
Переночуй, ты с новым днем
Пойдешь опять своим путем».
И старец мать благословляет,
Младенца сонного крестит,

И к огоньку ее сажает,
И с ней приветно говорит;
Но, и бледна и боязлива,
Она сидела молчалива;
На речь приветную его
Полусловами отвечала
И лишь младенца своего
Со вздохом к сердцу прижимала;
Украдкою бросая взгляд
На барский дом, на темный сад,
Как будто узнавала что-то,
Как бы искала там кого-то;
И—вдруг то пламень на щеках,
То слезы крупные в очах.

8

Души встревоженной волненье,
Порывы томные страстей,
Ее печаль, ее смятенье
Заметил он; и старца в ней
Дивило всё. «Не та осанка,
Не те ухватки в деревнях;
Видна не грубая крестьянка
В ее застенчивых речах;
В ней горесть тихая приятна,
И хоть бедна, но как опрятна
Одежда путницы простой!
На пальце перстень золотой...
Куда ж теперь не в час урочный
Одна дорогою большой?..
Ах, нет, как ангел непорочный
Она глядит, и за нее
Порукой сердце мне мое!»

9

И чувствам тяжким и мятежным
Он мнил преграду положить,
И с горем, в жизни неизбежным,
Ее невольно помирить;
Он, как родной, ее ласкает,
И веселит, и начинает
Рассказ любимый старины;

Но сердце, полное волнений,
Чуждалось новых впечатлений,
И думы, грустью стеснены,
Далёко мрачные летали
И меж сомнений замирали.
Священник речь свою прервал,
И вдруг, с душой отца во взоре,
Вздохнувши сам, он ей сказал:
«Что так задумалась? Ты в горе?»

Путница

Я, мой отец?..

Священник

Твоя тоска,
Поверь, к душе моей близка;
В том нужды нет, что я не знаю,
Кто ты; мой долг того любить,
Кто в горе.

Путница

Ах, мне тяжело жить!
Я день без радости встречаю,
Я плачу ночь.

Священник

Лукавый свет
Обманчив, друг!

Путница

И сколько бед
Уже сбылось, и скольких снова
Должна я ждать, и как сурова...

Священник

Так бог велел; пред ним смирись,
Прими с любовью крест тяжёлый,
Терпи, надейся и молись;
Он сам носил венец терновый;
Не унывай, не смей роптать,
Терпи—в страданьи благодать!

Путница

Отец ты мой! В ужасной доле
Кто ропот слышал от меня?
Теперь дрожу не за себя,
И слезы льются поневоле.

Священник

Не бойся воли дать слезам;
Но только, слезы проливая,
Стреми взор грустный к небесам;
Кто плачет здесь, утешен там,
Сказал господь.

Путница

О речь святая!
Отраднa ты.

Священник

И где же тот,
Кто жизнь без горя проживет!
Твои, мой друг, младые годы
Не расцвели от непогоды;
Но ты, как видно, рождена
В семье безвестной; ты бедна:
Тебя судьба не баловала,
К веселой участи она
Ничем тебя не приучала;
А часто гибельный удар
Надежды знатных разрушает...
О нашем графе кто не знает?
Он был — боярин меж бояр,
Петровой правою рукою,
И прямо русскою душою
Отчизну и царя любил;
Был славен; в золоте ходил.
И что же? Дочь его родная
Не знает радости земной
И гибнет в буре роковой,
Как гибнет травка полевая...
Суди ж, дивна ль судьба твоя?
Она была не ты.

Путница

Не я!

Священник

Давно от нас она уж скрылась,
Но всё живет в душе моей.
Я расскажу тебе о ней:
Почти при мне она родилась,
Я на руках ее носил,
Ребенком грамоте учил,
И здесь, куда, мой друг, ни взглянешь,
Везде о ней, везде помянешь.
Вот там, в тени густых берез,
Ты видишь куст махровых роз:
Она сама его садила;
Они цветут... её одну
Печаль так рано сокрушила,
Она одна свою весну
От них далеко погубила.
Теперь я вижу, есть у нас
Какой-то в сердце вещей глас:
Она, забавы убегаая,
В шуму роскошного села
Тиха, задумчива росла,
Как будто горя ожидая,
Покорна будущей судьбе.
Могу ль я выразить тебе
Весь жар усердия святого
Сыскать, утешить нищету?
В слезах ли видит сироту —
Родная бедствия чужого,
Она отдать готова ей
Свои сережки из ушей,
И, сверх подарка дорогого,
Бывало, плачет вместе с ней.
С невинной, нежною тоскою
В ее пленительных чертах
Сливался непонятный страх,
И что-то схожее с тобою
В ней было: так, лицо твое
Напоминает мне ее;
Ресницы, как у ней, густые,
И очи темно-голубые,

И цвет каштановых волос;
Она была тебя стройнее
И воска ярого белее;
Не диво: солнце и мороз
Ее в полях не заставляли,
Полоть и жать не посылали,
И одевал красивый стан
Не твой кумачный сарафан».

10

И дружно путнице смятенной
Священник руку протянул,
И ярко взор его блеснул,
Вспоминаньем оживленный.
Он рассказал о той поре,
Когда ей радость ложно снилась,
И как звездою при дворе
В семнадцать лет она явилась.
Тогда чинами и красой,
Невесты царской брат родной,
Сиял надменный Долгорукой;
Он меж бояр и меж князей
Ее очам был всех милей.
С ним брак надежною порукой
Казался всем, что вечно ей
Не знать ни слез, ни скорбных дней.
Невольно старец вздох тяжелый
Стеснил, и с важностью веселой
Завел он речь про их сговор,
Как духовенство, пышный двор
Бояр вельможных посетили,
Как царь приехал, как при нем
Чету младую обручили
И как восточным жемчугом
Невесту милую дарили;
Меж тем, прелестная, она
Стыдливо с женихом сидела
И, тихой радости полна,
То улыбалась, то краснела,
А, друг веселости живой,
Кругом шел кубок золотой
В беседе шумной и приветной,

И щит зажегся разноцветный,
И хор гремел, и до утра
Народ, толпясь, кричал: ура!

11

«И кто бы, кто подумал прежде,—
Так продолжал, вздохнувши, он,—
Что радость изменит надежде,
Что счастье их минутный сон!
Неумолимая гробница
Схватила юного царя
От двух венцов, от алтаря;
Напрасно блещет багряница
И ждет княжна: всему конец!...
Жених и царь уже мертвец!
Затмились вдруг мечты златые,
И Долгорукого семья
Погибла с ним; чины, друзья
Исчезли; степи ледяные,
Изгнанья горестный предел—
Любимца падшего удел;
Но, жизни узнавая цену,
Когда во всем он зрел измену,
Невеста юная одна
Ему осталася верна;
Его подругою, душою
С ним в ссылке целых восемь лет
Она жила; но и с женою
Он разлучен...»

Путница

И слуха нет

О нем?

Священник

Я помню, как родные
Тогда давали ей совет
Расторгнуть узы роковые,
Покинуть друга своего.
И при дворе нетрудно б снова
Найти ей жениха другого.
«Нет, не покину я его,—
Она в слезах им говорила,—

Я счастливым его любила,
 Он и в несчастьи всё мне мил:
 Сам бог меня с ним обручил».
 Но ты, я вижу; улыбнулась;
 Так, верь не верь, ни вечных слез,
 Ни гордой мести, ни угроз
 Ее любовь не ужаснулась.
 На все с ним вместе решена,
 И в даль и в клад...

Путница

Она любила!
 Не ссылка бедную убила;
 Была разлука ей страшна!..
 Скажи, где он?

Священник

Как ты бледна!
 Ты плачешь?

Путница

Плачу!.. Ах, она
 О том лишь небо умоляла,
 Чтоб в нищете, в глуши степной,
 Но вместе жизнь их протекала,
 Чтоб счастье их!..

Священник

О, сон пустой!
 Им счастье, там?

Путница

Отец святой,
 Не страшно с другом заточенье:
 С ним есть и в горе наслажденье.

Священник

В степях лишь тот привыкнет жить,
 Кому здесь не о чем тужить;
 Но ей, взлелеянной на радость,
 Откинуть светлые мечты,
 Губить красу свою и младость
 Под кровом душевной нищеты!
 Ей счастье?.. нет!

Путница

Чем жертва боле,
Тем пламенной душе милей
Сердечный спутник грустных дней:
И меж снегов, и в низкой доле,
Когда в их юрте кедр пылал
И друг ей молча руку жал,
Когда детей она ласкала,
От их младенческой игры
Когда душа в ней расцветала,
Ужель она не забывала
Москву и царские пиры
И всех забав очарованья?

Священник

Тебе как знать?

Путница

Где он? Что с ним?
Иль ждять за гробом ей свиданья
И в небесах назвать своим!

Священник

Мы здесь в тиши уединенья
И за нее и за него
Льем к небу жаркие моленья,
Но мы не знаем ничего.

Путница

И не нашлося никого,
Кто б защитил?

Священник

Где правый сильный,
Кто б за несчастье грудью стал?
О, если б, сон прервав могильный,
Боярин Шереметев встал!
Он злобу с хитрой клеветою
Сразил бы истиной святою;
Он мог изгнаннику помочь,
Он спас бы гибнущую дочь;
Но знай, и ты, ему чужая,

И ты, о путница младая,
Когда б он был еще в живых,
Недаром здесь бы ночевала,
Поверь, горючих слез твоих
При нем бы ты не проливала,
И в путь не нищею пошла
Из Шереметева села!

12

Он говорил, она дрожала,
Сказала что-то, замолчала,
Во взоре тмился божий свет;
Но старец кажет на портрет,
Который в раме золоченой
Задернут был тафтой зеленой;
Он снял тафту и молвил ей:
«Вот он, взгляни и пожалей!»
Написан кистью мастерскою,
За пшагу ухватясь рукою,
В мундире, в ленте голубой,
Фельдмаршал смотрит как живой.
Ей мнится, давняя могила
Подпору бедной возвратила;
В смятенье робком перед ним
Она колена преклоняет,
Зовет его отцом своим,
К нему младенца поднимает;
Казалось, взор ее молил,
Чтоб сына он благословил.
Ей мнится, будто к ней несется
Привет любви издалека.
Но вдруг мятежная тоска
С порывом новым в душу льется.
Волнуясь грозною мечтой,
Она свой перстень золотой
К устам, рыдая, прижимала
И распущенную косой
Лазурны очи отирала;
Невольный трепет, дикий взгляд
О чем-то страшном говорят.
Безмолвно старец изумленный
Молил творца о сокрушенной;

Он понял, что единый бог
Ее печаль утешить мог;
И старца важное молчанье,
Его встревоженный покой,
И незнакомки молодой
Неукротимое страданье —
Гласило всё о черных днях,
О днях, отравленных бедою,
И безнадежностью земною
В священный приводило страх.
Один, тревогам непричастный,
Младенец тихий и прекрасный,
Не зная, что и жизнь и рок,
Грозой не тронутый цветок,
С улыбкой, с ясными очами,
На грудь родимую припал
И влажными от слез кудрями,
Беспечный, весело играл.

13

Но скоро стон ее мятежный
Умолк и грустью безнадежной
Залег в сердечной глубине;
И, при печальной тишине,
Уже неволью час полночи
Сомкнул у всех усталы очи.
Младая путница одна
Рассвета ждет, не зная сна;
Стремится думою далёко,
Но что готовит рок жестокий?
Какую весть она найдет?
Нет силы ждать: она встает,
Младенца будит поцелуем:
«Когда б ты знал, где мы ночуем,
Дитя мое!..» И в томну грудь
Желанье новое теснится,
И перед тем как удалиться,
Еще ей хочется взглянуть
На то село, где ночевала,
Село... И тихо, тихо встала,
И начала собираться в путь:
Иконе Спаса помолилась
И низко старцу поклонилась,

Который долго не смыкал,
И сам очей, но пред зарею,
Склоняся на плечо главою,
В широких креслах почивал;
И вот стопою торопливой
В тенистый сад она спешит,
И взор ее нетерпеливый
Живее, пламенной горит.

14

Чуть видная меж облаками,
Луна последними лучами
Светила с пасмурных высот;
Березы над прудом дремали,
И тени шаткие дрожали
На зыбком лоне сонных вод.
О, как у бедной сердце билось!
В каких терялося мечтах!
Но хоть страданьем утомилось.
Хоть очи грустные в слезах,
А всё улыбка на устах.
Казалось, будто ей знакомы
Пустые, мрачные хоромы,
Что этот луг, что этот сад
Не в первый раз встречает взгляд;
С прудом, деревьями, цветами,
Минувшим вдруг оживлена,
Как с незабытыми друзьями,
Опять увиделась она.
Хоть всё печальней, всё небрежней,
Но дышит всё порою прежней,
Здесь всё к себе ее манит;
Привет немой во всем находит;
Родную тень лесок наводит,
Ручей знакомое журчит.
На барский двор она бежит
И на крыльцо легонько входит,
В покои темные глядит;
Они стоят давно пустые;
Но лишь в окно луна блеснет,
И так как будто что мелькнет,—
То мнится ей, в часы ночные

Там бродят призраки родные,
Там дышит то, чего уж нет;
И всё, чем сердце расцветало,
И что сбылось, и что пропало,
Что обещал и не дал свет,
Что было, есть, любовь, страданья,
Безвестность, ужас ожиданья—
Всё разом гибельной стрелой
В душевны раны проникает,
И жжет, и холод гробовой
В убитом сердце разливает.
Без сил, к столбу прислонена,
Уж не тоскуя, не мечтая,
Сама в себе погребена,
Она стоит полуживая...
Но святость горя и любви
Сильнее бедствия земного.
Струя румяная вдали,
Предтеча утра молодого,
Уже зажглась, и с нею вновь
Решимость, горе и любовь
В душе томящейся проснулись,
Все думы разом встрепенулись.
«Пора, пора! Идем, идем!
Я там проведу о нем».
И, за дубовые перила
Хватаясь трепетной рукой,
В тенистый сад она сходила:
Уже тропинкой луговой
Бежит, влекомая мечтой;
В порывах быстрого движенья
Заметны тайные волненья;
Садовник, спящий у ворот,
Ее спросонья окликает;
Она ответа не дает,
Прощальный взор назад бросает
И в поле темное спешит,
Где путь проселочный лежит
К Москве, и страшной и желанной,
И уж теряется в кустах
С младенцем милым на руках,
И не видна в дали туманной;
Но долго быть о ней молве
У Шереметева в селе...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

The lost on earth revived in heaven.

*Lord Byron.**

1

Восток алея пламенеет,
 И день заботливый светлеет;
 Проснулись пташки; в тихий бор
 Уж дровосек несет топор;
 Колосья в поле под серпами
 Ложатся желтыми рядами:
 Заутрень сельских дальний звон
 По роще ветром разнесен;
 Скрыпит под сеном воз тяжелый,
 И заиграл рожок весельи.
 О, если б ты, прекрасный день,
 Гнал мрачные души волненья,
 Как гонишь ты ночную тень
 И снов обманчивых виденья!
 Зачем ты в блеске молодом
 Лелеешь каждую зарю
 И вишню солнечным лучом
 И ландыш утренней росой,
 Но сердца, полного тоской,
 Не освежишь своей красой?

2

Клубятся в полдень черны тучи
 По раскаленным небесам,
 И вихрь несет песок горючий
 С дороги пыльной по холмам;
 В томлени душном жнец ленивый
 Лежит в тени, оставя нивы;
 Пастух со стадом в лес бежит;
 Бор темный шепчет и дрожит;
 Сожженный лист о стебель бьется;
 Всё притаилось, всё молчит...
 И вдруг огонь по тучам вьется,
 Грохочет гром, с ним дождь и град
 В полях встревоженных шумят.

* Погибшее на земле ожило на небесах. *Лорд Байрон (англ.)*.

3

В приюте сторожа лесного
С младенцем путница ждала,
Чтоб туча бурная прошла.
Теперь до города родного
Уж недалёко; путь свершен:
Там всех увидит, всё узнает;
Но сердце больше замирает.
Теперь ей снится грозный сон,
Но как-то и надежда снится;
А завтра... завтра всё решится,
Быть может, завтра будет ей
День страшный, всех страшнее дней;
Быть может, завтра в наслажденье
Ей было б мрачное сомненье.

4

Утихла буря; свод небес
Меж дымных туч уже синеет,
И ароматом дышит лес,
И как свежо с поляны веет!
Цветы, омытые дождем,
Блестят под влажным жемчугом,
И солнце вѣчера спокойно
Бросает ярко луч незнойный.
Одна дорогою большой,
В прекрасном мире сиротой,
Молитвой ужас отгоняя,
Идет страдалица младая;
Почти ей жаль, что кончен путь;
К ней в душу страшно заглянуть:
Прошла пора искать, как прежде,
Минутной радости в надежде;
Зияет рок... Но вот она
Стоит, дрожит: Москва видна...
«Хранитель-ангел, дай мне силу!
Веди меня... не на могилу!»
И вне себя она глядит,
А перед нею боле, боле
Москва видна в широком поле,
И уж вдали заметен вид
Стрелецкой башни полудикой,

Уже в очах Иван Великой,
Как жар, венец его горит;
Глядит—и в сердце онемели
Тоска и страх: чему нет слов,
Что дышит тайностью гробов,
Напевом детской колыбели—
Прокралось в грудь; и трижды в прах
Перед Москвой она склонилась,
И с мрачным пламенем в очах
К заставе близко торопилась;
Но уж опять в душе у ней
Волненье прежнее страстей.
Взгляните, как она уныло
То чуть ступает, то бежит
И сколько в грусти боязливой
Неизъяснимого таит!
Нет, гордый ум не разгадает,
Что сердце робкое мечтает:
Любовью созданный в бедах,
Ее волнует новый страх.
Чья жизнь в других, тот поневоле
Приметам верит в темной доле:
Она боится, чтоб монах
Ей не был встречей печальной,
Чтоб черный гроб в дыму свечей
При звуках песни погребальной
Не испугал ее очей;
И голос милый, но прощальный,
Везде, во всем несется к ней.

5

Заря давно уж догорела,
Когда, печальных дум полна,
В родимый Кремль вошла она;
Кругом лишь в сумраке белела
Его зубчатая стена,
И крест на башне Годуновой
Сиял во тме звездой новой.
Идет... и в сердце, и в мечтах
Нетленных раки, царский прах;
Уже встречают томны взоры
И златоглавые соборы,
И древний княжеский дворец:

Здесь, друг Петра, ее отец
Делил с ним мудрые беседы
И праздновал свои победы;
Там мать ее, в тиши ночей,
За дочь молилась у мощей;
А там, невестой молодою,
Была она двора красою;
Тогда жених... и вдруг у ней
Ручьями слезы из очей.

6

Безмолвно бедная молилась,
Душой вверяясь небесам;
И теплой верой оживилась,
Спешит в заветный Спасов храм:
Нерукотворная икона —
От бед страдальцам оборона...
Шагами робкими идет
Чрез темный звучный переход
За ту решетку золотую,
Где при заботливых отцах
Таили жизнь свою младую
Царевны в светлых теремах;
И вот повергнулась в слезах
Перед иконою чудесной:
«Спаси его, отец небесный,
Спаси его, а мне дай знать,
Что с ним и как его искать!»
И, мнилось, ангелы внимали
Ее таинственной печали.

7

В Кремле святая тишина;
В Москве на стогнах сон глубокой;
Уже над башнею высокой,
В дыму, туманна и красна,
Взошла полночная луна;
Но алый пар пред ней редет
На темно-синей высоте;
Луна полночная светлеет
Во всей обычной красоте;

Сиянье томное трепещет
На белокаменных стенах,
И на соборах, на дворцах
Струями пламенными блещет;
Оно сребристой пеленой
Лежит на гладкой мостовой,
Бросает в стекла искры злата,
И Грановитая палата,
Как бы внутри освещена,
Чего-то дивного полна;
И ярко светятся лампы
Сквозь окна узкие церквей,
И чуть заметно вдоль ограды
Мерцанье тусклых фонарей;
Всё тихо, всё святыей дышит;
Травую воздух не колышет,
Лишь одинокий часовой
Прохожих глухо окликает,
И только меди вещей бой
Молчанье ночи прерывает;
Но мир ее не возмущен;
Он свят, как праведников сон.

8

Уньло путница младая,
Младенца к персям прижимая,
Сходила с Красного крыльца,
Дрожала, плакала, бледнела
И, робкая, на камень села
У озаренного дворца.
Невольню душу волновали
И блеск минутный юных дней
И те святые дни печали,
Которых память нам милей...
В грозе, ничем не отразимой,
Темницу друга разделять,
С ним вместе плакать, с ним страдать —
Ее надеждою любимой.
Но сердце, сжатое тоской,
Тонуло в думе роковой:
Навек ли небо омрачилось?
Где он? что с ним? Ужель свершилось?

И, в нем забыв людей и свет,
С душой, усталою от бед,
Она сидела, чуть дышала
Одну мечту другой сменяла...
Томяся в смутной тишине
Не наяву и не во сне...
К ней что-то льнет, к ней что-то вьется:
Она вздрогнула; сердце бьется;
По жилам холод пробежал,
Сквозь сон младенец закричал;
И что-то будто бы мелькнуло,
Пошевелилось и вздохнуло...
«Ты здесь? Творец!.. какой судьбой?
О! ты ли, друг, опять со мной?»
И прежних дней товарищ милый
Пред ней, встревоженной, унылой
На светлой площади стоит;
Он к ней нейдет, не говорит
И зорко на нее глядит;
Он завернулся в плащ широкой;
Он в думе мрачной и глубокой,
И чуден блеск его очей,
И бледен лик, и вид смущенный,
И кольца черные кудрей
Не вьются к шее обнаженной.
Сковал ее внезапный страх;
Встает—нет сил; на камень пала
И вне себя ему в слезах
Младенца сонногоказала.
Как будто содрогнулся он,
Как будто непонятный стон
В устах сомкнутых раздавался;
Недвижим, к ней он приближался,
Ужасным чем-то омрачен.
Она глядит, дохнуть не смеет;
А полная луна светлеет;
И плащ откинулся слегка,
Выходит медленно рука;
Грудь обнажилась, кровь чернеет
Рубашки белой на краю;
Он тихо стал перед женою
И, волосы собрав рукою,
С плеч поднял голову свою:

И, ярко озарен луною,
На шее признак роковой
Темнел багровой полосой.

9

Творец судил: навек страданье
Ее уделом, розно с ним;
Ее земное упованье
Навек под камнем гробовым.
С несчастным страшною разлукой
Печальной жизни цвет убит;
Один удар из двух мертвит:
И слез Натальи Долгорукой
Никто ничем не усладит.
Одна ужасная подруга
И в темну ночь и в ясный день
Его страдальческая тень,
Тень мрачная молодого друга,
Не отразимая в очах:
В ней жизнь и смерть, любовь и страх;
И слух ее тревожат звуки
Прощальных стонов, вопля муки,
И ужасают томный взор
Оковы, плаха и топор;
Его кровавая могила,
Страха, к себе ее манила;
И долг святой велит терпеть:
Нельзя ни жить, ни умереть;
Она окована судьбою
Меж мертвецом и сиротою.

10

Промчались годы, но они
Душевной скорби не умчали,
И в горе чувства замирали.
Ах, есть еще страшнее дни
Дней первых пламенной печали!
Мятежной горести полна,
Как бы сражаясь с судьбою,
Душа терзанью предана,
Живет утратою самою;

Но есть пора: в томленьи бед
Ни сил, ни дум, ни чувства нет;
Без слез крушит воспоминанье;
Без пламя едкого страданья
Лишь раны сердца всё хранят
Свой тайный, свой холодный яд.
Но долг заветный совершился:
Младенец взрос; свободна мать.
Что делать ей? Как доживать
Печальный век, который тмился
Суровой мглой? И где искать
Приюта в скорби одинокой?
Один есть путь... Она летит
Внушеньем веры в град далекой,
Где под Печерской Днепр широкой
Волной священной шумит;
Там, горе жизни вероломной
Стеснив трудами и мольбой,
Она запрется в келье темной
До мирной сени гробовой.

11.

Чей скорбный дух воспрянет к богу,
Кто веры пламенник зажжет
И бездны скользкую дорогу
С крестом спасителя пройдет,—
В пучине зол тот не погибнет.
Но, ах, когда в груди у ней,
Когда остынет пыл страстей,
Гроза сердечная утихнет!
То робкой думой в небесах,
То, лишь отраду зря в слезах,
Она, в борьбе сама с собою,
Дрожит пред клятвою святою.
Не страшен ей терновый путь —
Ей страшно небо обмануть.
Где светлый мир без разрушенья,
Там живо всё, там нет забвенья:
Душа на вечность создана;
Любовь бессмертна, как она.
Дух полон веры; он стремится
До гроба сердце умертвить,—
Земной ли жертвы ей страшиться?
Но как ей друга позабыть?

12

Настала ночь. Горой крутою
Кто легкой тенью меж кустов,
Кто сходит позднею порою
На склон песчаных берегов?
Она... Зачем ей, одинокой,
Идти на Днепр в ночи глубокой?
Бушуют волны на реке,
Зарница блещет вдалеке,
И тучи месяц застилают,
И на туманных небесах,
Как бы забыты в облаках,
Две только звездочки мелькают.
Увы, душа ее мрачней
Осенних бурь и мглы ночей!
Она у волн в раздумье села,
Склонила на руку лицо,
На Днепр, вздохнувши, посмотрела,
Сняла венчальное кольцо:
«Свершилось всё, навек свершилось!
И страшной клятвой, с новым днем,
Я поклянусь пред алтарем
Забыть всё то, чем сердце билось.
Кольцо мое... залог живой
Меж праха милого и мной,
Тебя ждала моя могила!
В тебе страдальца я любила,
И небесам (творец, прости!)
Кольца печали и любви
В безумстве я б не уступила;
Но он, он сам в чудесном сне,
Он в эту ночь являлся мне;
Он мне сказал: «Покинь земное!
В любви есть тайное, святое,
Ей нет конца; и там я твой!»
То был не сон. И томны очи
Искали небо в мраке ночи
С надеждой, страхом и тоской;
И было всё покрыто мглой.
Но вдруг из облака густого
Над рощей месяц засиял;
Он так светил, он так играл,
Как радость сердца молодого;

И мрак ночной пред ним исчез,
И на краю родных небес
Опять две звездочки мелькнули—
И в ярком свете утонули.
«О, так и мы, душа с душой,
Утонем в радости святой!»
И верой грудь ее дышала,
И жертва тайная в мечтах...
Она кольцо к устам прижала...
Оно блестит, оно в волнах...
В волнах! Но что ж? Рукой дрожащей
В порывах сердца своего
Она из-под волны шумящей
Хотела выхватить его;
Уже рука меж вод скользила;
Но руку, тихо заструясь,
Волна холодная отбила,
И, может быть, в последний раз,
Но слезы хлынули из глаз...
И меж кустов тропинкой мшистой
Она пошла к горе крутой
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.

13

Звон громкий, ветром разносимый,
Сзывает киевлян во храм:
Навек сегодня в жертве зримой
Земное горе честной схимой
Передается небесам.
И стар и млад с душой смятенной
Идут смотреть обряд священный;
Все разом набожной толпой
Теснятся в монастырь святой.
Как на стенах его высоких,
На мхом подернутых зубцах,
На переходах, на столбах
Видна печать времен далеких!
Века исчезли, храм стоит,
Стоит незыблемый, огромный,
И сам, как вечность, тайный, темный.
Граненый ряд чугунных плит,
Под коим тлеет прах могильный;

Старинной живописи вид,
И тусклый свет паникадильный
Во мраке сводов вековых,
И будто теней гробовых
В одежде черной хор умильный
Поющих инокинь святых —
Во всем понятен глас пророчий
Последней нашей длинной ночи.
Одни как в радужных лучах
Иконы светлые с мощами:
Их ризы блещут жемчугами;
Алмазы, яхонты в венцах;
И, съпя жар, скользит струями
Огонь лампад сквозь тонкий дым
По их окладам золотым.
Но уж возносится моление;
Начнется скоро пострижение;
Владыка здесь, готово всё,
Уже во храм ведут ее;
Уже звучит по мертвых пенье;
В кадилах пышет аромат;
Ведут... и в храме на налое
Крест и Евангелье святое
Перед иконою лежат,
Под ними ножницы блестят.

14

Одета длинной власяницей,
И лик под черной пеленой,
Она вошла; уже гробницей
Взята от прелести мирской;
Стремясь к жертве невозвратно,
Посту, трудам обречена,
Перед налоем троекратно
Распростиралась она;
Но, искушая страшной долей,
Ее спросил святой отец,
Стяжает волей иль неволей
Суровый инокинь венец;
Он рек, да сердца правотою
Отвергнет яд лукавых стрел,
Что вечный огонь ей будет мздою
Иль светлый ангельский удел;

И за нее святыя девы
Молитвы теплые творят;
Уже раскаянья напевы
К судье доступному летят.

*Что я? Кто я? Изгнанник рая.
В греховной бездне утопая,
Что жизнь и разум, и краса?
Цветок увядший, дым, роса.
Но он своей щедроты бездной,
Он, милосердый царь надзвездный,
Услышит вопль мой, он меня
Спасет от вечного огня.*

Но вот и ножницы блеснули,
Невольно в храме все вздрогнули;
И старец их пред ней держал.
«Возьми и даждь ми»,— он сказал.
Она свой взор на них склонила,
Взяла и старцу возвратила;
В другой раз тоже, в третий раз...
Вдруг стон... И в храме раздалась
Толпа— и отрок неизвестный,
Дрожащий, как она, прелестный,
Не смея воли дать словам,
Бежит... упал к ее ногам,
Целует, облил их слезами...
Увы, что с ней! Кто зрит сердца,
Тот видел всё; она очами
Искала образа; с лица
Холодный пот, как град, катился;
Но взор на образ устремился:
Безмолвно отрока она,
Душой молясь, благословляет
И старцу ножницы вручает.
Он взял,— и жертва свершена;
И кудри темные, густые
Летят на плиты гробовые;
И пояс крепкий правоты,
И риза дивная нетленья,
И покрывало чистоты,
И знак блестящий искупленья—
Ей всё дано; она вняла,
Что мудрость вечная рекла:

«Кто хочет царствия Христова,
 Блаженства отрекись земного,
 И чрез долину слез и бед
 С крестом гряди ему вослед!»
 Сей путь ее: и, ангел новый,
 На небеса уже готовый,
 Она стоит пред алтарем
 В руке с таинственным крестом.

*В житейском море зря волненье,
 От бури гибельных страстей
 Я притекла искать спасенья
 У тихой пристани твоей.*

И ты, о свет незаходимый,
 Божественный, непостижимый,
 Отрада чистая сердец,
 Небесный страждущих отец!
 Привлек ты к пристани надежной
 Разбитый челн грозой мятежной;
 Ты отдал жизнь, ты усладил,
 Мечтанье правдой озарил;
 И днесь в восторге упоенья,
 Благословляя дни мученья,
 К блаженству расцветая вновь,
 Она уж там, где нет страданья,
 Где брошен якорь упованья,
 Где ты, и вечность, и любовь!

15

Летая думой вдохновенной
 В заветный мрак минувших дней,
 Опять узнал мой дух смятенный
 Тревогу томную страстей.
 Хоть светлый призрак жизни юной
 Печаль и годы унесли,—
 Но сердце, но мечты, но струны?
 Они во мне, со мной, мои.
 Я вспомнил ночь, когда, томимый
 Тоской, ничем не отразимой,

В Печерской лавре я сидел
Над той спокойною могилой,
Надеждам страшной, сердцу милой,
В которой прах священный тлеет;
Она душе была порукой
Неверной радости земной,—
И тень Натальи Долгорукой
Во тме носилась надо мной...

Примечание: Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая была дочь фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, знаменитого полководца во времена Петра I. Судьба князей Долгоруких, пользовавшихся необыкновенною доверенностию императора Петра II, известна из российской истории. (Прим. И. И. Козлова.)

БЕЗУМНАЯ

Русская повесть

Москва, Москва, где радости и горе
 Мой юный дух, пылая, обнимал,—
 Где жизнь мою, как в непогоду море,
 Мятеж страстей так часто волновал!
 Ты — колыбель моих воспоминаний,
 Сердечных дум и дерзких упований!
 О, сколько их увяло, не сбылось!
 Но хоть тогда и много туч неслось,—
 Отважный взор не утрачен был мглою,
 И вдалеке мелькающей звездю
 Пленялся я: во тме — она одна
 Светила мне; но так мила, ясна,
 Она меж туч так радостно играла,
 Надеждою, любовью мне сияла!
 Шуми же ветер, тмишь небо, вой гроза:
 В очах, в душе — звезды моей краса!

И мой удел, с надеждами, с мечтами,
 С весельями и горестными днями,
 По сердцу мне; он мне не утаил
 Душевных тайн, и я недаром жил.
 Туч грозных мрак, румяной блеск денницы
 Знакомы мне, и отзыв их живой
 То ужас льет, как в ночь протяжный вой
 Далеких бурь, то нежный звук цевницы
 Пред ним ничто. Я снова, если б мог,
 Искать бы стал тех пламенных тревог,
 В которых всё земное нам милее,
 Небесное и ближе, и святее!
 Стремлю назад, вздыхая, томный взор,
 Но в нем Москва — привет, а не укор.

Бывало, я в лесу уединенном,
 Где Кунцово на холме возвышенном
 Задумчивой пленяет красотой,
 Брожу один вечернею зарей;
 Москва-река там с синими волнами;
 В тени берез, меж дикими кустами,
 Шумя, блестит и прихотей полна:
 То скрылась вдруг, то вдруг опять видна;



Зеленый лут и роца за рекою;
Вдали вид сел, полуодетых тмою,
Манили взор,—и сладостной мечте
Вдавался я в сердечной простоте:
«О, если б здесь она, мой друг прелестный,
Кем для меня всё дышит в поднебесной,
Таясь от всех в беспечной тишине,
Прекрасный сон! была подругой мне!
Деревня, сад, любовь, уединенье
И божье с ней и в ней благословенье—
Во всем она!»—И месяц уж восходил,
А я в лесу, забыв часы, бродил,
И с ним тогда прощался поневоле,
Как мрак ночной ложился в тихом поле.
Иду—ко мне из сел летит порой
То звук рожка, то песни плясовой:
Я оживлен весельями мечтами!
Но, проходя кладбище под Филями,
Случалось мне—внезапно я смущен.
Над свежеею могилой слышу стон,—
И я, крестясь, задумаюсь уныло...
И пламенной люблю что сердцу мило!

Но уж прошел я поле и погост,
Дрожит вдали Дорогомиллов мост,
Бегу к нему, надеждою томимый;
Спешу пройти по улице любимой:
Там, может быть, теперь пред тихим сном
Она сидит, в раздумье, под окном.
Но хоть один огонь меж ставней блещет,
Всё счастлив я,—и сердце затрепещет!
Нет! тайну чувств, несметных сердца дум,
Их чудный мир постичь не может ум.

Мечта сбылась. Меня любила радость,
Священный жар мою лелеял младость;
Хоть жизнь моя утрачена в страстях
И божий свет померк в моих очах,
Но я стеснен, а не убит судьбою—
Моя жена, и сын, и дочь со мною!
Мой дух кипит, моя не стынет кровь,
По-прежнему я верую в любовь...
Так видим мы: покинув мать родную,
Мечтатель-сын летит в страну чужую,

Где буря ждет, печаль, тоска крушат—
Быть может, сам он, дерзкий, виноват,
Но он—ее; то ж сердце в нем пылает,
И мать в слезах страдальца обнимает.
Москва! с тобой давно расстался я,
Но я твой сын—родная ты моя!

*30 сентября 1830
Санкт-Петербург*

1

Когда дорогою большою
Проезжий встретится со мною
И колокольчик прозвенит,
Всегда в мое воображенье
Он бросит тайное смущенье
И как-то сердце мне стеснит.
Напоминают эти звуки
Обман надежд, печаль разлуки:
Быть может, страждущую мать
Любимый сын спешит обнять—
Увы! застанет ли родную?
Платя, быть может, чести дань,
Жену покинув молодую,
Влюбленный муж летит на брань;
Сомненье дух его волнует—
Кто любит страстно, тот ревнует.

Так, углублен, в моих мечтах,
Под буркой я лежал в санях;
И, снег копытами взвевая,
Неслася тройка удалая,
И мой ямщик унывно пел,
И колокольчик мой звенел.

2

Уж ночь морозная настала;
Ямщик коней легонько гнал,
И подрезь по снегу визжала,
А я под песнею дремал.
Вдруг бег коней остановился,
Открылся взор усталый мой,—
Гляжу: стоим; ямщик крестился:

Зажглося небо надо мной,
Горит кровавою зарей;
Волнуясь, север пламенеет,
То весь багровый, то бледнеет,
И море зыбкого огня
Готово хлынуть на меня.

Холодным блеском рдяной ночи
Невольно ужаснулись очи;
Клубясь в сверкающих волнах,
Столбы багряные явились,
То расходились, то сходились,
Сливались, таяли в лучах
Иль, рассыпаяся, дымились;
И зарево с высот небес
Сиянье странное бросало
На снежный дол, на ближний лес;
Оно таинственно мерцало;
Пушистый иней вокруг ветвей
Берез высоких, сосн косматых
Трепещет в искрах красноватых;
И снежные ковры полей
Где пожелтели, где алеют;
Везде дрожащий, чудный свет,
Какого днем и ночью нет.
Светло и страшно — лишь темнеют,
Со всех сторон омрачены,
Лесных оврагов глубины.
И в поле только раздается
Звон колокольчика порой,
И тихо из лесу несется
Волков голодных дальний вой.

3

Природа-мать! как ты прекрасна!
О, как всегда, везде, во всем
Мила, прелестна иль ужасна!
Ты явно дышишь божеством!
В красе ли солнце засияет
И светлый мир животворит;
Из туч ли молния сверкает,
Гроза ревет и гром гремит;
Иль ночь нетленными звездами
Усеет небо, как цветами,
И томно нежится луна;

Морская ли кипит волна;
Журчит ли тихо ток серебристый;
Иль Этна бросит сноп огнистый
И вихрит пламень к облакам —
Всё тайну знаменует нам:
Что лишь одно всему душою,
Что правит мира красотой,
Равно как ужасом тревог,
Морями, небом и землею —
Любовь, премудрость, сила — бог!

4

И кони борзые пугливо
Храпят, как будто чуя диво.
Ямщик молчал, смотрел кругом
И молвил мне: «Не пред добром!
Верна примета, не обманет:
Нам черный год, беда нагрянет;
Столбы — к войне, а пламя — мор;
Того гляди, опять набор!»
Напрасно, гнав его сомненье,
Я толковал ему явленье;
Не понял он — как мерзлый пар
Среди снегов родит пожар.
Едва везти меня решился,
Он вожжи взял, перекрестился,
Лениво сел, махнул кнутом
И повторил: «Не пред добром!»

5

И молча он большой дорогой
Меня везет. — Невдалеке
Лежит усадьба на реке.
Вкруг деревянной и убогой
Столетней церкви, меж кустов,
Ряды являются гробов.
Из кольев с ельником ограда
Уж их теснит. Ветха, бедна,
Часовня при пути видна;
В ней тускло светится лампада.
Вблизи костер, дымяся, тлеет;
Быть может, путников он греет.

6

Но кто, как тень, как привиденье,
Как полуночное явление,
Могил таинственный жилец,
На срок отпущенный мертвец,—
Кто там мелькает предо мною?
Освещена ночной зарею,
Зачем, свою покинув сень,
Идет ко мне младая тень?..
Не тень была то гробовая—
Была страдальица младая.
Она догнать меня спешит;
Она рукой к себе манит;
За нами вопль ее несется;
Мой дух смущен, и сердце бьется.
Я удержал моих коней;
Я сам бегу навстречу к ней.
Но, к нам она летя стрелою,
Вдруг неподвижною, немою
Остановилась; тяжкий стон
Возник—и смолк: «Опять, не он!»

7

И вне себя она стояла,
Бледна—как майская луна;
И беглый взор кругом бросала,
Тревожной думе предана;
Какой-то грустью безнадежной
Она дышала; сарафан
И мех, накинутый небрежно,
Скрывали грубо легкий стан;
По белому челу бежали
Струи разметанных кудрей
И тмили чудный блеск очей,
И взору дикость придавали;
Слова немели на устах,
И грудь вздымалась, трепетала;
Но вдруг прошел мятежный страх—
И, как в бреду, она сказала:
«Зачем ты, путник, здесь со мной?»

Хотелось мне убрать цветами
Родной могилу: что ж? в полях
Ни травки—снег! И я, в слезах,
Бегу к реке, и над волнами
Я вижу лед,—и тайный страх
Кругом меня, как призрак, бродит.
Вот полночь—а не месяц всходит!
Взгляни—пожар на небесах!

11

И всё не так, как было прежде!
Но, путник, ты моей надежде
Не изменишь... Страшней всего
С ним розно жить—пришли его!
Спроси, зачем он любовался
Моей девичьей красотой?
Зачем, жестокий, издевался
Над бесталанной сиротой?
Когда ж настанет день отрадный!
Когда же друг мой ненаглядный
Приедет к нам—и с женихом
Я стану под святым венцом!
По нем, с утра до поздней ночи,
Тоскует сердце; плачут очи.
Он дал мне слово; для чего
Так долго, долго нет его?
Я не хочу тоски умерить:
Беда—мне сердце разуверить!

12

Но быть за ним мне суждено.
На прошлых святках я гадала;
Кольцо под песни вынимала,
И—как по бархату зерно,
Зерно бурмицкое катилось;
Как с альым яхонтом оно,
Катясь, вместе очутилось,—
Мне вышла песня. Также я
На месяц в зеркало смотрела:
Но тмился он, и я робела;
В нем будто черная змея,
Клубясь, к себе меня манила;

16

«Но ты жестокою меня
Не называй, о путник! я
Уловкой злою на разлуку
Осуждена, быть может, с ним,—
Пойми ж мой страх и сердца муку!
Он мой, он должен быть моим—
Порука бог! Я не рабою
На труд тяжельй рождена,
Хоть в низкой доле, хоть бедна...
Но то не горе, что судьбою
Родным полям возвращена:
На них цвела я без кручины,
Чиста, как ручеек долины;
Был светел день, отраден сон,
Не знала слез. Явился он:
Пропало всё! Родня, чужие,
Все мне пеняют, все бранят!
Когда б ты знал, что говорят!
Крестьянки грубые, простые
Со мной встречаться не хотят!

17

И правда их: не та я стала,
Какою прежде я была:
Печаль мне на сердце напала,
И тма все думы облегла!
Что вижу я—не замечаю!
Что скажут мне—я забываю!
Мой ум лукавым отравлен!
Мне жизнь мерещится как сон!
Но то, что мне, бывало, милый
Тихонько говорил,—ту речь
Умела я какой-то силой
В туманной памяти сберець.
Его речам—хоть им не сбиться—
Как в душу мне не зарониться!..
Берет ли смех, томит ли грусть,—
Я всё твержу их наизусть,
И затвердила слово в слово;
И всё мне в них как будто ново...

Хотелось мне убрать цветами
Родной могилу: что ж? в полях
Ни травки—снег! И я, в слезах,
Бегу к реке, и над волнами
Я вижу лед,—и тайный страх
Кругом меня, как призрак, бродит.
Вот полночь—а не месяц всходит!
Взгляни—пожар на небесах!

11

И всё не так, как было прежде!
Но, путник, ты моей надежде
Не изменишь... Страшней всего
С ним розно жить—пришли его!
Спроси, зачем он любовался
Моей девичьей красотой?
Зачем, жестокий, издевался
Над бесталанной сиротой?
Когда ж настанет день отрадный!
Когда же друг мой ненаглядный
Приедет к нам—и с женихом
Я стану под святым венцом!
По нем, с утра до поздней ночи,
Тоскует сердце; плачут очи.
Он дал мне слово; для чего
Так долго, долго нет его?
Я не хочу тоски умерить:
Беда—мне сердце разуверить!

12

Но быть за ним мне суждено.
На прошлых святках я гадала;
Кольцо под песни вынимала,
И—как по бархату зерно,
Зерно бурмицкое катилось;
Как с алым яхонтом оно,
Катясь, вместе очутилось,—
Мне вышла песня. Также я
На месяц в зеркало смотрела:
Но тмился он, и я робела;
В нем будто черная змея,
Клубясь, к себе меня манила;

Бежать я бросилась домой,
От страха зеркало разбила,—
И кто-то всё гнался за мной!

13

Нет, не венчаться мне! Могила,
Могила ранний мой удел!
Мой светлый призрак улетел,
И смерть меня бы не страшила,
И сладко б я в земле сырой
Уснула, здесь, с моей родной!
Но, путник, как не ужаснуться?
Придет пора нам всем проснуться;
Священник говорит: пойдут
Все из гробов на божий суд!
Как там без друга я предстану?
Меня сожжет моя вина!
Но боле за него страшна
Мне грешных доля. Ни обману,
Ни лести хитрой места нет
В стране святой, где вечный свет.
О, если можно, пусть за друга
Его забытая подруга
Горит одна!..»

14

И дикий взор
Стремился к небу. Страх, укор,
Любовь, молитва в нем пылали;
Но мрак таинственной печали
Исчез,—и с новою мечтой
Она как будто бы очнулась;
Откинув кудри, улыбнулась,
И, с торопливостью живой,
Краснея, шепотом сказала:
«Ты не поверишь, я слышала
Здесь от одной ворожеи,
Что мертвые гроба свои
В глухую полночь покидают
И всюду бродят и летают.
О! к белокаменной Москве
Тогда б и я, в полночной мгле,

С кладбища к милому носилась,
Не с тем чтоб мне ему пёнять,
Не с тем чтоб друга испугать:
Я б в невидимку обратилась,
Дышала б в тишине ночной,
Как ландыш на полях весной;
Я б томным ропотом сказала:
«Не бойся, милый, это я,
Всё неразлучная твоя!» —
И тихо бы являться стала,
Не бледным, страшным мертвецом,
Холодной тенью гробовою,
Но в виде радостном моем,
Собой румяной, молодою
И с темно-русою косою —
Как перед ним я вечерком,
Бывало, пела и плясала
Или тайком к нему бежала
С клубникой, с свежим молоком.
Но если я и за могилой
Гонима тайною судьбой —
Когда забыл меня мой милый
И счастлив он теперь с другой, —
Я б мести яркой предалася,
Взыграло сердце бы мое,
Как острый пламень вкруг нее
Я б трижды, путник, обвилася!..»

15

И голос замер на устах.
Взбунтована мечтой ревнивой,
Она дрожит; в ее очах
Сверкает блеск любви строптивой.
Невольно разделял я с ней
Души угрюмое волнение.
Был страшен мрак ее речей;
Но быстрый призрак прежних дней
Вдруг озарил ее смятение, —
Так ночью бурною волна
Кипит во мгле и с пеной хлещет;
Проглянет месяц — и она
Опять, мятежная, заблещет.

16

«Но ты жестокою меня
Не называй, о путник! я
Уловкой злою на разлуку
Осуждена, быть может, с ним,—
Пойми ж мой страх и сердца муку!
Он мой, он должен быть моим—
Порука бог! Я не рабою
На труд тяжёлый рождена,
Хоть в низкой доле, хоть бедна...
Но то не горе, что судьбою
Родным полям возвращена:
На них цвела я без кручины,
Чиста, как ручеек долины;
Был светел день, отраден сон,
Не знала слез. Явился он:
Пропало всё! Родня, чужие,
Все мне пеняют, все бранят!
Когда б ты знал, что говорят!
Крестьянки грубые, простые
Со мной встречаться не хотят!

17

И правда их: не та я стала,
Какою прежде я была:
Печаль мне на сердце напала,
И тма все думы облегла!
Что вижу я—не замечаю!
Что скажут мне—я забываю!
Мой ум лукавым отравлен!
Мне жизнь мерещится как сон!
Но то, что мне, бывало, милый
Тихонько говорил,—ту речь
Умела я какой-то силой
В туманной памяти сбережь.
Его речам—хоть им не сбывься—
Как в душу мне не зарониться!..
Берет ли смех, томит ли грусть,—
Я всё твержу их наизусть,
И затвердила слово в слово;
И всё мне в них как будто ново....

Там, в роще темной, при луне,
Вот что сказал неверный мне:
«Зачем, в деревне расцветая,
Моя лилея полевая,
Несешь ты нѹжду и труды?
Мила ты, прелесть молодая,
Светлее утренней звезды!
Не знаю сам, но я тобою,
Прекрасный друг, обворожен!
С тобой не перстнем, а душою,
Моя невеста, обручен!
Люби меня!..» — И я любила!
Забыла я отца и мать;
Девичью совесть погубила,
В Москву хотела с ним бежать;
Но не Москвой с ее весельем
И не жемчужным ожерельем
Меня красавец обольстил.
Скажи: нет, он не изменил?

18

Бывало, только тень ночная
Оденет дальний небосклон,
Замолкнет песня плясовая,
И все пойдут на тихий сон,—
А я, украдкой от родимой,
Бегу одна в лесок любимый.
Но в тот лесок ходила я
Не с тем чтоб слушать соловья,
Не с тем чтоб небом любоваться,
Когда в нем звезды загорятся:
В сени берез, во тме ночей,
Моя звезда, мой соловей—
Всё он один! — И как, бывало,
Как сердце билось, замирало,
Когда, в полночной тишине,
Я жду его, дохнуть не смею.
Дрожу, то вспыхну, то хладею—
И он идет! — И, как во сне,
Исчезло всё! — Стыдом, тоскою
Я с той поры сокрушена;
И все смеются надо мною;
И я — Безумной названа.

Но если б то, что миновалось,
 Опять к нам, бедным, возвращалось,—
 В груди стеснила б я тоску,
 Мой стыд и горе утаила —
 И, страх сказать духовнику,
 Опять бы в рощу я ходила!»

И, покраснев, она лицо
 Рукой стыдливо закрывала
 И долго молча целовала
 Ее сгубившее кольцо.

19

Но вдруг, окинув беглым взглядом
 Дорогу, даль, кладбище, храм,—
 Она вздрогнула; слезы градом
 Катились по ее щекам,
 И буря тайного страданья
 Волнует грудь сильней, сильней—
 Как будто ангел упованья,
 Мелькнув, навек простился с ней.
 И молвил я: «Ты убиваешь
 Себя напрасною тоской.
 Он жив, он будет здесь — с тобой!
 О чем же слезы проливаешь?»

20

— «Нет, путник добрый, нет! поверь:
 Когда б я знала, что разбойник...
 Что прорубь темная... что зверь...
 Что нет его... что он покойник...
 Так что же? Золотым венцом
 Нельзя венчаться с мертвецом,—
 Но я бы с ним не разлучилась:
 Я б в белый саван нарядилась,
 Тихонько в гроб к нему легла —
 Навек моим бы назвала!
 У бога правда — не земная!
 Его закон — любовь святая;
 А я без слез не знаю дня.
 Отрада сердцу за могилой!
 Ты мне сказал, что жив мой милый?»

Он жив, хорош — не для меня!
И может быть, давно с другою
Злодей смеется надо мною!
И страшно мне, что, может быть,
Его не стану я любить!

21

На белом свете мне скитаться
Зачем? томиться, горевать,
В укорах совести бояться
То позабыть, что вспоминать
Так мило мне. — Заря ль алеет
На радость всем, — а я проснусь
И жду его — и не дождусь,
И всё кругом меня темнеет;
Ночные ль звезды зажжены,
И томны очи я закрою, —
Но мне и сонной нет покою...
Какая ночь! какие сны!
То на коне его выдаю;
Бегу за ним — не догоняю!
То между им и между мной
Овраг с тернистою травой.
Но, путник, ах! всех снов страшнее
Мой вещий, мой последний сон:
Под ивой темной, вижу, он
Со мной один — милей, нежнее,
Нет, никогда он не бывал,
И как божился, как ласкал!
Я в нем жила! я им дышала!
Но, лишь к груди его прижала —
В могилу он столкнул меня, —
И тма кругом! — но зрели очи
Все ужасы подземной ночи.
С тех пор на смерть проснулась я.
Молился, путник!» — и дрожала
Она, как лист, и мрачный яд
Опять затмил бродящий взгляд.
Она внезапно с камня встала
И быстро кинулась в сугроб.
«Я гибну! я горю! — вскричала. —
Он жжет меня, мой душный гроб!»

Я к ней стремлюсь; она трепещет,
Часовлю кажет мне рукой,
Где образ девы пресвятой,
Лампадой озаренный, блещет.
«Идти не смею я одна —
Мне кто-то шепчет: ты грешна!»
И пред стеклянными дверями,
Как снег бела и холодна,
Она простерлась со слезами,
Молитва бродит на устах;
Но как ее ни мучил страх,
Как грудь тоскою ни теснилась —
Она, страдальица, молилась,
В тревоге сердца своего,
Не за себя — а за него!

22

Тогда дорожка перед нами
Вдруг осветилась огоньком,
И вот крестьянка с фонарем
Идет поспешными шагами
За поселянкой молодой.
Она страдальицу искала,
Ей погрозила и сказала:
«Поди, Безумная, домой;
Поди скорей!» — и та небрежно
Встает и, голову склоня,
К селу тропинкою прибрежной
Пошла и — скрылась от меня.

23

О, сколько черных дум теснилось
Невольно в грудь! как сердце билось!
«Один позор, — воскликнул я, —
Теперь награда здесь твоя!
И ту, которой дни светлели,
Кто, как младенец в колыбели,
Поверила земной любви, —
Страданью люди обрекли;
За чувство, на небе святое,
Она несет стыда ярмо,
И уж прожгло чело младое
Безумья страшное клеймо!»

Но между тем уж исчезало
Мерцанье северных огней,
И небо синее блистало
В полночной красоте своей.
Мелькают звезды, месяц всходит;
Он блеск серебряный наводит
На снег окружный, на леса;
Всё неизменны небеса,
Всё та ж нетленность, та ж краса.
О, если б вы, страстей волненья,
Как метеор, как сновиденья,
Могли следов не оставлять;
А сердце, позабыв мученья,
Для новой жизни расцветать!..
Но вы — ничем не отразимы,
Безжалостны, неукротимы!
Промчитесь вы, когда оно
Уже навек умерщвлено.

Простяся с пышною Москвою,
Чрез то село я проезжал,
Где с поселянкой молодою
Зимой минувшей горевал.
Кладбище было недалеко;
Уж летний вечер пламенел,
И сельский мальчик, черноокой,
В тени берез играл и пел;
Он незабудки с васильками
На свежий дерн, резвясь, бросал
И мне чуть внятыми словами
На мой вопрос об ней сказал:
«Ее вот здесь похоронили;
Тужить не велено об ней;
Теперь бедняжке веселей!
Мы, дети, все ее любили.
Она кого-то всё ждала,
Не дождалась — и умерла».

Е.А.Баратынский



ЭДА

«Чего робеешь ты при мне,
Друг мильй мой, малютка Эда?
За что, за что наедине
Тебе страшна моя беседа?
Верь, не коварен я душой;
Там, далеко, в стране родной,
Сестру я добрую имею,
Сестру чудесной красоты;
Я нежно, нежно дружен с нею,
И на нее похожа ты.
Давно... что делать?.. но такая
Уж наша доля полковая!
Давно я, Эда, не видал
Родного счастливого края,
Сестры моей не целовал!
Лицом она, будь сердцем ею;
Мечте моей не измени
И мне любовию твою
Ее любовь напомним!
Мила ты мне. Веселье, муку,
Все жажду я делить с тобой:
Не уходи, оставь мне руку!
Доверься мне, друг мильй мой!»

С улыбкой вкрадчивой и льстивой
Так говорил гусар красивый
Финляндке Эде. Русь была
Ему отчизной. В горы Финна
Его недавно завела
Полков бродячая судьбина.
Суровый край, его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;

На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы.
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?
В доселе счастливой глуши,
Отца простого дочь простая,
Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках,
Летучий стан, власы златые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледно-голубые,
Подобно финским небесам.
День гаснул, скалы позлащая.
Пред хижинкой своей одна
Сидела дева молодая,
Лицом спокойна и ясна.
Подсел он скромно к деве скромной,
Завел он кротко с нею речь;
Ее не мыслила пресечь
Она в задумчивости томной,
Внимала слабым сердцем ей,—
Так роза первых вешних дней
Лучам неверным доверяет:
Почуя теплый ветерок,
Его лобзаньям открывает
Благоуханный свой шипок
И не предвидит хлад суровый,
Мертвящий хлад, дохнуть готовый.
В руке гусара моего
Давно рука ее лежала,

В забвенье сладком, у него
Она ее не отнимала.
Он к сердцу бедную прижал;
Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах,
И наконец в таких словах
Ему финляндка отвечала:
«Ты мной давно уже любим,
Зачем же нет? Ты добродушен,
Всегда заботливо послушен
Малейшим прихотям моим.
Они докучливы бывали;
Меня ты любишь, вижу я:
Душа признательна моя.
Ты мне любезен: не всегда ли
Я угождать тебе спешу?
Я с каждым утром приношу
Тебе цветы; я подарила
Тебе кольцо; всегда была
Твоим весельем весела;
С тобою грустным я грустила.
Что ж? Я и в этом погрешила:
Нам строго, строго не велят
Дружиться с вами. Говорят,
Что вероломны, злобны все вы,
Что вас бежать должны бы девы,
Что как-то губите вы нас,
Что пропадешь, когда полюбишь;
И ты, я думала не раз,
Ты, может быть, меня погубишь».
«Я твой губитель, Эда? я?
Тогда пускай мне казнь любую
Пошлет небесный судия!
Нет, нет! я с тем тебя целую!»
«На что? зачем? какой мне стыд!» —
Младая дева говорит.
Уж поздно. Встать, бежать готова
С негодованием она.
Но держит он. «Постой! два слова!

Постой! ты взорами сурова,
Ужель ты мной оскорблена?
О нет, останься: миг забвенья,
Минуту шалости прости!»
«Я не сержуся; но пусти!»
«Твой взор исполнен оскорбленья,
И ты лицом не можешь лгать:
Позволь, позволь для примиренья
Тебя еще поцеловать».
«Оставь меня!»

«Мой друг прекрасный!
И за ребяческую блажь
Ты неизвестности ужасной
Меня безжалостно предашь!
И не поймешь мое страданье!
И такова любовь твоя!
Друг милый мой, одно лобзанье,
Одно, иль ей не верю я!»

И дева бедная вздохнула,
И милый лик свой, до того
Отвороченный от него,
К нему тихонько обернула.

Как он самим собой владел!
С какою медленностью томной,
И между тем как будто скромный,
Напечатлеть он ей умел
Свой поцелуй! Какое чувство
Ей в грудь младую влил он им!
И лобызанием таким
Владеет хладное искусство!
Ах, Эда, Эда! Для чего
Такое долгое мгновенье
Во влажном пламени его
Пила ты страстное забвенье?
Теперь, полна в душе своей
Желанья смутного заботой,
Ты освежительной дремотой
Уж не сомкнешь своих очей;
Слетят на ложе сновиденья,
Тебе безвестные досель,
И долго жаркая постель
Тебе не даст успокоенья.

На камнях розовых твоих
Весна игриво засветледа,
И ярко-зелен мох на них,
И птичка весело запела,
И по гранитному одру
Светло бежит ручей сребристый,
И лес прохладой душистой
С востока веет поутру;
Там за горою дол таится,
Уже цветы пестреют там:
Уже черемух фимиам
Там в чистом воздухе струится:
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай, и в дол прекрасный
Не приходи, а сверх всего —
Беги гусара твоего!

Уже пустыня сном объята;
Встал ясный месяц над горой,
Сливая свет багряный свой
С последним пурпуром заката;
Двойная, трепетная тень
От черных сосен возлегает,
И ночь прозрачная сменяет
Погасший неприметно день.
Уж поздно. Дева молодая,
Жарка ланитами, встает
И молча, глаз не подымая,
В свой угол медленно идет.

Была беспечна, весела
Когда-то добренькая Эда;
Одною Эдой и жила
Когда-то девичья беседа;
Она приветно и светло
Когда-то всем глядела в очи:
Что ж изменить ее могло?
Что ж это утро облекло
И так внезапно в сумрак ночи?

Она рассеянна, грустна;
В беседах вовсе не слышна;
Как прежде, ясного привета
Ни для кого во взорах нет;
Вопросы долго ждут ответа,
И часто странен сей ответ;
То жарки щеки, то бесцветны,
И, тайной горести плоды,
Нередко свежие следы
Горючих слез на них заметны.

Бывало, слишком зашалит
Неосторожный постоялец,—
Она к устам приставит палец,
Ему с улыбкой им грозит.
Когда же ей он подарит
Какой-нибудь наряд дешевый,
Финляндка дивной ей обновой
Похвастать к матери бежит,
Меж тем его благодарит
Веселым книксом. Шаловливо
На друга сонного порой
Плеснет холодною водой
И убегает торопливо,
И долго слышен громкий смех.
Ее трудов, ее утех
Всегда в товарищи малюткой
Бывал он призван с милой шуткой.
Взойдет ли утро, ночи ль тень
На усыпленные холмы ляжет,
Ему красotka «добрый день»
И «добру ночь» приветно скажет.

Где время то? При нем она
Какой-то робостию ныне
В своих движеньях смущена;
Веселых шуток и в помине
Уж нет; незначащих речей
С ним даже дева не заводит,
Как будто стал он недруг ей;
Зато порой с его, очей
Очей задумчивых не сводит,
Зато порой наедине
К груди гусара вся в огне
Бедняжка грудью припадает,

И, страсти гибельной полна,
Сама уста свои она
К его лобзаньям обращает;
А в ночь бессонную, одна,
Одна с раскаяньем напрасным,
Сама волнением ужасным
Души своей устрасена,
Уныло шепчет: «Что со мною?
Мне с каждым днем грустней, грустней;
Ах, где ты, мир души моей!
Куда пойду я за тобою!»
И слезы детские у ней
Невольно льются из очей.

Она была не без надзора.
Отец ее, крутой старик,
Отчасти в сердце к ней проник.
Он подозрительного взора
С несчастной девы не сводил;
За нею следом он бродил,
И подсмотрел ли что такое,
Но только молодой шалун
Раз видел, слышал, как ворчун
Взад и вперед в своем покое
Ходил сердито; как потом
Ударил сильно кулаком
Он по столу и Эде бедной,
Пред ним трепещущей и бледной,
Сказал решительно: «Поверь,
Несдобровать тебе с гусаром!
Вы за углами с ним недаром
Всегда встречаетесь. Теперь
Ты рада слушать негодя.
Худому выучит. Беда
Падет на дуру. Мне тогда
Забота будет небольшая:
Кто мой обычай ни порочь,
А потаскушка мне не дочь».
Тихонько слезы отирая
У грустной Эды: «Что ворчать? —
Сказала с кротостию мать. —
У нас смиренная такая
До сей поры была она.

И в чем теперь ее вина?
Грешишь, бедняжку обижая».
«Да,— молвил он,— ласкай ее,
А я сказал уже свое».

День после, в комнатке своей,
Уже вечернею порою,
Одна, с привычною тоскою,
Сидела Эда. Перед ней
Святая Библия лежала.
На длань склоненная челом,
Она рассеянным перстом
Рассеянно перебирала
Ее измятые листы
И в дни сердечной чистоты
Невольной думой улетала.
Взошел он с пасмурным лицом,
В молчанье сел, в молчанье руки
Сжал на груди своей крестом;
Приметы скрытой, тяжкой муки
В нем все являло. Наконец:
«Долг от меня,— сказал хитрец,—
С тобою требует разлуки.
Теперь услышать милый глас,
Увидеть милые мне очи
Я прихожу в последний раз;
Покроет землю сумрак ночи
И навсегда разлучит нас.
Виною твой отец суровый,
Его укоры слышал я;
Нет, нет, тебе любовь моя
Не нанесет печали новой!
Прости!» Чуть дышаща, бледна,
Гусара слушала она.
«Что говоришь? Возможно ль? Ныне?
И навсегда, любезный мой!..»
«Бегу отселе; но душой
Останусь в милой мне пустыне.
С тобою видеть я любил
Потоки те же, те же горы;
К тому же небу возводил
С небесной радостию взоры;
С тобой в разлуке свету дня
Уже не радовать меня!

Я волю дал любви несчастной
И погубил, доверясь ей,
За миг летящий, миг прекрасный
Всю красоту грядущих дней.
Но слушай! Срок остался краткой:
Пугаясь ревнивых глаз,
Везде преследующих нас,
Доселе мельком и украдкой
Видались мы; моей мольбой
Не оскорбись. На расставанье
Позволь, позволь иметь с тобой
Мне безмятежное свиданье!
Лишь мраки ночи низойдут
И сном глубоким до денницы
Отяжелелые зеницы
Твои домашние сомкнут,
Приду я к тихому приюту
Моей любезной,— о, покинь
Девичий страх и на минуту
Затвор досадный отодвинь!
Прильну в безмолвии печальном
К твоим устам, о жизнь моя,
И в лобызании прощальном
Тебе оставлю душу я».

Прискорбно дева поглядела
На обольстителя; не смела,
Сама не зная почему,
Она довериться ему:
Бедою что-то ей грозило;
Какой-то страх в нее проник;
Ей смутно сердце говорило,
Что не был прост его язык.
Святая книга, как сначала,
Еще лежавшая пред ней,
Ей долг ее напоминала.
Ко груди трепетной своей
Прижав ее: «Нет, нет,— сказала,—
Зачем со злобою такой
Играть моею простотой?
Иль мало было прегрешений?
Еще ль, еще ль охотный слух
Склоню на голос искушений?
Оставь меня, лукавый дух!
Оставь, без новых угрызений».

Но вправду враг ему едва ль
Не помогал: с такою силой
Излил он ропот свой, печаль
Столь горько выразил, что жаль
Гусара стало деве милой;
И слезы падали у ней
В тяжелых каплях из очей.
И в то же время то моленья,
То пени расточал хитрец.
«Что медлишь? Дороги мгновенья! —
К ней приступил он наконец. —
Дай слово!» — «Всею душой тоскуя,
Какое слово дать могу я, —
Сказала, — сжалься надо мной!
Владею ль я сама собой!
И что я знаю!» Пылко, живо
Тут к сердцу он ее прижал.
«Я буду, жди меня!» — сказал.
Сказал и скрылся торопливо.

Уже и холмы и поля
Покрыты мраками густыми.
Смиранный ужин разделя
С неприхотливыми родными,
Вошла девица в угол свой;
На дверь задумчиво взглянула:
«Поверь, опасен гость ночной!» —
Ей совесть робкая шепнула,
И дверь ее заложена.
В бумажки мягкие она
Златые кудри завернула,
Снять поспешила как-нибудь
Дня одояния неловки,
Тяжелодышащую грудь
Освободила от шнуровки,
Легла и думала заснуть.
Уж поздно, полночь; но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
«Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?
Я своенравна в самом деле.
Пуцу его: ведь миг со мной
Пробудет здесь любезный мой,
Потом навек уйдет отселе».

Так мнит уж девица, и вот
С одра тихохонько встает,
Ко двери с трепетом подходит
И вот задвижки роковой
Уже касается рукой;
Вот руку медленно отводит,
Вот приближает руку вновь;
Железо двинулось — вся кровь
Застыла в девушке несчастной,
И сердце сжала ей тоска.
Тогда же чуждая рука
Дверь пошатнула: «Друг прекрасный,
Не бойся, Эда, это я!»
И, от смятенья дух тая,
Полна неведомого жара,
Девица бедная моя
Уже в объятиях гусара.

Увы! досталась в эту ночь
Ему желанная победа:
Чувств упоенных превозмочь
Ты не могла, бедняжка Эда!
Заря багрянит свод небес.
Восторг обманчивый исчез;
С ним улетел и призрак счастья;
Открылась бездна нищеты,
Слезами скорби платишь ты
Уже за слезы сладострастья!
Стыдясь пылающего дня,
На крае ложа рокового
Сидишь ты, голову склоня.
Взгляни на друга молодого!
Внимай ему: нет, нет, с тобой
Он не снесет разлуки злой;
Тебе все дни его и ночи;
Отец его не утрашит,
Он подозренья усыпит,
Обманет бдительные очи;
Твой будет он, покуда жив...
Напрасно все; она не внемлет,
Очей на друга не подъемлет,
Уста безмолвные раскрыв,
Потупя в землю взор незрящий;

Ей то же друга разговор,
Что ветер, бессмысленно свистящий
Среди ущелин финских гор.

Недолго, дева красоты,
Предателя чуждалась ты,
Томяся грустью безотрадной!
Ты уступила сердцу вновь:
Простила нежная любовь
Любви коварной и нещадной.

Идет поспешно день за днем.
Гусару дева молодая
Уже покорствуется во всем.
За ним она, как лань ручная,
Повсюду ходит. То четой
Приемлет их в полдневный зной
Густая сень дубровы сонной,
То зазовет дремучий бор,
То приглашают гроты гор
В свой сумрак неги благосклонный;
Но чаще сходятся они
В долу соседственном, глубоком.
В густой рябиновой сени
Над быстро льющим потоком
Они садятся на траву.
Порой любовник в томной лени
Послушной деве на колени
Кладет беспечную главу
И легким сном глаза смыкает.
Дух притаив, она внимает
Дыханью друга своего;
Древесной веткой отвечает
Докучных мошек от него;
Его волнистыми власами
Играет детскими перстами.
Когда ж подымет луну
И дикий край под ней задремлет,
В приют укромный свой она
К себе на одр его приемлет.

Но дева нежная моя
Томится тайною тоскою.
Раз обычайною порою
У вод любимого ручья
Они сидели молчаливо.

Любовник в тихом забытьи
Глядел на светлые струи,
Пред ним бегущие игриво.
Дорогой сорванный цветок
Он как-то бросил в быстрый ток.
Вдохнула дева молодая,
На друга голову склоня.
«Так,—прошептала,—и меня,
Миг полелея, полаская,
Так на погибель бросишь ты!»
Уста незлобной красоты
Улыбкой милой улыбнулись,
Но скорбь взяла-таки свое,
И на ресницах у нее
Невольно слезы навернулись.
Она косынку своей
Их отерла и, веселей
Глядеть стараяся на друга:
«Прости! Безумная тоска!
Сегодня жизнь моя сладка,
Сегодня я твоя подруга,
И завтра будешь ты со мной,
И день еще, и, статья может,
Я до разлуки роковой
Не доживу, господь поможет!»

Невинной нежностью не раз
Она любовника смущала
И сожаленье в нем подчас
И угрызенье пробуждала;
Но чаще, чаще он скучал
Ее любовию тоскливой
И миг разлуки призывал
Уж как свободы миг счастливый
Не тщетно!

Буйный швед опять
Не соблюдает договоров,
Вновь хочет с русским испытать
Неравный жребий бранных споров.
Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья,—
Война, война! Грядущий день—
День рокового разлученья.



Нет слез у девы молодой.
Мертва лицом, мертва душой,
На суету походных сборов
Глядит она: всему конец!
На ней встревоженный хитрец
Остановить не смеет взоров.
Стустилась ночь. В глубокий сон
Все погрузилось. Унылый,
В последний раз идет он к милой.
Ей утешенья шепчет он,
Ее лобзает он напрасно.
Внимает, чувства лишена;
Дает лобзать себя она,
Но безответно, безучастно!
Мечтанья все бежали прочь.
Они томительную ночь
В безмолвной горести проводят.
Уж в путь зовет сиянье дня,
Уже ретивого коня
Младому воину подводят,
Уж он садится. У дверей
Пустынной хижины своей
Она стоит, мутна очами.
Девушка бедная, прости!
Уж по далекому пути
Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам...
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простерла их потом
И в прах поверглася лицом
С глухим стenanьем смертной муки.

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют за скалами,
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной девицей моей?

Потух огонь ее очей;
В ней Эды прежней нет и тени,
Изнемогает в цвете дней;
Но чужды слезы ей и пени.
Как небо зимнее, бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит, и бури вой мятежный
Уньло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой уют
И на нее сутроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?»

Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь ее отыщет,

Кто с нежной грустью навестит?
Кругом все пусто, все молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.

ЭПИЛОГ

Ты покоришься, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.

Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
И все напрасно! Чудный клад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его лдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орел наш грозный возлетел!
Он в нем узнал орла Полтавы!
Все покорилось. Но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.
Питомец муз, питомец боя,
Тебе, Давыдов, петь ее.
Венком певца, венком героя
Чело украшено твое.
Ты видел финские граниты,
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строй.
Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!

БАЛ

Глухая полночь. Строем длинным,
 Осеребренные луной,
 Стоят кареты на Тверской
 Пред домом пышным и старинным.
 Пылает тысячью огней
 Обширный зал; с высоких хоров
 Ревут смычки; толпа гостей;
 Гул танца с гулом разговоров.
 В роскошных перьях и цветах,
 С улыбкой мертвой на устах,
 Обыкновенной рамой бала,
 Старушки светские сидят
 И на блестящий вихорь зала
 С тупым вниманием глядят.

Кружатся дамы молодые,
 Не чувствуют себя самих;
 Драгими камнями у них
 Горят уборы головные;
 По их плечам полунагим
 Златые локоны летают;
 Одежды легкие, как дым,
 Их легкий стан обозначают.
 Вокруг пленительных харит
 И суетится и кипит
 Толпа поклонников ревнивых;
 Толкует, ловит каждый взгляд;
 Шутя, несчастных и счастливых
 Вертушки милые творят.

В движенъе всё. Горя добиться
 Вниманья лестного красы,
 Гусар крутит свои усы,
 Писатель чопорно острится,
 И оба правы: говорят,
 Что в то же время можно дамам,
 Меняя слева взгляд на взгляд,
 Смеяться справа эпиграммам.
 Меж тем и в лентах и в звездах,
 Порою с картами в руках,
 Выходят важные бояры,

Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Но гости глухо зашумели,
Вся зала шепотом полна:
«Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей». — «Ужели?»
«В кадрили весело вертяться,
Вдруг помертвела!» — «Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею?» — «Бог весть,
Мигрень, конечно!.. В сюрсах шесть».
«Что с ней, кузина? танцевали
Вы в ближней паре, видел я?
В кругу пристойном не всегда ли
Она как будто не своя?»

Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит,
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

Но как влекла к себе всеильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбались умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,

Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?

Как в близких сердцу разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те;
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшись вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

Так, не сочувствия прямого
Могуществом увлечена —
На грудь роскошную она
Звала счастливицу молодого;
Он пересоздан был на миг
Ее живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно видение свое.
И гасла вдруг мечта ее:
Она вдалась в обман досадный,

Ее прельститель ей смешон,
И средь толпы Лаисе холодной
Уж неприметен будет он.

В часы томительные ночи,
Утех естественных чужда,
Так чародейка иногда
Себе волшебством тешит очи:
Над ней слились из облаков
Великолепные чертоги;
Она на троне из цветов,
Ей угрождают полубоги.
На миг один восхищена
Живым видением она;
Но в ум приходит с изумленьем,
Смеется сердца забвению
И с тьмой сливает мановеньем
Мечту блестящую свою.

Чей образ кисть нарисовала?
Увы! те дни уж далеко,
Когда княгиня так легко
Воспламенялась, остывала!
Когда, - питомице прямой
И Эпикура и Ниноны,
Летучей прихоти одной
Ей были ведомы законы!
Посланник рока ей предстал;
Смущенный взор очаровал,
Проработил воображенье,
Слиял все мысли в мысль одну
И пролил страстное мученье
В глухую сердца глубину.

Красой изнеженной Арсений
Не привлекал к себе очей:
Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах —
Усмешка праздная блуждала.
Он незадолго посещал
Края чужие; там искал,

Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Предстал он в дом моей Лаисы,
И остряков задорный полк
Не знаю как пред ним умолк —
Главой поникли Адонисы.
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким
Судил разборчиво певца,
Знал цену кисти и резца,
И, сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.

Неодолимо, как судьбина,
Не знаю, что в игре лица,
В движенье каждом прищлеца
К нему влекло тебя, о Нина!
С него ты не сводила глаз...
Он был учтив, но хладен с нею.
Ее смущал он много раз
Улыбкой опытной своею;
Но, жрица давняя любви,
Она ль не знала, как в крови
Родить мятежное волненье,
Как в чувства дикий жар вдохнуть...
И всемогущее мгновенье
Его повергло к ней на грудь.

Мои любовники дышали
Согласным счастьем два-три дни;
Через день-другой потом они
Несходство в чувствах показали.
Забвенья страстного полна,
Полна блаженства жизни новой,
Свободно, радостно она
К нему ласкалась; но суровый,
Унылый часто зрелся он:
Пред ним летал мятежный сон;
Всегда рассеянный, судьбину,

Казалось, в чем-то он винил,
И, прижимая к сердцу Нину,
От Нины сердце он таил.

Неблагодарный! Им у Нины
Все мысли были заняты:
Его любимые цветы,
Его любимые картины
У ней являлись. Не раз
Блистали новые уборы
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне убран кабинет,
Где сладострастный полусвет,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легкий пар—
Животворило все желанья,
Вливало в сердце томный жар.

Вотще! Он предан был печали.
Однажды (до того дошло)
У Нины вспыхнуло чело
И очи ярко заблестали.
Страстей противных беглый спор
Лицо явило. «Что с тобою,—
Она сказала,— что твой взор
Все полон мрачною тоскою?
Досаду давнюю мою
Я боле в сердце не таю:
Печаль с тобою неразлучна;
Стыжусь, но ясно вижу я:
Тебе тяжка, тебе докучна
Любовь безумная моя!

Скажи, за что твое презренье?
Скажи, в сердечной глубине
Ты нечувствителен ко мне
Иль недоверчив? Подозренье
Я заслужила. Старины
Мне тяжело воспоминанье:
Тогда всечасной новизны
Алкало у меня мечтанье;
Один кумир на долгий срок
Поработить его не мог;

Любовь сегодняшняя трудно
Жила до завтрашнего дня,—
Мне вверить сердце безрассудно,
Ты прав, но выслушай меня.

Беги со мной—земля велика!
Чужбина скроет нас легко,
И там безвестно, далеко,
Ты будешь полный мой владыка.
Ты мне Италию порой
Хвалил с блестящим увлеченьем;
Страну, любимую тобой,
Узнала я воображеньем;
Там солнце пышно, там луна
Восходит, сладости полна;
Там вьются лозы винограда,
Шумят лавровые леса,—
Туда, туда! с тобой я рада
Забить родные небеса.

Беги со мной! Ты безответен!
Ответствуй, жребий мой реши.
Иль нет! зачем? Твоей души
Упорный холод мне приметен;
Молчи же! не нуждаюсь я
В словах обманчивых,—довольно!
Любовь несчастная моя
Мне свыше казнь... но больно, больно!...»
И зарыдала. Возмущен
Ее тоской: «Безумный сон
Тебя увлек,—сказал Арсений,—
Невольный мрак души моей—
След прежних жалких заблуждений
И прежних гибельных страстей.

Его со временем рассеет
Твоя волшебная любовь;
Нет, не тревожься, если вновь
Тобой сомненье овладеет!
Моей печали не вину!».
День после, мирною четою,
Сидели на софе они.
Княгиня томною рукою
Обняла друга своего
И прилегла к плечу его.

На ближний столик, в думе скрытной
Облокотясь, Арсений наш
Меж тем по карточке визитной
Водил небрежный карандаш.

Давно был вечер. С легким треском
Горели свечи на столе,
Кумиров мрамор в дальней мгле
Кой-где блистал неверным блеском.
Молчал Арсений, Нина тож.
Вдруг, тайным чувством увлеченный,
Он восклицает: «Как похож!»
Проснулась Нина: «Друг бесценный,
Похож! Ужели? мой портрет!
Взглянуть позволъ... Что ж это? Нет!
Не мой: жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах!

Скажу, красавица такая
Меня затмила бы совсем...»
Лицо княгини между тем
Покрыла бледность гробовая.
Ее дыханье отошло,
Уста застыли, посинели;
Увлажил хладный пот чело,
Непомертвельные блестели
Глаза одни. Вещать хотел
Язык мятежный, но коснел,
Слова сливались в лепетанье.
Мгновенье долгое прошло,
И наконец ее страданье
Свободный голос обрело:

«Арсений, видишь, я мертвею;
Арсений, дашь ли мне ответ!
Знаком ты с ревностию?.. Нет!
Так ведай, я знакома с нею,
Я к ней способна! В старину,
Меж многих редкостей Востока,
Себе я выбрала одну...
Вот перстень... с ним я выше рока!
Арсений! мне в защиту дан
Могучий этот талисман;

Знай, никакое злключенье
Меня при нем не утрашит.
В глазах твоих недоуменье,
Дивишься ты! Он яд таит».

У Нины руку взял Арсений:
«Спокойна совесть у меня,—
Сказал,—но дожил я до дня
Тяжелых сердцу откровений.
Внимай же мне. С чего начну?
Не предавайся гневу, Нина!
Другой дышал я в старину,
Хотела то сама судьбина.
Росли мы вместе. Как мила
Малютка Оленька была!
Ее мгновеньями иными
Еще я вижу пред собой
С очами темно-голубыми,
С темно-кудрявой головой.

Я называл ее сестрою,
С ней игры детства я делил;
Но год за годом уходил
Обыкновенной чередою.
Исчезло детство. Притекли
Дни непонятного волненья,
И друг на друга возвели
Мы взоры, полные томленья.
Обманчив разговор очей.
И, руку Оленьки моей
Сжимая робкою рукою,
«Скажи,—шептал я иногда,—
Скажи, любим ли я тобою?»
И слышал сладостное да.

В счастливый дом, себе на горе,
Тогда я друга ввел. Лицом
Он был приятен, жив умом;
Обворожил он Ольгу вскоре.
Всегда встречались взоры их,
Всегда велся меж ними шепот.
Я мук язвительных моих
Не снес—излил ревнивый ропот.
Какой же ждал меня успех?
Мне был ответом детский смех!

Ее покинул я с презреньем,
Всю боль души в душе тая.
Сказал «прости» всему, но мщеньем
Сопернику поклялся я.

Всечасно колкими словами
Скучал я, досаждал ему,
И по желанью моему
Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал я телом здоров,
Но сердцем болен. Что прибавить?
Бежал я в дальние края;
Увы! под чуждым небом я
Томился тою же тоскою.
Родимый край узрев опять,
Я только с милою тобою
Душою начал оживать».

Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела;
Но от руки его потом
Освободив тихонько руку,
Вдруг содрогнулася лицом,
И все в нем выразило муку.
И, обессилена, томна,
Главой поникнула она.
«Что, что с тобою, друг бесценный?» —
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
«Друг милый, что ты?» — «Ничего».

Еще на крыльях торопливых
Промчалось несколько недель
В размолвках бурных, как досель,
И в примиреньях несчастливых.
Но что же, что же напослед?
Сегодня друга нет у Нины,
И завтра, послезавтра нет!
Напрасно, полная кручины,
Она с дверей не сводит глаз
И мнит: он будет через час.
Он позабыл о Нине страстной;

Он не вошел, вошел слуга,
Письмо ей подал... миг ужасный!
Сомненья нет: его рука!

«Что медлить,— к ней писал Арсений,—
Открыться должно... Небо! в чем?
Едва владею я пером,
Ищу напрасно выражений.
О Нина! Ольгу встретил я;
Она поныне дышит мною,
И ревность прежняя моя
Была неправой и смешною.
Удел решен. По старине
Я верен Ольге, верной мне.
Прости! твое воспоминанье
Я сохраню до поздних дней;
В нем понесу я наказанье
Ошибок юности моей».

Для своего и для чужого
Незрима Нина; всем одно
Твердит швейцар ее давно:
«Не принимает, нездорова!»
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем;
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она, недвижимая, немая,
Сидит и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери падают, растворясь:
Муж не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.

И вот садится. В размышленье
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он;
И наконец: «С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты;
Ей-ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомнись тебе пора.
Сегодня бал у князь Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай;

Там будут наши молодые,
Арсений с Ольгой. Поезжай.
Ну что, поедешь ли?» — «Поеду», —
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. «Дело, — молвил князь, —
Прощай, спешу я в клуб к обеду».
Что, Нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживить ее умело,
Ужель надежда? Торопясь
Часы летят; уехал князь;
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.

Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело ее облегал,
И, меж обильными косами
Рукой искусной пропущен,
То видим, то невидим он,
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след!
В стекле живом и беспристрастном
Княгиня бедная моя
Глядяся, мнит: «И это я!
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет,
Пускай узрит свое творенье
И всю вину свою поймет».

Другое тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:
«Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье!
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она!
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою
Хоть вполовину, хоть на час...»
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.

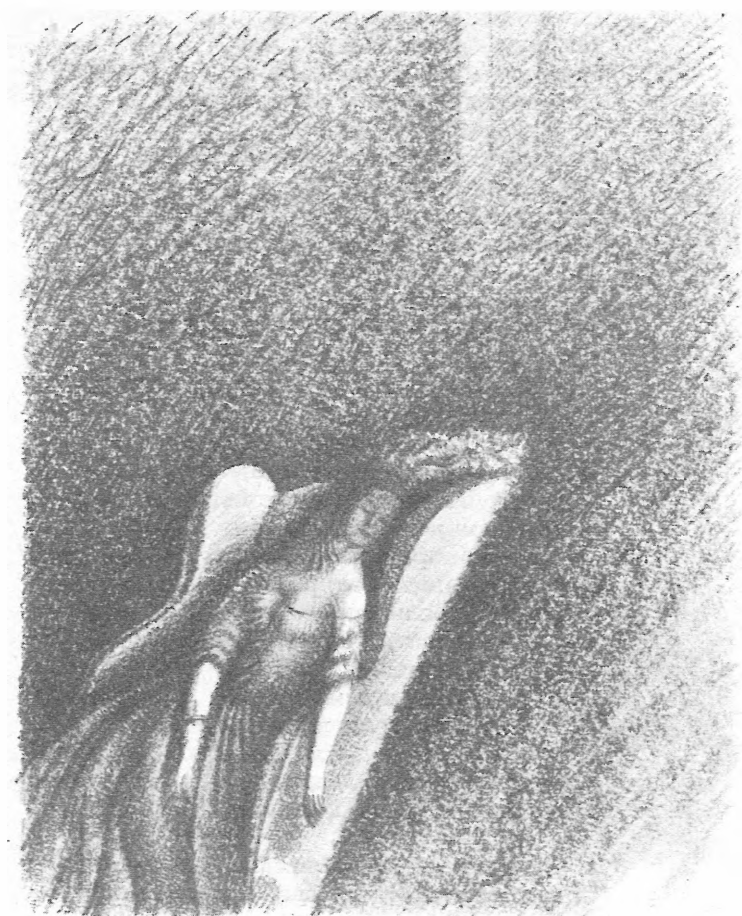
Она явилася на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В ярко блестящей, пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой,
И, словом, этот вихрь утех,
Большым душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?
Иль лишним счастьем блистало
Лицо у Ольги молодой?
Что б ни было, ей дурно стало,
Она уехала домой.

Глухая ночь. У Нины в спальней,
Лениво споря с темнотою,
Перед иконой золотой
Лампада точит свет печальный.
То пропадет во мраке он,
То заиграет на окладе;
Кругом глубокий, мертвый сон!
Меж тем в блистательном наряде,
В богатых перьях, жемчугах,
С румянцем странным на щеках,
Ты ль это, Нина, мною зрима?
В переливающейся мгле
Зачем сидишь ты недвижима,
С недвижной думой на челе?

Дверь заскрипела, слышит ухо
Походку чью-то на полу;
Перед иконою, в углу,
Стал и закашлял кто-то глухо.
Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка,
Светильня сонная очнулась,
И свет неожиданный и живой
Вдруг озаряет весь покой:
Княгини мамушка седая
Перед иконою стоит,
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.

Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой;
Вдруг видит Нину пред собой,
На полпути остановилась.
Глядит печально на нее,
Качает старой головою:
«Ты ль это, дитяtko мое,
Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя бог знает о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно;
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечешь каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нем кроткая такая,—
Всечасно вышнего творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла бога... да,
Не ходишь в церковь никогда;
Поверь, кто господа оставит,
Того оставит и господь;
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!



Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком,
Прости, дай ручку мне». Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула —
Рука ледяно-холодна.
В лицо ей с трепетом взглянула —
На ней поспешный смерти ход;
Глаза стоят и в пене рот...
Судбина Нины совершилась,
Нет Нины! ну так что же? нет!
Как видно, ядом отравилась,
Сдержала страшный свой обет!

Уже билеты роковые,
Билеты с черною каймой,
На коих бренности людской
Трофеи, модой принятые,
Печально поражают взгляд;
Где сухощавые Сатурны
С косами грозными сидят,
Склонясь на траурные урны;
Где кости мертвые крестом
Лежат разительным гербом
Под гробовыми головами, —
О смерти Нины должну весть
Узаконенными словами
Спешат по городу разнести.

В урочный день, на вынос тела,
Со всех концов Москвы большой
Одна карета за другой
К хоромам князя полетела.
Обсев гостиную кругом,
Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье;
Оно росло, росло, росло
И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.

Богатый гроб несчастной Нины,
Священством пышным окружен,
Был в землю мирно опущен;
Свет не узнал ее судьбины.
Князь, без особого труда,
Свой жребий вышней воле предал.
Поэт, который завсегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть ее стишки.
Обильна слухами столица;
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.

ЦЫГАНКА

Глава I

— Прощай, Елецкой: ты невесел,
И рассветает уж давно;
Пошло мне впрок твое вино:
Ух! я встаю насилу с кресел!
Не правда ль, братцы, по домам?
— Нет! пусть попляшет прежде нам
Его цыганка. Ангел Сара,
Ну что? потешить нас нельзя ль?
Ступай, я сяду за рояль.
— Могу сказать, вас будет пара:
Ты охмелен, и в сон она
Уже давно погружена.
Прощайте, господа!..

Гуляки
Встают, шатаясь на ногах;
Берут на стульях, на столах
Свои разбросанные фраки,
Свои мундиры, сюртуки;
Но, доброй воле вопреки,
Неспоры сборы. Шляпу на лоб
Надвинув, держит пред собой
Стакан недопитый иной
И рассуждает: «Надлежало б...»
Умом и телом недвижим,
Он долго простоит над ним.
Другой пред зеркалом на шею
Свой галстук вяжет, но рука
Его тяжка и неловка:
Все как-то врозь идут под нею
Концы проклятого платка.
К свече приставя трубку задом,
Ждет третий пасмурный чудака,
Когда закурится табак.
Лихие шутки сыплют градом.
Но полно: вон валит кабак.
— Прощай, Елецкой, до свиданья!
— Прощайте, братцы, добрый путь!—
И, сокращая провожанья,
Дверь поспешает он замкнуть.

Один оставшись, Елецкой
Брюзгливым оком обозрел
Покой, где праздник молодецкой
Порой недавнею гремел.
Он чувство возбуждал двойное:
Великолепье отжилое,
Штоф полинялый на стенах;
Меж окон зеркала большие,
Но все и в пятнах и в лучах;
В пыли завесы дорогие,
Давно не чищенный паркет;
К тому же буйного разгуля
Всегдашний безобразный след:
Тут опрокинутые стулья,
Везде табачная зола,
Стаканы среди стола
С остатками задорной влаги;
Тарелки жирные кругом;
И вот, на выпуске печном,
Строй догоревших до бумаги
И в блеске утренних лучей
Уже бледнеющих свечей.
Открыв рассеянной рукою
Окно, Елецкой взор тупой,
Взор, отуманенный мечтой,
Уставил прямо пред собою.
Пред ним, светло озарена
Наставшим утром, ото сна
Москва торжественно вставала.
Под раннею лазурной мглой
Блестящей влагой блеск дневной
Река местами отражала;
Аркада длинного моста
Белела ярко. Чуден, пышен,
Московских зданий красота,
Над всеми зданьями возвышен,
Огнем востока Кремль алел.
Зажгли лучи его живые
Соборов главы золотые;
Меж ними царственно горел
Иван Великий. Сад красивый,
Кругом твердыни горделивой
Вияся, живо зеленел.

Но он на пышную столицу
Глядел с душевною враждой.
За что? О том в главе другой
Найдут особую страницу.
Он был воскормлен сей Москвой.
Минувших дней воспоминанья
И дней грядущих упованья —
Всё заключал он в ней одной;
Но странной доли нес он бремя,
И был ей чуждым в то же время,
И чуждым больше, чем другой.

Глава II

Отца и матери Елецкой
Лишился в годы те, когда
Обыкновенно жизни светской
Нам наступает череда.
И свет узнал он, и сначала
Являлся в вечер на три бала;
С визитной карточкой порой
Летел на выезд городской.
Согласно с общим заведеньем,
Он в праздник пасхи, в Новый год
К дядям и теткам с поздравленьем
Скакал с прихода на приход...

Живее жизнью насладиться
Алкал безумец молодой
И начал с первых дней томиться
Пределов светских теснотой.
Ему в гостиных стало душно:
То было глупо, это скучно.
Из них Елецкой мой исчез,
И на желанном им просторе
Житьем он новым зажил вскоре
Между буянов и повес.
Развратных, своевольных правил
Несчастный кодекс он составил;
Всегда ссылалось на него
Его блажное болтовство.
Им проповедуемых мнений
Иль половины их большой,

Наверно, чужд он был душой,
Причастной лучших вдохновений;
Но, мысли буйством увлечен,
Вдвойне молву озлобил он.

С Москвой и Русью он расстался,
Края чужие посетил;
Там промотался, проигрался
И в путь обратный поспешил.
Своим пенатам возвращенный,
Всему решительным венцом,
Цыганку взял к себе он в дом;
И, общим мнением пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь.

Тут нашей повести начало.
Неделя светлая была
И под Новинское звала
Граждán московских. Все бежало,
Все торопилось: стар и млад,
Жильцы лачуг, жильцы палат,
Живою, смешанной толпою,
Туда, где, словно сам собою,
На краткий срок в единый миг,
Блистая пестрыми дворцами,
Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник:
Столица легкая безделья
И бесчиновного веселья,
Досуга русского кумир!
Там целый день разгульный пир;
Там раздаются звуки трубны,
Звенят, гремят литавры, бубны;
Паясы с зыбких галерей
Зовут, манят к себе гостей.
Там клепер знает чёт и нечет;
Ножи проворные венцом
Кругом себя индеец мечет
И бисер нижет языком.
Гордясь лихими седоками,
Там одноколки, застучав,
С потешных гор летят стремглав.

Своими длинными шестами
Качели крашенные там
Людей уносят к небесам.
Волшебный праздник довершая,
Меж тем с веселым торжеством
Карет блестящих цепь тройная
Катится медленно кругом.

Меж балаганов оживленных,
Ежеминутно осажденных
Нетерпеливою толпой,
Давно бродил Елецкой мой.
Окинув взорами собранье,
В одном остановил вниманье
Он на девице молодой.
Своими чистыми очами,
Своими детскими устами,
Своей спокойной красотой,
Одушевленной выраженьем
Сей драгоценной тишины,
Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны.
Давно он знал ее заочно.
С его глазами ненарочно
Глазами встретила она;
Их выраженьем смущена,
Покрылась краскою живою
И отвела тихонько взор.
Охвачен бедственной межою,
Не зрел Елецкой с давних пор
Румянца этого святого!
Упавший дух подъемля в нем,
Он был для путника ночного
Денницы розовым лучом.
Он к милой думой умиленной
Летит. Меж тем она встает;
Девице руку подает
Ее сосед, старик почтенной;
Из балагана идут вон —
И их в толпе теряет он.

Узнать, душою не в покое,
Он жаждет имя дорогое!
И незнакомка названа.

Гражданка сферы той она,
Того злопамятного света,
С кем в опрометчивые лета,
В избытке гордом юных сил,
Сам в бой неровный он вступил.
Смягчит ли идол оскорбленный
Он жертвой позднею своей?
Против него предубежденной,
Предстать осмелится ли ей?
И всех преград он сам виною!
Меж тем в борьбе его с молвою
Прошло, промчалось много дней.
Елецкой мыслил промежутком;
Полней других созрел рассудком
Он в самом опыте страстей,
И наконец среди пороков,
Кипевших роем вокруг него,
И ядовитых их уроков,
И омраченья своего
В душе сберег он чувства пламя.
Елецкой битву проиграл,
Но, побежденный, спас он знамя
И пред самим собой не пал.

Глава III

Незамечаем и неведом,
За милою бродил он следом;
В тени задумчивых дубров
Прекрасных Пресненских прудов,
В аллеях стриженных бульвара,
Между красавиц городских
Искал он девы дум своих.
Не для блистательного дара
Актеров наших посещал
Он душный театральный зал—
Елецкой, сцену забывая,
С той ложи не сводил очей,
В которой Вера молодая.
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней.
Вкусив неполное свиданье,
Елецкой приходил домой
Исполнен мукою двойной;

Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.

Однажды... погасал, свежая,
Июльский день. Бульвар Тверской
Дремал под нисходящей мглой;
Пустела длинная аллея;
Царица тишины и сна,
Высоко поднялась луна.
Но со знакомыми своими
Еще, в болтливом забытье,
Сидела Вера на скамье.
В соседстве, не замечен ими,
За липой темной и густой,
Стоял влюбленный наш герой.
Перчатку Вера уронила.
Поспешно поднял он ее
И подал ей. Лицо свое
К нему с испугом обратила
Младая дева. Разговор
Прервав, на нем остановила
Встревоженный, но долгий взор.
Судьбу, душой своей довольной,
Он и за то благодарил.
Елецкой Веру поразила
Своей услугой своевольной,
И, хоть на час, ее мечта
Им, верно, будет занята.

Что ж! и сомнительное счастье
Мгновенных, бедных этих встреч
Ему осеннее ненастье
Не позамедлило пресечь.
Покрылось небо облаками;
Дождь бесконечный ливня лил;
И вот мороз его сменил.
Застыли воды, снег клоками
На мостовую повалил,—
Пришла зима. Свистя, крутится
Метель на Пресненских прудах,
На обнаженных деревьях
Бульвара иней серебрится.

Там, где недавно порой
Гуляли грации толпой,
Какой-нибудь жандарм усатый,
Шагая, шпорами стучит;
С метлой стоит мужик брадатый
Иль школьник с сумкою бежит.
Для балов, вечеров при этом
Театр оставлен модным светом.
Елецкой мрачен и сердит...
Но вот в известном маскараде
Должна быть Вера. Ожил он
И в полнадежде, в полдосаде
Лелеет деятельный сон.

Живая музыка играет;
Кадрили вьются ей под лад,
Кипит, пестреет маскарад.
В его затею не вступает,
И кстати, большинство гостей;
В тени их он еще видней.
Призраки всех веков и наций,
Гуляют феи, визири,
Полишинели, дикари,
Их мучит бес мистификаций;
Но не выходит хитрых фраз:
«Я знаю вас! я знаю вас!..»
Ни у кого для продолженья
Недостает воображенья.
Признаться надобно: не нам,
Сугробов северных сынам,
Приноровляться к детям юга!
Метелей дух не создал нас
Для их блистательных проказ.
К чему неловкая натуга?
Мы сохраняем холод свой
В приемах живости чужой.

Елецкой из ряду выходит
И Веру чуть с ума не сводит.
Успел разведать он о ней
Довольно этих мелочей,
В которых тайны роковые
Девы видят молодые.

В словах запутанных своих
 Он намекает ей о них;
 И, удивленья и смущенья
 Полна, горит она лицом
 И вот выходит из терпенья.
 «Я как обманутая сном!
 Скажите, ради бога, кто вы?»

Елецкой

Вы любопытны, как дитя.
 Итак, со мною не шутя
 Вы познакомитесь готовы? . .
 Нежданн^{ым} именем моим
 Я испугаю вас.

Вера

Как скучно!

Все шутки.

Елецкой

Я не склонен к ним
 И остерег вас добродушно.
 Я дух... и нет глуши, жилья,
 Где б я, незримый, не был с вами.
 Все чутким ухом слышу я,
 Все вижу зоркими очами.
 Не бойтесь! слушаю, гляжу
 Я с полной преданностью дружбы;
 Неожидаемые службы
 Я вам догадливо служу;
 Однажды перед ваши очи
 Я в виде смертного предстал;
 В ту пору сумрак летней ночи
 Мне образ видимый давал...
 Вы узнаете?

Вера

Ваши сказки

Вы продолжите до утра.
 Смотрите: все снимают маски,
 Снимите же свою, пора!

Елецкой

Не мне. Оставьте убежденья.
 Я не исполню ваш приказ.

Лицо открыл бы я для вас
Без выраженья, без значенья.
Нет, нет: я вспомню веселей
Сей разговор непринужденный,
Почти нежданно уловленный
Счастливой маскою моей,
Чем взор холодного смущенья,
Который на лицо мое
Вперите вы, когда ее
Сниму я вам из угоденья.
Нет, я б не мог его снести!
Прощайте; я не здешний житель,
В мою безвестную обитель
Я должен вовремя сойти.

Елецкой тихо удалился;
Уж был у выхода и зал
Совсем, казалось, покидал,
Но у дверей остановился:
Взглянуть он раз еще желал
На Веру... Тихий взор он встретил,
Мольбу немую в нем заметил,
Укор в нем дружеский постиг
И скинул маску. В этот миг
Пред ним лицо другое стало,
Очами гневными сверкало
И дико поднятой рукой
Грозило Вере и пропало
С Елецким вместе за толпой.

Глава IV

Едва веселыми лучами
День новый окна озлатил,
Елецкой скорыми шагами
Уже по комнате ходил.
Порой, в забвении глубоком
Остановясь, прилежным оком
Во что-то всматривался он.
Во взорах счастье выражалось;
Перед душой его, казалось,
Летал веселый, светлый сон.
Через мгновенье пробужденный
Он, тем же чувством озаренный,

Свою прогулку продолжал
И скоро снова прерывал.
В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом.
Усталость выражали очи:
Казалось, в продолжение ночи
Их Сара не смыкала сном.
Она порывисто чесала
Густые, черные власы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала.
Она склонялась головой,
Но на Елецкого порой
Взор исподлобья подымала.
Какою злобой он дышал!
Другой мечты душою полон,
Подруги он не замечал;
К ней напоследок подошел он.
«Что это смотришь ты совой? —
Сказал он. — Сара, что с тобой?
Да молви слово!»

Сара

Ах, мой боже!
Ты ждешь ответа моего?
Вот он: я знаю, отчего
Ты так доволен!

Елецкой

Отчего же?

Сара

Меня ты думал обмануть,
Когда вчера, кривя душою,
Ты мне с заботою такую
Скорей советовал заснуть!
«Устала, Сара? Дремлешь, Сара?
Ляг, Сара, спать!» И я легла,
Да уж нарочно не спала!
Давно грозит мне эта кара!
Давно я брошена тобой!
Ты сутки целые порой
Двух слов со мной не произносишь,
Любимых песен петь не просишь!

Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела?
Ее вчера я разглядела:
Совсем, совсем не хороша!

Елецкой

Так вот в чем дело!

Сара

Сара знает,
Какая ждет ее судьба
За то, что служит, угождает
Тебе по воле, как раба:
Со знатной барышней своею
Ты обвенчаешься, а с нею
Простишься, и ее на двор
Метлою выметут, как сор.

Елецкой

Ты совершенно сумасбродишь!
Какие странные мечты!
По пустякам горюешь ты
И на меня тоску наводишь.

Сара

А кто, бывало, говорил,
Ко мне ласкаясь то и дело:
«Тебя я, Сара, полюбил.
Жить одному мне надоело,
Будь мне подругою! со мной
Живи под кровлею одной!
Я нравом весел; живо, шумно,
В пирах и песнях завсегда
Мы будем проводить года».
Я согласилась безумно.
Что ж вышло?

Елецкой

Из моих речей
Тобой забыта половина.
Я говорил: твоя судьбина
Не будет скована с моей!

Покуда любо жить со мною,
 Живи! наскучило — прощай,
 Былую радость поминай!
 С твоей свободой той порою
 Я выговаривал мою.
 Но я тебя не узнаю!
 И, сердце будущим тревожа,
 Ты на цыганку не похожа.
 Ваш род беспечен.

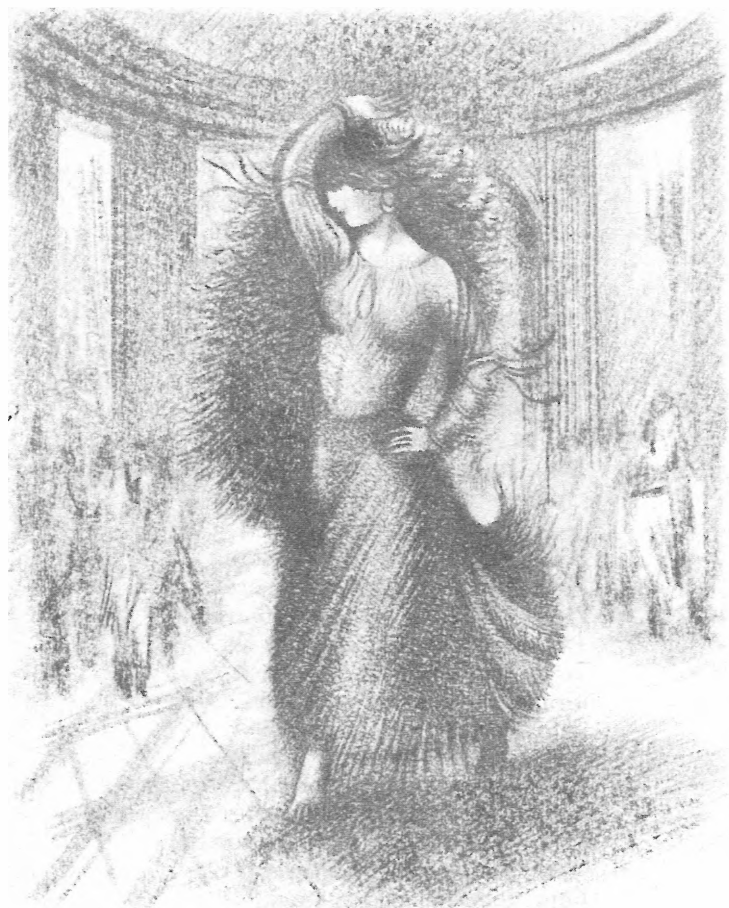
Сара

Проклят он!
 Он человечества лишен!
 Нам чужды все края мирские!
 Мы на обиды рождены!
 Забавить прихоти чужие
 Для пропитанья мы должны.
 Я о себе молчу: цыганка
 Вам не подруга, а служанка!
 Она пляши и распевай,
 А сердцу воли не давай.

Елецкой

Оставь пустые опасенья,
 Не разлучимся мы с тобой.
 Хотя другого поколенья,
 Родня я вашему судьбой.
 И я, как вы, отвержен светом,
 И мне враждебен сердца глас...
 Не распадется, верь мне в этом,
 Цепь, сопрягающая нас.

Когда с цыганкой молодою
 Судьба Елецкого свела,
 Своей разгульною душою
 Она мила ему была.
 «Я горя знать не буду с нею.
 Каких тяжелых, черных дум,
 Мне иногда гнетущих ум,
 Свободной резвостью своею
 Не удалит она сейчас?
 Кому при блеске этих глаз
 Приснятся мрачные печали?»



Так думал он; но дни мелькали;
К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой.
Ему потом уж стали в бремя
Затеи девы удалой.
Не принимая в них участия,
Уж он желал другого счастья:
Души, с которой мог бы он
Делиться всей своей душою.
Надеждой томной увлечен,
Он Саре пробовал порою
Передавать свои мечты;
Но образованного чувства
Язык для дикой красоты
Был полон странной темноты.
Она, не ведая искусства,
Под речи друга своего
Без всякой совести зевала
Иль в скором времени его
Сторонней шуткой прерывала;
Но смутно трогалась, и ей
Невразумительных речей
Цыганка голос понимала.
Подруге ветреной своей
Он ежедневно был милей,
Но к ней хладил по той же мере.
Когда, любовью вспыхнув к Вере,
Он нравом стал еще мрачней,
Она развлечь его хотела,
Она родные песни пела,
Она по стульям, по столам
С живыми кликами скакала;
Она при нем по пустякам
Как можно громче хохотала;
Но всегда ее смущал
В то время взор его брюзгливый,
Пред ним порыв ее игривый
В одно мгновенье упадал.
Она сердилась и роптала,
И грусть давила сердце ей,
И тщетно Сара призывала
Покой и радость прежних дней.

Вера

Что все другие; даже мне
Еще известнее, как права
О вас рассеянная слава,
Как должно верить ей вполне.

Елецкой

Вам всех известней? Вы всех строже?
Но почему же, отчего же?

Вера

Когда глаза мои в тот раз
Меня в обман не приводили,
Словами вашими сейчас
Двух, не одну вы оскорбили.

Елецкой

Я вашей искренности рад.
Уже в судьбе моей стократ
Я с вами жаждал объясненья!
Примите исповедь мою,
Весьма во многом, нет сомненья,
Останусь я без извиненья,
Но ничего не утаю.

Елецкой в тягостную повесть
Минувших дней своих вступил,
Свою запутанную совесть
Он перед Верой обнажил;
Поверил ей без украшенья
Свои былые заблужденья,
К которым, впрочем, был влеком
Он меньше сердцем, чем умом.
С ее случайно знакомкой,
Своею смуглой однодомкой,
Свое сближенье передал,
Как сам его он понимал:
Одним внушением унылым
Души, томимой пустотой,
Союзом, столько же постылым
Теперь ему, как ей самой.
«К ней обратиться,— он прибавил,—
Безумный миг меня заставил;
Ошибся я в себе и в ней.
Нет, нет! я не был с нею дружен!

А для души ее не нужен,—
Нужна другая для моей».
И тихо речь его журчала
За Верой, ей одной слышна.
Но что? вникала ли она
В слова его? Она молчала;
Была чуть-чуть обращена
К нему щека ее одна;
Но это легкое движенье
Заметить было мудрено,
Злословье самое оно
Не привело бы в искушенье.
Ей изменяло лишь одно:
Вниманье к балу притупело,
И краснощекий офицер,
Тогдашний Верин кавалер,
Ее в то время то и дело
К порядку танца пробуждал
И ей фигуры толковал.
Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотой.
Недавно дева молодая,
Красою свежею блистая,
Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;
Хотело б сердце у нее
Себе избрать кумир единый
И тем осмыслить бытие.
Тут романтические встречи
С героем повести моей,
Его задумчивые речи
Тревожить стали душу ей.
Одно, быть может, впечатленье
Ей берегло воображенье...
Его рассеял он. С какой
Благополучною душой
С тех пор она ему внимала!

С какую сладостью о нем
 В невольном забытье своем
 Уединенная мечтала!
 Как, новой жизнью дыша,
 Легко ей было! Как блистала,
 Как ликовала в ней душа!
 Девнца юная не знала,
 Живого счастья полна,
 Что так доверчиво она
 Одной отравой в нем дышала;
 Что сей приветный ветерок,
 Ее ласкающий так нежно,—
 Грозы погибельной пророк;
 Что вдруг дохнет она мятежно,
 И мир в глазах ее затмит,
 И все красы его разрушит,
 И все цветы его иссушит,
 И жизни путь опустошит.

Глава VI

Летели дни. Свои свиданья
 Елецкой с Верой продолжал,
 И с каждым больше упованья
 Любви своей он обретал.
 Увы! старательно скрывая
 Заботу сердца, между тем
 Наверно дева молодая
 С ним не обмолвилась ничем;
 Но не владела выраженьем
 Лица невинного она,
 На нем со всем ее смятеньем
 Была душа ее видна.
 «Любим я!» — с ропотом и мукой
 Елецкой сам себе твердил.
 Великий пост уж подходил
 И с Верой скорою разлукой,
 Разлукой долгою грозил!

 «Нет! — мыслит он, — до расставанья,
 Во что бы ни было, должна
 Решить судьбу мою она!»

Он ждет удобного мгновенья;
И Вера, время разлученья
Предвидя, днями дорожит
И их считает и грустит.
Уехал дядя. В тихой зале,
При свете двух свечей, одна,
Твердила на своем рояле
Урок докучливый она;
Полна душой другой заботы,
Насильно всматривалась в ноты...
Вдруг... протянувшись перед ней,
Закрыла их рука чужая.
Ветр пошатнул огонь свечей;
Вздрыгнула дева молодая,
Оборотилась, глядит —
Елецкой перед ней стоит.
«Не беспокойтесь, ради бога!
Какая странная тревога
У вас написана в глазах!
Я вас прошу, не уходите!
Чего боитесь вы? сидите,
Я все скажу вам в двух словах».

Вера

Я не могу остаться с вами!
Подите. Разговор такой
Мне неприличен. Боже мой!
Одна я, видите вы сами!
Подите.

Елецкой

Наперед я знал,
Что я застаю вас одною,
Одну я видеть вас желал.
Остаться должно вам со мною,
Вам должно выслушать меня.

Вера

Оставьте до другого дня,
Я умоляю вас, подите!
Мой дядя будет сей же час.

Елецкой

Один вопрос: люблю я вас,
Вы это знаете. Скажите:
Я равнодушен вам иль нет?

Вера

На все, на все один ответ:
Подите!..

Елецкой

Вы ли говорили?
Я ль слышал вас? и не во сне!
Я не любим... Зачем же мне
Давно вы это не внушили?
Своей холодности зачем
Вы мне тотчас не показали?
Зачем, скажите, мне внимали
Вы так приветно между тем?
Зачем, глаза мои встречая,
Не отводили ваших глаз?
Зачем дышала всякий раз
В них дума нежная такая?
Дитя! кокетки записной
Постигнув опытную ролю,
Признайтесь: вы играли вволю
Моей безумною душой!
Кто б мог подумать! в ваши лета!
Мою любовь мне не забыть;
Желал бы я ее предмета
Не презирать. Но так и быть!
Прощайте!

Вера

Нет! такого мненья
Я не оставлю ни за что!
Не правы ваши заключенья.
Я прямодушна. Я не то
Сказать хотела... Нет... Просите
Руки моей, и если...

Елецкой

Вы?
Вы мне об этом говорите?
А восклицанья всей Москвы!
На наш союз ваш дядя строгий
Не согласится никогда;
Молитвы будут без плода.

Нет, Вера, нет! другой дорогой
Идти нам должно. Для венца
Сегодня ночью у крыльца
Я ждать вас буду. Все готово.
Бежать со мною дайте слово!
Любовь слепая мне нужна.
Решитесь.

Вера

Я изумлена

Таким неожиданным предложеньем.
Нет, это будет преступленьем!
Нет, я и думать не хочу!
Я так ужасно огорчу
Того, который...

Елецкой

Все забудет

Он, нашим счастьем счастлив,
И напоследок справедлив
Он и ко мне, наверно, будет.
Ему (вам нужно ль обещать?)
Я буду сыном самым нежным.
Страдал я долго безнадежным —
Ах, Вера! снова ли страдать!
Меня вы любите; судьбиной
Оставлен нам исход единый.
Ах, Вера, Вера! сердце в вас
Сей миг решительный измерит,
Меня печально разуверит
В нем малодушный ваш отказ.
Все, все он кончит между нас!
Бегите, Вера! дайте руку...
Не на ужасную разлуку,
С которой не сживуся я,
Но на союз святой и вечный.
Мой милый друг, мой друг сердечный!
Скажи: не правда ль? ты моя?

Вера

Люблю, люблю я вас... Но что же?
Что предлагаете вы мне?
На что решиться? Боже, боже!
Подумать дайте в тишине!

Елецкой

Я знаю, горестная мера;
 Но — ты ль не видишь? — нет иной!
 Решись!

Вера

Не нынче!

Елецкой

Нынче, Вера;
 Сегодня, друг бесценный мой!

Недолго дева молодая
 Еще противилась ему.
 Он нежно к сердцу своему
 Прижал ее. Лицом пылая,
 Потупя взор, склонив главу,
 Она умом изнемогала
 И, ни во сне, ни наяву,
 Свое согласие прошептала.

Елецкой ликовал душой;
 По темной улице домой
 Он шел походкою веселой.
 Но у порога своего
 Остановился: ум его
 Смутился думою тяжелой:
 Там Сара! — В голове своей
 Уже Елецкой принял меры,
 Чтоб неприличной встрече с ней
 Вновь не подвергнуть милой Веры.
 Москву с невестой в эту ночь
 Покинет он; обряд венчальный
 Он совершит в деревне дальней;
 Он все предвидел, все точь-в-точь
 Обдумал. Сары он не знает;
 Любовью в ней не почитает
 По нем расчетливой любви;
 Не верит в ней ревнивой муке.
 «Из них любую призови —
 Все тверды в нужной им науке!» —
 Так мыслил он. Но в этот миг...
 Иль Сару лучше он постиг
 При наступающей разлуке?

Упрек в душе его возник.
Его докучное внушенье
Он опроверг в уме своем
И, отряхнув недоуменье,
Вошел в свой дом, где в то мгновенье
И Сара думала о нем.

Глава VII

Грустила брошенная Сара;
Но в этот вечер было ей
Еще грустней, еще тошней.
Почти болезненного жара
Была тоска ее полна.
В своем волнении она
Платком в лицо себе махала —
Прохлады воздух не давал,
Но кровь ей пуще волновал!
Иглу к работе принуждала —
Колола пальцы ей игла.
Гадать цыганка начала —
Еще тошнее: карты втали,
Когда ей счастье предрекали,
И наводили страх, когда
В них выходила ей беда.
Их со стола она столкнула,
Шитье отбросила, вздохнула,
На стол локтями опершись,
Цыганка стиснула руками
Чело... и смятыми кольцами
Вкрут пальцев кудри обвилились.
Закрыв глаза, она сидела...
Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» — к ней
В покой из боковых дверей
Цыганка старая глядела.

Сара

Ненила, ты? войди скорей;
Я заждалась тебя, Ненила;
Совсем я брошена, совсем!
Не угожу ему ничем.
Хотя бы ты мне услужила!
Что, принесла ли?

Старуха

Принесла.

Да уж насилу добрела,
Метель такая закутила!
Гляди-ка — вот твое вино!
Уж удружит тебе оно,
Спасибо скажешь.

Сара

Ах, Ненила!

Верь, ты мне душу воротила!
Я люблюсь ему опять?
Да полно, правда ль?

Старуха

Что мне лгать!

Лишь дай испить, сама увидишь!
Он обвенчается с тобой,
И заживешь ты госпожой,
А там старухи не обидишь.
Ты мне поверь, моя красотка,
Придут благие времена!

Сара

Как я тобой одолжена!
Но там идут... его походка.
Поставь подарок свой на стол.
Да и прощай, уйди отселе,
Уйди скорее!

В самом деле,
Елецкой в комнату вошел.
В глазах его была суровость,
Пред Сарой молча он ходил,
Речь наконец к ней обратил:
«Тебе сказать я должен новость:
С тобой я скоро расстанюсь.
Послушай, Сара! я женюсь».
Лицо у Сары побледнело
И загорелось в тот же миг.
Нож острый в сердце ей проник,
Оно то стыло, то кипело:
Хотела б смертная тоска
Излиться воплем и слезами...

Рвались бурными волнами
У ней попреки с языка...
Но эти первые движенья
Она в себе перемогла
И голос мирный обрела,
Хотя дрожащий от волненья.
«Давно я этого ждала!
Не удивишь меня разлукой,—
Сказала Сара.— Долгой мукой
Я приготовлена была.
А скоро ль свадьба?»

Елецкой

В доме этом

Я не ночую; не жалею
О старине. В судьбе твоей
Я обязуюсь ответом,
И уж подумал я о ней;
Довольна будешь.

Сара

Мне не нужно

Постылых милостынь твоих.
Не беспокойся, и без них
С тобой расстануся я дружно.
Пенять не буду я тебе.
Жила я весело, счастливо;
Теперь не то,— какое диво?
Не все стоять одной судьбе!
У нас верна одна могила;
А кто на свете долго мил?
Как ты сегодня разлюбил,
Так я бы завтра разлюбила;
За что сердиться?

Елецкой

Очень рад.

Дай руку, Сара! Пред тобою
Я совершенно виноват.
Я вижу, выше ты душою,
Чем полагал доселе я:
Ты не притворщица пустая.
Обыкновенье ваше зная,
Я ждал упреков, слез, вытья...

Спасибо, нет их; без сомненья,
Простимся дружно мы с тобой,
Мила ты, Сара!

Сара

Плач и вой

В душе... Но что до сокрушенья!
В слезах и воплях толку нет.
Мы расстаемся? Власть господня!
Простимся весело.. Сегодня
Я именинница, мой свет!
В последний раз мое здоровье
Ты должен выпить... но до дна!
Как в старину; смотри ж: условие!
Не то сейчас заплачу... На!

Елецкой

Твое здоровье? Рад душою...
И вот—ни капли нет на дне.
Надеюсь, ты довольна мною?

Сара

Спасибо! Сядь теперь ко мне,
Поговорим по старине.

И с равнодушным послушаньем
К ней на диван Елецкой сел,
Но, далеко уже мечтаньем,
Он на часы свои глядел.
«Скажи мне,—Сара продолжала,—
Судьбою новою своей
Доволен ты?»

Елецкой

А что?

Сара

Ей-ей!

Я коротко твой нрав узнала:
Не переменишься ты в нем...
Привык ты к беззаботной доле,
Разгульной жизни, вольной воле,
Стошнись порядочным житьем.
Наскучит, твердо предрекаю,

Тебе и милая твоя,—
 Тебе наскучила же я!
 Жаль бедной! По себе я знаю,
 И слишком знаю, каково!
 Как я бы выла да рыдала,
 Когда бы втайне не питала
 Еще у сердца моего
 Одной надежды!

Елецкой

Полно, что ты?
 Все были кончены расчеты,—
 Что за надежда?

Сара

Брежу я.
 И как равняться я посмею
 С невестой счастливой твоею!
 О ней единой мысль твоя;
 Ты ею дышишь. Ах, царица,
 Царица светлая она!
 Я перед нею пыль одна.
 Но... в ум придет же небылица!
 Забудь любовь свою на час:
 Какая разница меж нас?
 Что я цыганкой уродилась?
 Что нет за мною сел, хором?
 Что говорить не научилась
 Я иностранным языком?
 Вот все. Не шутка, очень знаю!
 Но сердцем я не уступаю
 Твоей невесте. Чем она
 Любовь поньне доказала?
 Какие слезы проливала?
 Что перенести была должна?
 А я... что слез я источила,
 Каких обид не проглотила,
 Молчанье горькое храня!
 Ты разлюбил, я все любила;
 Ты гнал безжалостно меня—
 К тебе я, злобному, ласкалась,
 Как собачонка. Рассмотря
 Меня получше: говори,
 Такая ль я тебе досталась?

Глаза потухнули от слез;
 Лицо завяло, грудь иссохла;
 Я только, только что не сдохла!..
 Ты все молчишь?

Елецкой

Тебе нанес
 Я много горя... Я не ведал,
 Когда другой мой жребий предал,
 Что ты... Но что со мною?.. Свет
 В глазах темнеет... все кружится...
 Мне дурно, Сара, дурно...

Сара

Нет!

Я знаю, что в тебе творится.
 В душе мятущейся твоей
 Я чудным чудом оживаю,
 Разлучницы проклятой в ней
 Бесовский образ погашаю.
 Бледнеешь ты... Немудрена
 Измена мне, а ей страшна!
 Будь ей теперь моя судьбина!
 Томись она! крушись она!
 С тоски иссохни, как лучина!
 Умри она! ты мой! приди,
 Прижмись опять к моей груди!
 Очнись от лютого угара,
 Приди, и все забуду я.
 Узнай меня, узнай: я Сара!
 Я Сара прежняя твоя.

Цыганка страстными руками
 Его, рыдая, обвила
 И жадно к сердцу повлекла.
 Глядел он мутными глазами,
 Но не противился. Главой
 Он даже тихо приклонился
 К ее плечу; на нем, немой,
 Казалось, томно позабылся.
 По грозной буре, тишина
 Влилась отрадно в сердце Сары.
 «Он мой! подействовали чары!» —
 С восторгом думала она.

Но время долгое проходит —
Он все лежит, он все молчит;
Едва дыханье переводит
Цыганка. «Милый мой!.. Он спит.
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;
Миг страшной истины настал:
Она взгляделась — труп холодный
В ее объятиях лежал.

Глава VIII

Стояла ночь уже давно.
Градские стогны опустели;
В домах уснувших ни одно
Не озарялося окно,
Все одинаково чернели.
Луна не светит, все молчит;
Лишь ветер воет и свистит,
Метель до кровель воздымая.
Обету своему верна,
До самой улицы одна
Доходит Вера молодая;
Никем не встречена она.
В лицо суровый и холодный,
Ей дует ветер непогодный,
И ночь ненастная черна.
Она стоит; она мгновенья
Считает, полная волненья...
Бегут мгновенья! Вера ждет —
Он не приходит; не придет!
В ней сердце замерло... девицу
Приемлет снова прежний кров.
Уж ранний вой колоколов
Порою той будил столицу,
И в город, сквозь ночную тень,
Уж, голубея, крался день.

Холм, под которым спит Елецкой,
Где он забыл любовь, вражду,
Где равнодушен он к суду
Толпы и светской и несветской,
Уж не однажды порастал
Весенней, новою травюю,
И снег пушистой пеленою
Его не раз уж покрывал.

Но долго ль юноша несчастный
Жил в сердце Веры? Много ль слез,
Ее сердечных первых грез,
У ней исторг обман ужасный?
В ту ж зиму, с дядей-стариком
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась,
Блестает тою же красой;
Но строже смотрит за собой:
В знакомство тесное не входит
Она ни с кем. Всегда отводит
Чуть-чуть короткий разговор.
Подчинены ее движенья
Холодной мере. Верин взор,
Не изменяя выраженья,
Не выражает ничего.
Блестящий юноша его
Не оживит, и нетерпенья
В нем не заметит старый шут;
Ее смешливые подруги
В нескромный смех не вовлекут;
Разделены ее досуги
Между роялем и канвой;
В раздумье праздном не видали
И никогда не заставляли
С романом Веры Волховской.
Девицей самой совершенной
В устах у всех она слышет.
Что ж эту скромность ей дает?
Увы! тоскою потаенной
Еще ль душа ее полна?
Еще ли носит в ней она
О прошлом верное мечтанье
И равнодушна ко всему,
Что не относится к нему,
Что не его воспоминанье?
Или, созрев умом своим,
Уже теперь постигла им
Она безумство увлеченья?
Уразумела, как смешно
И легкомысленно оно,
Как правы принятые мненья
О романтических мечтах?

Или теперь в ее глазах
За общий очерк, в миг забвенья,
Полусвершенный ею шаг
Стал детской шалостью одною,
И с утонченностью такую,
Осмотру светскому верна,
Его сама перед собою
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши —
Утрачен Верой молодою
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Куда заснувшей столицей
При ярком блеске зимних звезд
В санях несется вереницей
Весельчаков ее поезд?
К цыганам. Пред знакомым домом
Остановились. В двери с громом
Стучат; привычною рукой
Им отворил цыган седой.
В хоробах спящих тьма густая,
Но путь знаком. Толпа лихая
Спешит проникнуть в тот покой,
Где, ночи шумной ожидая,
Еще с вечерней первой мглой
В свои постели пуховые
Легли цыганки молодые.
Уж гости ветреные там,
Уж кличут дев по именам.
Но все египетское племя
Кругом приезжих в то же время
С веселым шумом собралось,
И свеч сиянье разлилось.
Дремоту девы покидают,
Встают на общий громкий зов,
Платками плечи прикрывают,
Ногами ищут башмаков
И вот уж весело болтают,
И табор к пению готов.
Одна цыганка на постели
Сидит недвижно. На гостей
Глядит сердито. Роем к ней
Подрути смуглые подсели;

Свой дикий взгляд она хранит,
Устами молча шевелит
Или бессмысленно порою,
Вздыхнув, качает головою.
Но грянул своенравный хор —
Блеснул ее туманный взор,
Уста улыбка озарила;
Воскреснув в крике хоровом,
Она, веселая лицом,
С ним голос яркий согласила.
Умолкнул хор — и вновь она
Сидит сурова и мрачна.
Так воротилась в табор Сара.
Судьбы последнего удара
Цыганка вынести не могла
И разум в горе погребла.
Вотще родимые напевы
Уносят душу бедной девы
В былые, лучшие года!
Так резвый ветер иногда
Листок упавший подымает,
С ним вьется в светлых небесах,
Но, вдруг утихнув, опускает
Его опять на дольний прах.

Г.С.Батеньков



ОДИЧАЛЬИЙ

1

Я прежде говорил «Прости!»
В надежде радостных свиданий,
Мечты вились на пути,
А с ними ряд воздушных зданий.
Там друг приветливый манил,
Туда звала семья родная,
Из полной чаши радость пил,
Надежды светлые питая.
Теперь — прости всему навек!
Зачем живу без наслаждений?
Ужель еще я человек?
Нет!.. да! — для чувства лишь мучений!
Во мне ли оттиск божества?
Я ль создан мира господином?
Создатель — благ. Ужель их два?
Могу ль его назваться сыном?

Шмели покоятся в душе,
Червяк в пыли по воле гнется —
И им не тесно на земле:
Им солнце светит, воздух льется,
Им — все! А мне
Едва во сне
Живая кажется природа...
Ищу в бесчувственной стене
Отзыв подобного мне рода.

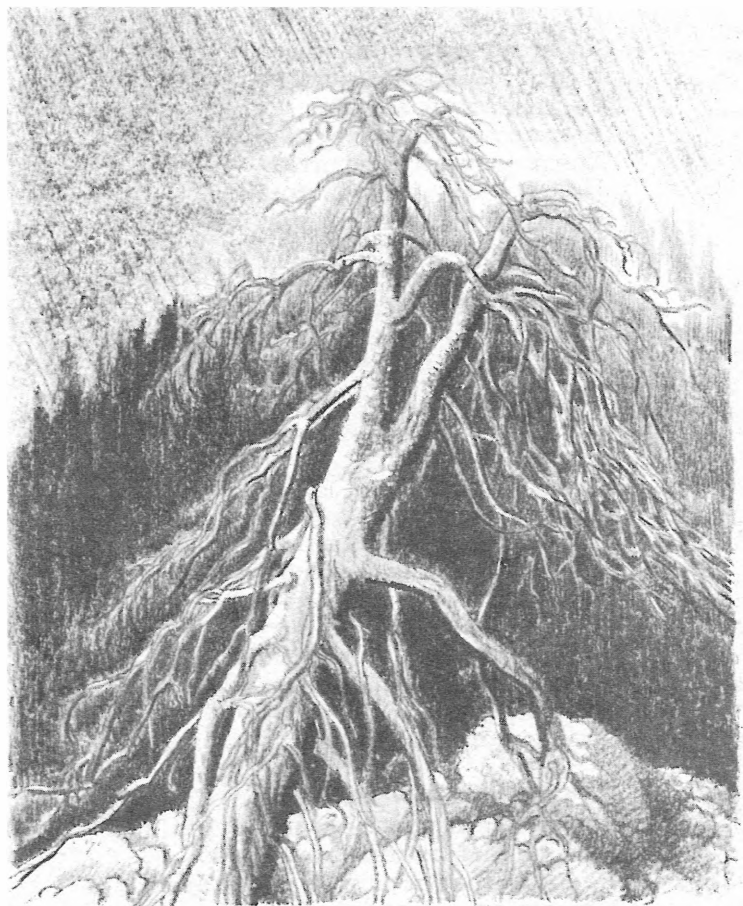
2

Вон там туман густой вдали
И буря тучами играет;

Вода одна, и нет земли,
Жизнь томно факел погашает.
Вон там на воздухе висит,
Как страшный остов, камень голый,
И — дик и пуст — шумит, трещит
Вокруг трупобы лес сосновый.
Там серый свет,
Пространства нет,
И время медленно ступает...
Борьбы стихий везде там след...
Природа в сиротстве рыдает...
И там уму
В тюрьме тюрьму
Еще придумалось устроить...
Легко ему
Во мраке — тьму,
В теснине — тесноту удвоить!
Там пушек ряд,
Там их снаряд;
При каждом входе часовые.
Кругом крутят,
Кругом шумят
Морские волны лишь седые.
Куда пойти?
Кому прийти
Сюда без ведома смотрящих?
И как найти
К родным пути,
Где даже нет и проходящих?

Все это там, друзья, для вас —
И редко вам на мысль приходит...
Все это здесь, друзья, для нас:
Здесь взор потухший лишь находит
Пространство в нескольких шагах,
С железом ржавым на дверях,
Соломы сгнившей пук обшитый
И на увлажненных дверях
Следы страданий позабытых.

Живой в гробу,
Клянущ судьбу
И день несчастного рожденья!
Страстей борьбу
И жизнь рабу
Зачем вдохнула из презренья?



3

Скажите: светит ли луна?
И есть ли птички хоть на воле?
Им дышат ли зефиры в поле?
По-старому ль цветет весна?
Ужель и люди веселятся?
Ужель не их — их не страшит?
Друг другу смеет поверяться,
И думает, и говорит?
Не верю. Все переменялось:
Земля вращается, стена,
И солнце красное сокрылось...
Но, может быть, лишь для меня?

4

Вон там весной
Земли пустой
Кусок вода струей отмыла.
Там глушь: польнь и мох густой —
И будет там моя могила!
Ничьей слезой
Прах бедный мой
В гробу гнилом не оросится,
И на покой
Чужой рукой
Ресниц чета соединится.

Не урна скажет, где лежит
Души бессмертной брэнна рама;
Не пышный памятник стоит,
Не холм цветистый — влажна яма.
Кто любит, не придет туда;
Родной и друг искать не будет
Ко мне заросшего следа;
Его могильщик позабудет.
Здесь имя — в гробовую тьму...
Добра о нем уже не скажут —
И с удовольствием к нему
Враги одно лишь зло привяжут.
Погибли чувства и дела,
Все доброе мое забыто,
И не осмелится хвала
Мне приписать его открыто.

Довольно раз
К цепям у нас
Себе позволить отращенье,
Сказать... поднять чело на час —
И расклокочется гоненье...

Кукушка стонет, змей шипит,
Сова качается на ели,
И кожей нетопырь шумит —
Вот песнь кругом сырой постели.
Песок несется, ил трясется,
Выходит пар из мокроты,
И ржавый мох в болоте ткется —
Вот мне приветные цветы!
Придет холодный финн порой —
И в сердце страх один имея,
Смутится самой тишиной
И скажет: «Здесь приют злодея —
Уйдем скорей, уж скоро ночь.
Он чудится и в гробе смутой...»
С колом в руках, в боязни лютой,
Крестясь, пойдет оттоле прочь.

О люди, знаете ль вы сами,
Кто вас любил, кто презирал
И для чего под небесами
Один стоял, другой упал?
Пора придет:
Не лживый свет
Блеснет — все будет обличенье...
Нет! не напрасно дан завет,
Дано святое наставленье,
Что бог — любовь, и вам любить —
Единый к благу путь указан...
И тот, кто вас учил так жить,
Сам был гоним, сам был наказан...
Но чем то сердце будет здесь,
Которое любить умело
И с юных лет уже презрело
Своекорыстие и спесь?
Что будет око прозорливо,
Которое земли покров
Так обымало горделиво
И беги мерило миров?

Что будет череп головной,
Разнообразных дум обитель?..
Земля смешается с землей,
Истлит все время-истребитель!
Но скоро ли? Как для меня
Желателен конец дыханья!
Тлен благотворного огня
Сулит покой, конец страданья!
Но, други, в этот самый час,
Как кончу я мой путь печальный,
Быть может, трепет погребальный
Раздастся в сердце и у вас —
Иль меж душами нет сношений
И чувство чувства не поймет?
Ненужный вам для наслаждений
Равно — живет иль не живет?
Ужель, себя
Одних любя,
Во мне лишь средство веселиться
Искали вы, и не скорбя,
Могли навек со мной проститься?
И крови глас
Ужели вас
Ко мне порой не призывает?
И дружбы жар в «прости» погас —
И стону хохот отвечает?

Пусть так. Забытый и гонимый,
Я сохраню в груди своей
Любви запас неистощимый
Для жизни новой, после сей!
Вкушайте, сильные, покой,
Готовьте новые мученья:
Вы не удушите тюрьмой
Надежды сладкой воскресенья!
Бессмертие! В тебе одном
Одна несчастному отрада:
Покой — в забвеньи гробовом,
Во уповании — награда.
Здесь все, как сон, пройдет. Пождем —
Призывный голос навевает.
Мы терпим, бремя мук несем,
Жизнь тихо теплится... и тает...

А.А.ШИШКОВ



ЛОНСКОЙ

Отрывок из описательной поэмы

Уже изгнанник добровольный,
Среди утрюмьих, диких скал,
Приметно Лонской забывал
Забавы жизни своевольной.
Военный шум, и грохот бурь,
И горцев дикие набеги,
И неба чистого лазурь,
И гор нетающие снега,
И все, все нравилось ему,
Все к чувствам свежим пробуждало,
И беспокойному уму
Все пищу новую давало.
Когда на утомленный стан
Ночной опустится туман,
И все утихнет — топот конский
И вестник брани барабан:
В шатрах татарских внемлет Лонской,
Суровых чад Кавказских гор
Всегда занятный разговор:
Их неприязненные нравы
Читает в черных их глазах,
В движеньях, в поступе, в словах
И в буйном шуме их забавы.
Чеченец зол: его рука
Приучена к убийствам тайным,
Любовь от сердца далека;
Он страшен путникам случайным:
Коварство, месть — его закон;
Чеченцу не знакома жалость,
И гордо презирает он
Труды и тяжкую усталость.

И Лонской на закате дня
По мирному аулу бродит.
Он входит в саклю: у огня
Семью чеченскую находит.
На стенах блещут здесь и там,
Между посудой домашней,
Ружье, ужасное врагам,
И спутник хищника всегдашний —
Кинжал. Чеченец чистит сталь,
Жена пилав приготавливает,
И в сердце скрытую печаль
Унылой песней прогоняет.
Она все помнит, как во сне,
Об их свободной старине.

ЧЕЧЕНСКАЯ ПЕСНЯ

«Садися, муж мой, на коня,
Оседлан конь моей рукою;
Садись, мой муж,— светило дня
Потухнет скоро за горою.

Белеют ставки казаков,
Враги живут на сунже нашей,
И пьют гяуры, полной чашей,
Чеченцев пламенную кровь.

Ударь на них и шашкой смело
Гостей незваных отрази,
А мне, мой муж, мне череп белый
В подарок с битвы привези».

* * *

Исчезла буйная свобода
Кавказа дерзостных детей,
Как исчезает непогода
При блеске солнечных лучей.
Приосенил орел двуглавый
Вершины исполинских гор,



И на граните меч кровавый
Иссек Кавказу приговор.
Пройдут года: Чеченец взглянет
На сталь забытую отцов,
И на щеках не вспыхнет кровь,
И славы прежней не вспомянет;
Лишь иногда, Чеченка мать,
Дитя качая в колыбели,
Беспечно будет напевать,
Что в старину, бывало, пели;
Лишь изредка старик в слезах
Напомнит внукам без вниманья
О лучших, прежних временах
Давно забытые преданья.

* * *

Оставил Лонской наконец
Чеченцев дикие пределы,
Где часто он с улыбкой смелой
В бою приветствовал свинец.
Пред ним, на небосклоне ясном
Белеет ряд высоких гор;
На их величии прекрасном
Он останавливает взор.
Прелестен вид природы дикой,
Громады камней вековых;
Как остов страшный и великий;
В ущелье узком между них
Прорывши силой бег свободный,
И камни целые катя,
Кавказа буйное дитя
Несется,— Терек многоводный:
Все грозно, дико; лишь порой
Там виден караван пустынный;
Лишь слышен голос заунывный
Нестройной песни за горой;
И редко со скалы высокой
Свободы бесприютный сын
На путника уставит око —
Уединенный Осетин.

* * *

Когда, измученный страданьем,
Волненьем пламенных страстей,
Холодной завистью людей
И долгим, тщетным ожиданьем
Благословенных, ясных дней,
Несчастный вдруг познает радость,
Печальным сердцем отдохнет;
Он забывает тягость бед,
Его тревожившую младость:
Так Лонской, с радостной душой,
Увидел вдруг с горы Крестовой
Луга, цветущие красой,
И небосклон, и воздух новый.
За ним громады вечных льдов,
Снега, и над горами горы;
Пред ним на бархате лугов
Цветы усматривают взоры;
Там рдеют персик и гранат
Вблизи развесистой черешни
И обвевает воздух вешний
Янтарный сладкий виноград.

* * *

Страна, где щедрая природа
Дала обильною рукой
Все блага роскоши земной
Для недостойного народа,
Арагвы шумной берега!
Сады Кахетии небесной!
Коснется ль вновь моя нога
До вашей зелени чудесной?
И скоро ль летнею порой,
Склонясь под персик ароматный,
Засну дремотою приятной
На груди белой, благодатной
Моей Грузинки молодой?

* * *

Наш путник видит пред собой
И стены и дарбазы Мцхета;
Их тайной облекли святой
Давно исчезнувшие лета.
Жилище древнее царей,—
Оплот Иберии прекрасной!
Там, близ остатков алтарей,
Владык истлевших прах безгласный;
Гробницы мохом поросли,
И, облеченны в мрак глубокий,
Полезные дают уроки
Живым властителям земли.

ЕРМАК

Повесть

I

СТРАШЕН ЕРМАК

Твой меч остёр, стрела метка,
Ты вносишь смерть и гибель в сечу;
Но сжался, не ходи на встречу
Булатной сабле Ермака!
Он зол, страшна его рука,
Его душа неумолима!

Завет напрасный, дева Крима!
Татарин смел: из белых рук
Он взял стрелу и звонкий лук;
Он обещал подруге сердца
Копье иль панцирь иноверца;
Он полетел грозою в бой;
Он с Ермаком изведаль силы,
Вздригнул под саблей роковой
И поздно вспомнил голос мильи.
Но не один погиб Ахмат;
Он не один, краса Гюльнара!
Взгляни: курганов длинен ряд;
Они безмолвно говорят
О силе грозного удара.

II

ОЖИДАНИЕ

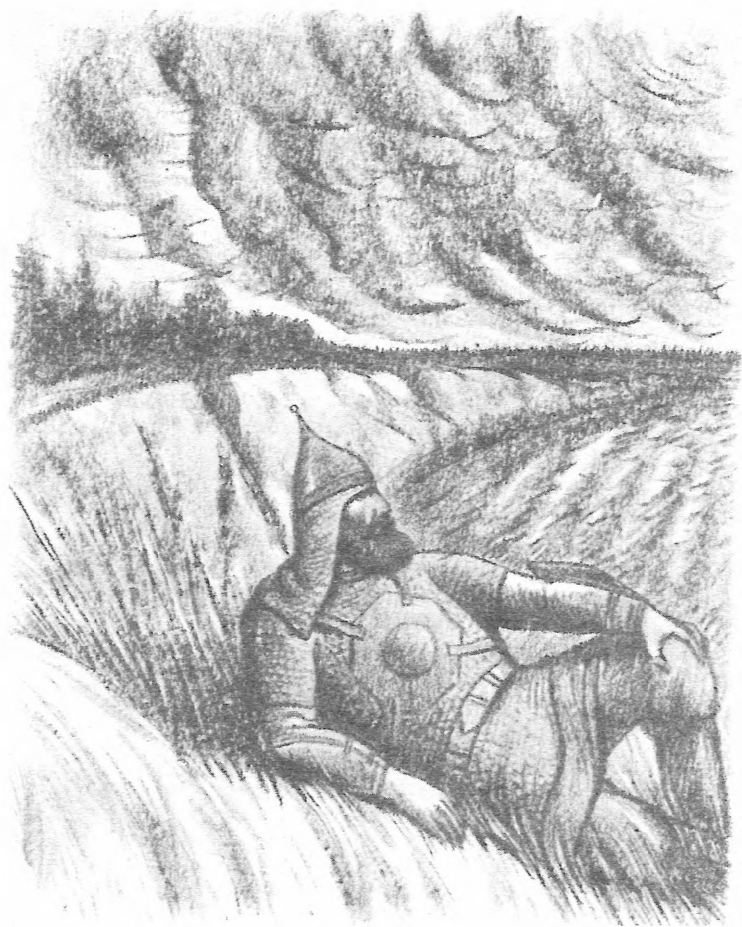
Утих, заснул казачий стан,
Безмолвно все до битвы новой;
Сложив копье—булат, аркан,
Всегда идет, всегда готовый;
При них заснул казак суровый.

Не спит Ермак: пылает взгляд,
Но мрачен вид его унылый.
Так в ночь осеннюю горят
Во тьме небесные светила.

Один в намете, робко он
Внимает мертвому безмолвью
И тщетно благотворный сон
Зовет, прикинув к изголовью.
Ермак, Ермак! когда в боях,
Как метеор, как язва злая,
Твоей руки смертельный взмах
Губил сынов чужого края;
Когда, противных рассыпая,
Ты пировал на их костях:
Мечтал ли ты, чтоб шум случайный
Тебя вздрогнуть заставить мог?
Тебя пугал ли говор тайный
И осторожный шелест ног?
Почто ж теперь, в близи намета,
Посльпшав тихий глас привета
И для тебя лишь внятный шум,
Забыл тоску тяжелых дум?
Вздрогнул,—и бледный, торопливый,
Спешит прочесть в глазах рабы
Ответ желанный и счастливый
Иль приговор твоей судьбы.

III ПИСЬМО ТЕАРЫ

Ермак! ужасно преступленье!
Что предложил ты мне? — позор!
Где ж дружбы прежней договор.
И к беззащитной уваженье?
Не ты ли сам хотел щадить
Невинной страсти заблужденье?
Мне суждено тебя любить;
Но ты, Ермак, ты мне защита
От сердца, от себя самой:
Люблю тебя, перед тобой
Душа невинная открыта;
Ты пощадишь мою боязнь
И мыслей детских упоенье...
Люблю тебя; с тобой и казнь
Была б мне жизнь и наслажденье!
Но что? тебя ль бояться мне?



Нет, лести мой Ермак не знает;
Кто страшен сильным на войне,
Тот слабых дев не поражает.
И так твоя, твоя, Ермак,
Клянусь, по гроб твоя Теара...
Когда ночной прояснит мрак,
Я жду тебя под тень чинара.

IV

СВИДАНЬЕ

Несчастлив тот, кому любовь
Не улыбалась в жизни скучной!
Счастлив, кто спал среди цветов
С подругой жизни неразлучной,
С молодой посланницей богов,
Восторг любви, души порывы!
Ермак в забвеньи вас узнал,
Когда один, нетерпеливый,
Теару к сердцу прижимал,
В глазах волшебницы невинной
Читал доверчивый покой;
Сгорая, трепетной рукой
Перебирал косою длинной,
Дыханье уст в себя впивал,
Желанья скрытого признание
И груди полной колыханье
Кипящей грудью измерял.

V

ХОРЛУ

Зачем измена отравила
Любви — забвенья краткий час?
Зачем, счастливицы, вас не скрыла
Густая ночь от чуждых глаз?

Устав, предавшись бранной неге,
Теары брат вкушает сон;
О новой битве, о набеге,
Еще во сне мечтает он:
То лук свой меткий напрягает,
То вдруг громит враждебный стан,
То взброся гибельный аркан,

Добычу быстро увлекает;
И тешит грозная мечта
В ночи досут его суровый,
И вызов смерти дать готовы
Полуотверзтые уста.

VI

ИЗМЕНА

Пред ним раба. Хорлу внимает
Признанья хитрого словам:
«Ты спишь, Хорлу, а стыд и срам
Главы бесстрашных покрывает;
Отмсти, всему виновна я,
Отмсти рабе твоей послушной;
Я здесь спокойно, равнодушно
Умру на острие копья. ...
Но прежде ... там — в тени чинара
Ермак... с ним робкая Теара;
Они одни, Хорлу, спеша,
Промедлить миг один опасно;
Но если поздно, потуши
Твой гнев в крови моей несчастной!»
Хорлу воспрянул — жажда зла
И кровь в глазах его пылала,
Казалось, молча вылетали
Из уст проклятье и хула.

VII

ИХ НЕТ

Проснулся день, — наметы в прах;
К набегу вспрянул стан казачий;
Готово все искать в боях
Добычи, смерти иль удачи.
Столпяся дружно, казаки
Высматривают знак условный,
Ждут мановения руки...
Все неподвижно, все безмолвно,
И день потух — и снова мрак;
Часы бегут, часы несутся.
Но где Хорлу, но где Ермак?
В чужих руках их кони бьются...

Вожди бесстрашных казаков!
Где ваша власть, где ваша сила?
Хорлу, удел ли твой могила?
Ермак, тебе ль определила
Судьба позор и звук оков?
Но ты не жаждал смерти друга,
И чужд душе твоей упрек;
Он сам, Хорлу, он сам притек,
Как язва грозного недуга.

VIII ОН РАБ

Ермак в цепях; подземный хлад
Тлетворной смертью в душу веет;
Железа тяжкие гремят,
Тоска на сердце тяготеет.
И мыслит он: о краткий миг!
Куда исчез ты, призрак счастья?—
Впервые радость я постиг
Под тучей грозного ненастья!
Исчезло все—мечты любви,
Младых надежд и шумной славы,
О сон! повеи, возобнови
Мои протекшие забавы.

IX ОТСТУПЛЕНИЕ

Ужасен в дебри летний зной;
Но часто путник, утомленный
Степей бесплодной пустотой,
Измучен солнцем, в жар полдневный
Приятной тешится мечтой.
Он видит в мыслях тень густую,
Туда он мчится отдохнуть;
Он плещет влагу ключевую
На распалившуюся грудь.
Ему мечта прохладой веет
В дыханьи легком ветерка;
Он пенит волны ... но рука
До раскаленного песка
Коснулась, вздрогла,— он немеет;

Он пал, он жаждет смерти злой,
И вновь обманчивой мечтой
Утешить сердца не умеет.
Надежда счастья! не тебя ль
Когда-то мысль моя питала?
Не ты ль младому жизни даль
В роскошных красках рисовала?
Волшебница! где ж скрылась ты?
Осталось мне одно страданье,—
Какой-то звук моей мечты,
Невнятное воспоминанье.

X

ГДЕ ЖЕ ОН?

А ты, дружина Ермака,
Ты не услышишь глас знакомый;
Его бесстрашная рука
Перед тобой не бросит грома
В татарский стан, в толпы врагов;
И в час свободный, отдых битвы,
Его не будет слышен зов;
Он не помчит на пир ловитвы
Своих послушных казаков.
И где ж он, где? никто не знает;
Тоска в дружине боевой;
Лишь шепотом молва порой
Из уст в уста перелетает:
Ермак любил, Ермак пылал;
В тиши ночной, во мраке ночи
Теару к сердцу прижимал
И целовал соколы очи.
Хорлу проведаль,— мечь и злость
Пылали в сердце; он к чинару—
Ермак с ним в бой; незваный гость
Подвергся сам его удару.
С тех пор Ермак страдал в цепях:
Без пищи, ослабев от жажды,
В цветущих гибнул он годах,
И смерть ужасная... однажды
Печальной думой угнетен,
Без чувств, без призрака надежды
Ермак забылся; легкий сон
Сомкнул страдальческие вежды;

Он спал — и вдруг она пред ним,
Как бог любви, как бог защиты;
И слезы током дождевым
Кропили бледные ланиты.
Ермак очнулся...

Где ж Ермак?

Когда ночной прояснел мрак,
Молчало все, его не стало.
В темнице мрачной тишина;
Лишь ветер резкий у окна
Качал Теары покрывало;
Лишь было видно, как ковыль
Прилег под тяжкою ногою,
И чуть заметной пеленою
Вдали укладывалась пыль.

Ф. Н. Глинка



ДЕВА КАРЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ

Повесть в стихах

А.** А.** Н.**

Я обещал вам переслать, в письмах, статистическое описание Олонецкой губернии, края уединенного, бедного людьми (ибо на 12 000 000 десятин здесь едва найдется 100 000, и то не совсем постоянных жителей), но богатого великими запасами лесов еще нетронутых, руд неископаемых, каменных пород (мрамора, порфира и проч.) высокого достоинства, красивых земель и камней, могущих стать наряду с драгоценными, ибо, кроме других, на островах Кижы находят хорошие аметисты. Я уже собрал некоторые материалы для составления обещанного. Но пока созреет что-нибудь довольно удовлетворительное для строгих требований науки, примите, в знак дружбы и благодарности за дружбу, мою небольшую повесть. Она познакомит вас отчасти с пиитической стороною сих лесистых пустынь, на пространных которых почивают огромные озера, почти можно сказать — пресные моря, ибо Онега имеет более 1000 верст в окружности и 10 000 кв. верст площади.

Что касается до описанного происшествия — содержания повести, — я объясняюсь о нем в особом введении.

ВВЕДЕНИЕ

Около 1695-го года леса, окружающие пустынное озеро Лексу, укрывали трех братьев-изгнанников. Они были княжеского рода. Память о них и нынче жива в пустыне Выгорецкой.

В 18** году один из почтеннейших в сем крае (в Олонецкой губ.) чиновников, искусный стрелок, любя странствовать в диких местах (он, может быть, находил в них сходство с своим природным отечеством — горною Шотландиею), проник однажды далее обыкновенного в лесистые окрестности города Петрозаводска, застрелил большую медведицу с двумя подростками и в чаще пустынного леса заметил следы постоянного жилища человека. В ту же ночь сделал обыск; лучи зажженной лучины осветили темноту бора, и открылось, что там, в местах необитаемых, действительно жил, с давнего времени, человек, уклонявшийся от преследования закона. Он был женат и уже в пустыне стал отцом 5-х детей. Все они жили в хижине, имели корову и некоторое хозяйственное обзаведение.

И в самые недавние времена находили по лесам Олонецкой губернии уединенных скитальцев, скрытно проживающих, иногда

по несколько лет, в убогих хижинах. Вместе с ними представляли в суде небольшое их имущество. Оно состояло из самодельных шведских гуслей, разных изделий из карельской березы и мелочных вещей, украшенных резьбою. Сим, говоря по-русски, коротали время сии отшельники от общества, которое должно было преследовать их законом возмездия.

Я предлагаю повесть также о несчастных.— Может быть, читатели захотят исследовать: когда? где? и кто такие они были? Это намерение легко может произойти и от духа нынешнего времени, которого отличительная черта — есть стремление со всего снимать покров, все исследовать не только в науках положительных, но и в самых изящных художествах и в самой поэзии! Но, прежде чем приступят к разбору моей повести с намерением узнать, что в ней истинно и что принадлежит изобретению, да позволено мне будет предложить небольшой рассказ. Вот он.

Где-то на Востоке, кажется, там, где в пределах древнего Ирана красуется богатый Ширас, славясь своим огнистым вином, чудесными розами и песнями Хафиза, которого стихи пламенны, как вино, и благовонны, как розы его пленительной отчизны,— кажется, так, как мне рассказывали, случилось однажды нечто достойное быть пересказанным. Молодой человек (вероятно, он был еще очень молод!) гулял в долине (ей, как слышно, дано было звучное название: бильбил и стон, т. е. долина соловьев), нашел прелестную розу. Она блистала румянцем зари и была свежа, молода и прекрасна, как любимейшая из жен великого шаха, когда выходит она из благовонной купальни своей, чудесно устроенной из хрусталя и зеркал. Долго любовался юноша цветком своим и мог бы любоваться им еще долее... Но ему пришла мысль: исследовать, отчего в розе аромат и румянец? Какие части составляют цветок? Что можно найти в нем существенно прекрасного? и так далее. Вздумал — и сделал. Уже все листки опипаны, шипок разобран, стебель изломан... И что ж открылось? — Искатель, вообразив найти многое, не нашел ничего, но потерял и цветок и наслаждение... После этого поступайте как угодно с моей повестью.

Но если и чудесная ширасская роза не выдержала холодного исследователя, то что станется с этим бедным цветком, кое-как выросшим на бесплодной олонецкой почве?

ЧАСТЬ 1

1

Над озером, в затишье диком,
Лишь чайки да гагары криком
Тревожат отзвывы в лесах,—
Когда на высях коршун жадный
Плывет, чернея в небесах
Как пятнышко... Безлюдный, хладный
Залег, как в гроб, в обломки гор
Сей край с своими валунами^{1*};
Он весь колючими стенами
И цепью обнесен озер.

2

Как озеро зовут? — кто знает?
Без имени лежит оно!
Его нерудяное дно
К себе людей не привлекает!..
На что? Зачем туда? Кому?
Сей дикий край (в быту пустынном
Ему и имя не дано!)
Лежит, как синее пятно²,
Вдали, на небосклоне длинном.
Так видят иногда его
С озер, где сойма пробегает,
И на вопрос: «Кто там?» бывает
Один ответ: «Там никого!..»
И кто-то в зеркале великом
Лесистый берег нарисовал...
Под рамой каменной светило
Оно, как вылитая сталь,
Но было тускло и уныло,
Как над песчаной степью даль,
Как затаенная печаль;
Оно с туманным, бледным ликом
Давно, давно в пустыне спит;
Как тайна, бор над ним молчит.

* Цифры в тексте поэмы отсылают к примечаниям, помещенным Ф. Н. Глянкой в конце произведения.— *Ред.*

3

Однако ж иногда мелькнут
И там одна, порой две тени,
И мнится, будто бы взойдут
На обнаженные ступени
Зеленовидных сих громад...
Над спящим лесовым кристаллом,
Под алым утра покрывалом
Скользит украдкой чей-то взгляд...
И счастье, что не замечают!..
Что некому подслушать их!..
Тут, точно тут! — порой вздыхают
И шепчутся в пустынях сих!..
Там никого... Так отчего же
В лесах огни горят порой,
И в диких дебрях, в бездорожье,
Мелькает кто-то под горой?
Без бури движутся озера
И говором полны пещеры?
Карелы дикой ведуны
Вам много чудного наскажут
О тайнах сей лесной страны,
Сорвут покров и вам покажут
Людей, селенья, города,
Их быт, хозяйство, их стада...

4

И там же слышен рев коровы,
И в чаще ржание коня,
И чей-то свист в глуши дубровы...
И... Всё уверило меня,
Что там не без людей!.. Есть кто-то!
Вот, на песке, остался след!..
Где ж временем выдают свет?..
Порой, как будто за работой,
Стучат... а кто? и где?.. Кому
Там быть? Туда и лыжи
Не мчат ловца: там что ему?..
И звери вьются близко хижин³.
А там всё глушь и пустота!
Оголодав в лесах без снеди,
Отголь выходят и медведи.
А след? — А признаки? — Мечта!



5

Нет, не мечта! Я верно знаю:
Есть... Есть там житель, и какой!..
Над безымянною рекой,
Уж часто сам... я сам выдаю...
Нет! Не пуста сия страна!..
Пускай дика и неизвестна,
Тем лучше! В ней... и как прелестна!
И как стройна! И как она
Легко скалы перебегает,
Чуть тень за нею поспеваает;
В руке стрела, натянут лук,
Она владеет ими ловко!
Но почему же не с винтовкой?
Как можно! В их пустыне звук—
Беда! Он тайную обитель
Откроёт, огласит; наш житель
Укрыт от мира, чужд всего...
Но мне пора открыть его!..

6

Не говорите людям! Бедный!
Пусть доживает! Что губить?
И так задумчивый и бледный!..
И так, в тоске, уж тлеет нить
Его лесной печальной жизни...
Покинув дом, свои поля,
Отброшен от своей отчизны,
Он... как обломок с корабля,
Упав, забыт в день жаркой битвы,
Кружится... Уж давно пришел
Корабль и встречные молитвы
И радость у своих нашел;
А где ж обломок? Он, несчастный!
Всё бьется на волнах, пока,
Гоним тревогой повсечасной,
У берега... невод рыбака
Его нечаянно хватает,
И он в далекой стороне,
Иссохший, медленно сгорает
В чужбине, на чужом огне...
Так он!.. Но имя будь сокрыто!

Страдальцев тайной дорожу!
И всё, что мной от них открыто,—
Без их имен я расскажу.

7

Он... видите ль... он обвиненный...
За что и как?.. Не знаю я...
Но за семнадцать лет семья
Иль только он (спасенный,
Отколь: с дороги ль? из тюрьмы?
Кто знает? О том не знаем мы!),
Она и он в сии пустыни
Пришли и погрузились там,
Где—видите ли?—бор тот синий...
Тот угол неизвестен нам!..
Однако ж, из глухой Карелы
Возя заводские урки⁴,
Видали, что в волнах реки
Спокойно плавал лебедь белый.
Смекали, может быть, и то,
Что вряд ли та пуста дуброва:
Мелькнет в ней конь, порой корова...
И как им быть в бору пустом?—
Есть слух, что прежде в ближних селы*
Ходили наши по ночам
И добрые сыны Карелы
Делились с ними... Но и там
Вдруг стало строго... Все боялись:
Никто не заходил уж к ним,
И наши в свой пустырь прижались,
И им досталось жить одним...
Одним! Но кто знавал, кто знает,
Что значит дружба двух сердец,
Меня тот верно понимает!..
Притом он скоро стал отец.
Но, бедная!.. Ее печали
(Быть может, память лучших дней!)
Томят, томят... И вот уж ей
Недолго жить! Уж погасали
И чувства и огонь очей...
Грустили ль вы в тиши ночей
С прелестной, гибнущей звездой,
Отпавшей от выси своей?..

* Ребольские погосты.

Так, в цвете, с жизнью молодой,
 Отпала, бедная, она!
 И мы — под склоном старой ели —
 Ее нашли в пустынный гроб,
 Когда в не снежные метели
 Взбурили белый там сугроб!..

8

А кто же он? — Один?.. Их двое:
 Младенец-дочь при нем растет!
 В ней радостно, в нем сердце поет:
 Он ею, им она живет!..
 Не зная лучшего, не знает
 Она ни света, ни людей:
 По берегам озер гуляет
 И свежей младостью своей,
 Как роза дебрей сих, блистает,
 И помнит их судьба... И вот
 Еще товарищ им!.. Он белый!..
 На озерах глухой Карелы
 Крылатый плавает народ:
 То лебеди! Один — так было,
 Когда летать пришла пора
 И замерзали озера, —
 Замедлил... Вдруг его схватило:
 Он крыльями примерз ко льдам!..⁵
 Но он спасен! — И вот гуляет
 С молодою девою по лесам,
 И лишь порой его смиряет
 Из шерсти розовый шнурок.
 Вот, стройный, с ожерельем красным,
 Не любит быть он одинок —
 И ходит спутником прекрасным!..

9

Как их проходит день? Как ночь?
 Что делать в вечер длинно-томный?
 Смотри на свод небес огромный,
 Он часто говорил ей: «Дочь!
 Взгляни на красоту созданья,
 На этот круглый свод небес, —
 У бога много есть чудес!..»

И повторял он ей преданья—
Преданья памяти веков,—
Как древле вечная любовь
Явиться в тварях восхотела,
Как раздалось: «Да будет свет!»
И жизнь молодая закипела,
И началось течение лет.
Как из стихийных, бурных споров,
Пестрея тысячами узоров,
Явилась круглая земля,
И улеглись над нею бури,
И, в раззолоченной лазури,
Постлались черные поля.
Он говорит, что нам известно,
Как дивный, в таинствах судьбы,
Ведет нас промысел небесный,
Что мы у бога не рабы,
Но слабые, больные дети;
Что некогда расставил сети
В стране блаженства праотцам
(По них враждующий и нам)
Коварный, умный искуситель,
И как страданьем искупитель
Опять нас с богом примирил.
Так, умиленный, говорил,—
Дочь слушала, а высь пустая
Переменялась: золотая
Черта за полною луной
В оттенках радуги сияла;
И часто, в тишине ночной,
На звездном серебре пылала
И расстилалась по горам
Заря от севера... Прекрасно
Передавались озерам
Огни и пурпур. Не напрасно
Он поучал, он говорил:
От ранних вечера светил
До утра длинной, длинной ночи
Ее не закрывались очи.
И, встретясь с розами зари,
Она еще отцу внимала
И с детской лаской лепетала:
«Что ж ты умолкнул? Говори!»

10

Пожар!.. Или кончина света!
Я вижу признаки рассвета
В час полночи.— Ужель сбылось,
Что солнце вспыхнет в час полночи?
Смотрите, зарево зажглось!
Не изменяют ли нам очи?
Несутся чрез зеленый лес
Потоки пурпурного пламя:
Не ангел ли в выси небес
Свое разворачивает знамя?..
Еще полночь... И даль тиха...
Всё глухо в дебрях и пещерах,
И слышен голос петуха
На восемнадцати озерах...
Но прояснилась вышина,
Виденья тайна прояснилась;
Огнем и кровию полна,
Луна огромная явилась...
В Карелии, в глуши лесной,
Что занимает их? Порой
(Бывает чаще то весной)
Они пленяются игрою
Воздушных, радужных картин:
Встает, как башня, исполин,
Скользит огромными ногами
В хрустальном поле вешних льдов,
Главою ищет облаков
И странствует над озерами...
Зарей и синевом горит
Его прозрачная одежда...
Он мысли, как мечта, манит
И исчезает... как надежда...
«Кто ж это?—дева говорит.—
Отколь виденье возникает?»
«То воздух! То игра лучей.
Так часто у людей бывает,
Обман для сердца и очей»,—
Вздохнув, отец ей отвечает.
В Карелии богатство—виды!
Идешь—и пред тобой вдали
Египта виды: пирамиды,
Заливы, реки, корабли
И стены с длинными зубцами...

В Кареле — корбы, как шатры,
И синеглавые бугры
Под шелковидными чалмами;
В них замечает полосами
Зима пушистый свой атлас,
И соснам, на вершинах сельги,
Дает и радужный топаз,
И жемчуг для монист, и серьги,
С подвесом чистых хрусталей.
Всё блещет в чаще сих аллей.
Но всё мертво! Как пышность света,
Холодная и без души,
Карельский бор в своей глуши
Дивит, не радуя поэта!

ЧАСТЬ 2

1

Как ты мила, полукарелка,
Невинная, как простота!
Твое хозяйство: клест да белка!
Твоя младая красота
Цветет и родилась в пустыне,
Далеко от отцовских стран!
Твой сарафан, карельский синий,
Как хорошо твой облил стан!
И твой товарищ, лебедь белый,—
В воде, на суше спутник твой!
Ручной, и ласковый, и смелый
К тебе в колени головой
Доверчиво порой ложится,
И дремлет — полный тайных нег!
А клест — над головой кружится,
А белка — свой грызет орех,
Рисуясь на плече. — Как мило
Всё, что твое! Но на руке
Кольцо золотое не светило,
И в непроколоте ушке
Алмаз не искрится в сережке,
И на летучей, стройной ножке
Лесная обувь; за спиной —
Стрела... Кому она грозила?..

Ты, верно, ею не губила
 Жильцов своей глуши лесной;
 Ты, добрая! Ты знала жалость!
 Тебя расстраивала малость:
 Была игрушкою стрела!
 Как жаль, что ты в поре расцвета
 Должна дичать вдали от света;
 А ты, о дева, так мила!..

2

Быть здесь!.. Но если б быть спокойной!
 В сии леса пришла весна:
 Стеснился жар в пустыне знойной,
 Ясна сухая выпшина!
 Пески и камни раскалялись
 От переломленных лучей⁶,
 И был лишь вечер без ночей⁷;
 Почти не гасли, не смеркались
 Без звезд, пустые небеса:
 С тоскою взоры в них терялись,
 И в самый полночный час,
 И утром, пред зарею алой,
 Голубо-цветной, полинялой
 Казались мантией для глаз!
 Но что ж — в отлив изумруда,
 В выси, — что деялось с луной?..
 Как от священного сосуда
 Давно отломленное дно,
 Она круглилась неприметно
 (На горизонте бледноцветном),
 Как серебристое пятно!..
 В пустыне душно!.. Всё сгорало,
 Томились, вянули леса —
 И в деве сердце замирало:
 Она тосклива и желта⁸,
 Трудней в туманных думах ходит,
 Чего-то ищет, не находит...
 Везде покой и пустота,
 А в ней тревожное волнение:

Грустна душа, неясен ум,
Неровен нрав: то вдруг смущенье,
То весела... то — буря дум!..
И ей казалось — там и счастье,
Где дальний город чуть мелькал:
Там есть кому принять участие!
А здесь?.. ей будто кто шептал:
«Ты пленница сих душевных скал!»

3

Отец увидел, дочь не скрыла
(Где ж научиться ей скрывать?),
И вот родному говорила:
«Я не могу не тосковать!
Мне к людям хочется... Родитель!
Меня ты, бедную, прости!
Ах! долго ль эту жизнь вести?
Сей гроб надолго ль нам обитель?..
Одна, от грусти чуть дыша,
Дремлю ли я, иль замираю,
Какой-то жаждой всё сгораю:
Туда всё просится душа.
И сердцу тесно стало в груди:
Ах! как там весело: там — люди!..
Вздыхнул он, но сказал: «Как быть!
Чего нельзя переменить,
То скрасим, жизнь моя, терпением...
Терпение нам лучший друг!
Оно целительным забвеньем
Былого так врачует дух!..
Когда господь, отцов карая,
Изрек им, бедным и нагим,
Свой приговор, и стражем рая
Явился грозный херувим,
И, слившись из огня, покровы
Завесили, как тайну, рай,—
Перед Адамом новый край,
Уединенный и суровый...
И горько, горько возрыдал
Наш грустный предок первородный
(И в тяжелой ссылке благородный!):

«Что даст мне цепь сих мертвых скал,
Эдема сладкими садами
Вскормленному? Что даст земля?
Сии пустынные поля,
Древа с их горькими плодами
Что мне, изгнаннику, дадут?
Всё здесь пророчит скорбь и труд.
Но в чем найду я улажденье?»
И много пролил, грустный, слез,
И ангелы, жилицы небес,
С ним плакали. Но умиление
Коснулось господа, он рек:
«Прими от зол земных целенье,
Будь дружен с жизнью, человек!...»
Он рек — и дал ему... терпенье! —
Тебе прочту в понятном русском слоге,
Как он в тоске, как он в тревоге,
Терпя и скорбь и нищету,
Передает векам страданье...
Послушай, дочь, сие преданье!
(Читает начало «Пируют Иова сыны»
и «Семь знойных отпылало дней!...»)

Вот были, дочь моя, страданья!
Но час ударил воздаянья —
И кончились страданья те.
Ты отдалась пустой мечте:
Что к людям? — С ними, в суете,
Душе не можно устояться,
А можно ль небу отражаться
В восколебавшейся душе?
В пустынном нашем шалаше
Нам тихо... Мы одиноки!
Нет тут ни бурей, ни тревог!
На всё у бога час и сроки,
Придет и наш черед...
Увидим то, что было прежде
И что не отдано тебе.
Отдайся, дочь, святой надежде
И тайной господа судьбе!»

4

«... Я говорил: любви не стало,
Я говорил тебе не раз!
При мне уж счастье отцветало
Там, у людей... И он погас,
Огонь небес, огонь-живитель,
Который души их питал;
Их ум (расчетливый ловитель)
Своим волшебством обаял.
Рабы условного страданья,
Они не знают сладких слез
И неги сердца — состраданья...
Зато теперь от прежних роз
Одни лишь терны им остались.
При мне еще, когда я был
С людьми, они уж изумлялись:
Зачем вдруг жар к добру простыл?
Куда девалось веселье
Отцов, проживших в тишине?
Вступя как будто в новоселье
И посмеявшись старине,
Они забыли прежних нравов
Незлобие и простоту;
Вошли охотой в тесноту
Условных, приторных уставов
И полюбили суету.
И жадных прихотей причуды.
Не стало радостей былых,
Не стало жизни у живых:
Они — как праздные сосуды...
Везде, во всё ввели расчет
Сыны греха, сыны разврата;
Честей алкают, ищут злата,
И стал жесток сей хладный род,
Как сей металл, им столько чтимый!..
Без жизни — жизнью томимы;
Тоска живет у них в очах.
Что ж в их беседах? что в речах?
Всё суд над ближним! И, любимый,
Их умный, острый разговор —
Насмешка, едких слов набор,
Облитый желчию укор.
Гордясь конями и убранством,
Бывало, позванный на пир,

Как раззолоченный кумир,
Приходит гость с холодным чванством;
С притворной лаской меж собой
Пустой привет они меняют
И, будто званные на бой,
И зло и зорко примечают,
Куда и где разить? У них
В их празднествах, при мне бывалых,
Блестали радугами залы,
Кипело в чашах пировых;
Но было что-то всё уныло,
Был всяк студен и одинок
И втайне грустен, как могилой
Мертвец отпущенный на срок.
Верь мне: у них не стало сладких,
Простых, но свежих, пылких чувств:
Везде поддельный блеск искусств,
И все разгаданы загадки;
Их жизнь — прочитанный роман,
Который повторять уж скучно!
И слово: счастье — им не звучно,
Оно для всех — былой обман!»
Так говорил, и чтоб тревогу
Младой души ее развлечь,
Он внемлет с ней молитву богу
И о другом заводит речь:
«Ты родилась в пустыне, и...
Дитя, ты дорого мне стало!
Ты при рождении слезами облита,
Тоской взлелеяна и горем повита...
Зима ль, мороз, места сии,
Другое ль что виной... но, мало-
Помалу, стало упадать
Здоровье бедной!.. И, лелея
Тебя, твоя томилась мать,
Как миловидная лилея
На стебле раненом. Она
Лила и слезы, но украдкой...
Настала ранняя весна,
И в сих пустынях было сладко!
На черствых скалах сих холмов
Породы мхов зазеленели,
И красовались наши ели
Румяным глянцем их цветов⁹.

Мне мысль пришла: я осторожно
Больную взял и перенес
Сюда под ель: тут было можно
Дышать и веяньем небес
И освежительным куреньем
Янтарной, каплющей смолы.
Она смотрела с наслажденьем
На величавые скалы
С их чудной, дикой красотою...
Но вешний воздух, тишина,
Иль солнце кроткой теплотою
Ей дали сон. И вот она,
Всё глубже, глубже засыпая,
Светлела выраженьем дум—
Каких? Об них наш ум не зная,
Что может нам сказать наш ум?
Я видел: тихо исчезало
Страданье на ее челе,
И из нее и в ней сияло,
Казалось, небо, как в стекле:
Она чудесно обновлялась
И, жизнью свежеею цветя,
Была чиста и улыбалась,
Как колыбельное дитя...
И вдруг заговорила: «...Поздно!
Не доживу я до зимы!
Но не грусти и верь... не розно—
Но вместе будем только мы!
Как явственно!—Всё, всё я знаю,
Всё вижу и читаю всё:
Отсрочено... пока мое
Дитя я грудью допитаю...»
Я кинулся к ее ногам:
Не знаю, что со мною случилось?
Мое всё сердце разрывалось
И, дав свободу я слезам,
Ее тронул... Она мгновенно
Проснулась и, слегка дрожа,
Была покойна и свежа;
Лишь взор, как будто изумленный,
С неясной думою блуждал,
Чего-то будто бы искал...
«Как сладко я спала!»— сказала,
Но ни о чем не вспоминала,
И я о слышанном молчал!

5

Была, дитя, ты в колыбели,
Я без сохи, сам землю рыл,
Но вдруг я скучен... загрустил.
Оставил всё, к тебе спешил.
И что же? Над тобой, на ели,
Две страшных лесовых змей!¹⁰
Глаза открыла ты свои,
Но, их не зная, не пугалась!
Одна из змей еще ползла,
И та уж в колыбель спускалась;
Но ты, мой друг! была светла
И, чем-то тешась, улыбалась!..
Что случилось с бедным тут со мной?
Я вдруг застыл, вдруг распалился.
Туман в глазах! Кругом ложился
Какой-то мрак передо мной!
Дрожа, мои колени гнулись...
Но я дрожал не за себя—
Бог видит! — Я жалел тебя!..
Уж обе близки... Вдруг проснулись
Во мне и вера и любовь,
И я, как коршун, на врагов!
Схватил... Одну топчу ногами,
Другую рву в моих руках;
Они... но силу дал мне страх
И с ней победу над врагами.
Я кончил свой неравный бой,
Нечистых кровь на мне дымилась,
А ты, младенец тихий мой,
Ты на руки ко мне просилась...
Я взял и кинулся с тобой
Пред ясным небом на колени!..
Давно легли ночные тени,
Но грудь моя была светла:
Мое всё сердце изливалось
В молитве. Что со мною случилось?
Не знаю, где душа была?..»

6

Он говорил, она внимала
И, малодушья устыдясь,
Уж с воплем кинуться желала
К ногам отца.— Но вот, стеснясь

Над высью горной, туча с тучей
Вдруг вспыхнула... Сперва
Сверкает молнией. Вдруг зыбучий
Клубится воздух... Грянул гром,
И с грохотом задрезжали
Камней обломки и скалы;
И вздулись в озерах валы
И белым стадом побежали
На дикий наволок лесной¹¹,
И хлещет на скалу волной...
Буравит вихорь берег зыбкий,
Растут в Онеге острова:
Всё выше... выше их глава!¹²
И гнется красный лес негибкий,
И ель, свидетель трех веков¹³,
Пустынь пирамида, с бугров
Обрушилась с ужасным треском...
Стемнелось в небе и в лесах!..
И, ослепленный грозным блеском,
Бойтся леший...¹⁴ В парусах
Куда-то чью-то сойму мчало¹⁵,
Под пеной шумною урчало...
То — кижане! Гроза сильна;
Они бледнеют, но ни слова:
Им кем-то сила придана!
Дика, сердита и сурова
Их молчаливость. Им беда!
Просос и щели меж пазами,
И в свищ журчит вода со дна!
Скорее кузов с муравами!..
Вот их на берег понесло,
Уперся каждый на весло
И режет пенистые груды;
Нет пользы: перед ними
Девятый вал — и челн вверх дном!
Все вплавь, за снасть, за борт схватятся,
И вот на берегу пустом
Один... Но всё сильнее гром...
И ярче молнии блистая,
Как будто сеются дождем!
Тут снег сенной, там вспыхнул дом,
Пылал местами бурелом,
И даль горела золотая...

Пустынники—отец и дочь—
Без слов стихий дивились битве,
Доколь сошли: покой—в молитве
И освежительная ночь.

ЧАСТЬ 3

1

«Что случилось с прежними местами?
В них нет уж прежней пустоты!
Тут кто-то бродит. За кустами
То шум, то шорох... Вдруг кусты
Как будто шепчут... Знать, листья
Шелещут на ветвях осины?..
Не ручейки ль? Не ручейки:
Их не таков язык пустынный!..
Тот шум... не шум от струй реки!»
Так дева часто рассуждала
Одна, как призрак, на горе.
И уж нередко на заре
Она (но знала ль что?) слышала:
Как будто песни, будто звон
Чудесный, сладкий... Что ж бы это?
То был всё ближе... ближе он,
То удалялся... Здесь ни летом,
Ни с утешительной весной
Нет птиц, которые б так пели!
И то не песни; то запели
И вторились в тиши ночной...
А что? Как ведать?.. И порою
Тут будто кто-то говорил,
И голосилось за горою...
Тут кто-то новый... Кто б он был?..

2

И вот, как дева раз глядела
На даль, озера, волны рек,
Она вдруг: «Ах!» и онемела—
Пред нею новый человек!..
Рост средний, грудь взвилась высоко,
Осанист, кудри на плечах,

Весельй, свежий, черноокий,
С огнем души в больших глазах;
С винтовкой, гусли за плечами,
Он деву будто как видал:
Быть может, он ее гусями,
Незримый, часто изумлял.

3

Они друг на друга смотрели:
Она... но нет.. в ней не боязнь,
Ее глаза, как день, светлели,
В душе какая-то приязнь
Мгновенно вспыхнула, пылала,—
Она совсем людей не знала
(Возрос ее в пустыне век),
И мил ей новый человек!
Вот ближе, ближе их знакомство:
Друг с другом с лаской говорят.
В нем быть не может вероломства,
Его так тих и весел взгляд!..
«Как звать тебя?..» Она не знала,
Об этом гостю что сказать!
«Мою Еленой звали-мать!
А меж собой,— она сказала,—
Я просто говорю: «Отец!»,
А он мне: «Дочь!» Имен не знаем! —
Когда ж друг друга мы ласкаем,
То, в излияннии сердец,
Он говорит: «Мой ангел милый!»
А я: «Мой добрый, нежный друг!»
Поймешь ли ты, как весел слух
От этих слов в глуши унылой?..»

4

«А этот лебедь? — он сказал
И на ручного показал.—
Как мил он в алом ожерелье
Из алой ягоды лесной!..» —
«Мое пустынное веселье!
Со мной он дружен, как родной!
Нам бог послал его на счастье:

Он в нас, мы в нем берем участие,
 Он, бедный, от своих отстал,
 И мы ведь от своих отстали!..
 Он нашу чувствует любовь!..
 Когда озер над синей влагой,
 Пльвущих белою ватагой,
 Или в выси услышим зов
 Летящих лебедей куда-то,
 Мне жалко друга! Он, с собратом,
 Уж не увидит тех краев,
 Где, может быть, и солнце краше
 И воздух слаще!.. Но уж крик
 Своих не слышит; житье он наше
 Как будто полюбил, привык
 Ко мне, к отцу, сроднился с нами:
 Мы вместе с ним едим и пьем,
 И ласковыми именами
 Мы друга белого зовем!..»

5

И на вопрос: «Когда? как долго
 В пустыне здесь?.. И с кем зашла?..»
 (Но что она сказать могла?..) —
 «Я здесь одна с отцом, да с богом!..
 Уж мой отец в пустыне жил,
 Себя как только помнить стала!
 Меня ж он повил и крестил:
 Я христианка! — Подавала —
 Мне всё родимого рука.
 Лишь не могла, хоть раз желала,
 Мне в детстве проколоть ушка,
 А то ведь надо! — так сказала, —
 Ведь то у всех... Там... далеко!»
 И милой ручкой показала
 На милое свое ушко..
 «Мы жили над большой рекой,
 Простой, лесной питаюсь пищей;
 Как домик ласточки, жилище
 Отец мой сильною рукой
 Примкнул в глуши к скале отвесной.
 Его забором окружил
 И будто клад заветный скрыл
 Под шаткой купою древесной...»

Однажды, с полночи, завыл,
То было, помню я, весною,
Ужасный вихорь. Он стеною
Леса со треском наклонил,
Иль в зыбкие согнул их своды...
И вот растут, растут вдруг воды;
Отец мой спал, но вижу я,
Обитель наша отклеилась
И, как под парусом ладья,
По бурной воле устремилась...
Я помню, как летели мы,
Волной свирепую влекомы,
И скоро, из пустынной тьмы,
В поля... Везде светлели дома,
Среди садов и пышных нив;
Как мне заманчив и счастлив
Казался край! Из тайн груди
Душа рвалась, и часто люди,
Спеша радушно к берегам,
Кричали нам, махали нам!
Но мой отец людей боялся;
А между тем наш домик мчался
И, миновавши чудеса
Людского быта, вновь в леса
Вбежал. Смягчились небеса,
Клубиться воды перестали,
Луна зарделась в их стекле,
И мы, спасенные, к скале,
У тихой заводи пристали...
С тех пор по ветру, по звездам
Мы в лес знакомый пробирались...
С людьми порой хоть и встречались,
Но страшны были люди нам!..
Теперь же, в очередь свою,
Мой добрый гость! Скажи мне: кто ты?
Мне мило знать про жизнь твою.
Сюда случайно, для охоты
Зашел с винтовкой ты своей,
Или как мы?.. Где край родимый?
Зверей гонитель, иль гонимый?
Пришел ты скрыться от людей?
Здесь безопасно... Я слыхала».

6

«Я вижу, дева, ты земли
 С ее красами не видала;
 Страна людей тебе вдали,
 Как сновидение; мелькала,
 Быть может, ты по ней вздыхала!..
 Своих градов и алтарей,
 Жилищ и роскоши царей,
 Чужих народов, их богатства,
 Ни реющих лазурь морей,
 Под бурей распутивши крылья,
 Домов пловучих — кораблей,
 Ни юга с роскошью полей,
 Страны счастливой винограда,
 Отчизны роз и соловья¹⁶,
 Красот пленительного сада
 С душистой зеленью лесов;
 Ни наших теплых вечеров,
 Ни нашей летней ночи долгой,
 Ни красных сел в Руси родной,
 Цветущих над Окой и Волгой,—
 Ты не видала... И одной
 Тебе судьба здесь жить велела.
 Но не грусти! Ты не болела
 Враждебным недугом страстей;
 Не испытала ты томленья
 От жажды злата и честей,
 Ни злой обиды и гоненья.
 О дева! дева! Ты напрасно
 Грустишь... Когда б ты знала их,
 Сынов разврата и коварства,
 Тоскливых, бурных в их страстях!
 Я был в далеких сторонах,
 И дивные я видел царства;
 Не здесь, не в сей стране пустынной
 Моя качалась колыбель.
 А я...».....

7

Отец на труд лесной выходит,
 Вдруг: кто-то новый — дева с ним!
 Он стал, смутился — и подходит,
 С волненьем чувства, к обоям:

«Кто ты, пришелец дерзновенный? —
 И засверкал отцовский взор.—
 Зачем в приют сей сокровенный?»
 Рука хватилась за топор,—
 Великорослый и могучий,
 Хоть уж и в поздних летах был,
 Он верно б череп раздробил,
 И скрыл бы тайну лес дремучий,
 Но дочь меж них, она с мольбой;
 У них неравный будет бой!
 Слабее в силах тот, но ловкий,
 Он мог спустить курок винтовки...
 И... но, подумав, он сказал:
 «На что гроза, пустынный житель!
 И я несчастный человек!
 Меня сюда мой рок загнал,
 Когда ты зол... будь мой губитель!»

8

Они под сосну удалились,
 И уж не на враждебный бой:
 Друг с другом скоро объяснились
 И сблизились одной судьбой...
 И дева слышала неясно,
 Что говорили... «Безопасно...—
 И тот и тот в одно сказал.—
 Я чист! Я кровь не проливал,
 Невинен пред царем и богом!
 Я (строгим
 Был.)». Каждый замолчал.
 И вот несчастные — уж братья!
 Друг другу руки — и обет,
 Друг друга поняли — объятья!
 И тихо вымолвлен завет.

9

Круглей катится время; вдвое
 Им милость явственней небес:
 Не так уж пуст пустынный лес,
 Уж не вдвоем, грусть делят — трое!..
 И близ бывшего шалаша
 Другая хижина явилась:

Все жили розно, но душа
 Трех несчастливцев не делилась.
 Уж гусли шведские звенят
 И часто извлекают слезы.
 Он с девою живет как брат:
 То из карельския березы
 С резьбой дарит подарки ей,
 То ожерелья милой нижет;
 Пять-шесть имел с собой он книжек
 И, в пасмурной пустыне сей,
 Развеселял досуги чтеньем.
 Он был с Европою знаком,
 И вот, увлекшись раз движеньем,
 Он иностранным языком
 С отцом заговорил... Но долго ль
 Им в сей глуши безлюдной жить?
 Все трое были близки с богом—
 Молились... Если б умолить!..

10

«Я далеко на полночь заходил:
 У города Архангельска я был,
 Сидел на мхах у Кемского острога,
 Следил гагар у Кольских берегов,
 И видел я бегучий лес рогов
 Вспугнутого оленей резвых стада...
 О, много увидит чудес,
 Кто по свету много походит!..
 Я видел принизистый лес:
 Из тундры он робко выходит
 И, встретивши в воздухе хлад,
 Рад, бедный, под землю назад...
 Я видел страшную лавину,
 Летевшую по пустырям,
 И с шумом плававшую льдину
 С медведем белым по морям!..
 Я видел край, где спит природа
 В полугодичной тишине;
 Там много звездного народа
 На темно-синей вышине;
 Но солнце — пыльный царь светильный —
 Не освещает край могильный,
 И лишь мгновенная заря
 Смотрит в застылые моря...

Но в той стране—на тихой влаге—
Гостит роскошно летний день:
Как на развернутой бумаге
Лежит узорчатая тень
Брегов, и купол неба синий,
С оттенком роз на вышинах,
Живописуется в волнах
Бездонной зёркальной пустыни
И весь передается ей...
Я помню... море закипело
И стихло, сселось, огустело
И странной чешуей своей
Засеребрилось, засверкало,
Как будто длинной рыбой стало:
То войско двигалось сельдей,
То густо шли их легионы...
Какие тайные законы
Вели их? В памяти моей
Я сохранил... Как вижу, други,
Явился круг, растёт... растёт...
Двоятся, множатся всё круги
И кто-то под морем идет.
Пред ним несутся шум и плески,
За ним—глубокая тропа,
И, с рокотом глухим и резким,
Два белоглавые столпа,
Две башни, две реки кристальных
Из чьих-то мечутся ноздрей:
То он, то пенитель морей,
То кит в своих набегах дальных,
В угоду алчности своей,
Надежды губит рыбарей!
Я помню—так не раз бывало!—
Спустился вечер—запылало
На поднебесной высоте,
Кругами пламя выступало;
Полнеба, в чудной пестроте
Горя и рдеясь, не сгорало!..
Но ярко меж ночных теней
То реки молний без ударов,
То невестственных пожаров,
Бездымных неземных огней
Сияли пылкие разливы,
И сыпались лучи в тиши;

Порою ж — роскошь для души —
То светлых радуг переливы,
То чудный бархатов отлив,
И с яхонтом смарагды в споре
Хрустальное браздили море...
И в этой же картине див,
По тем водам и злато нив,
И цвет фиялы и шафрана,
И черный лоск, как перья врана,
И отблеск вишневый горит!..
И тут-то, в празднестве природы,
Как степь распахая воды,
Убийства совершает кит...
Как страшно, жадный, он теснит
Среброчешуйные народы,
Воюя в их немых толпах!
На брызжущих над ним столпах
Заря холодная играет:
И вниз и вверх перебегаёт,
Как луч, как яркая струя,
Волнообразная змия!
Печальна участь мелких рыб,
Как участь мелкого народа!
Под страхом жизнь... И их свобода
Как шаткая морская зыбь.
Насилье губит ихню хитрость!
Вот вынырнул тюленей ряд!
В них видны замысел и скрытность;
Друг с другом сжались — знать, хотя
Линейную составить битву?
Они устроили ловитву:
К заливу их полки плывут
Большим вогнутым полукругом
И всё живое в плен берут!
И, уживаясь все друг с другом,
Живую сеть свою ведут;
И сельдь и лох, добыча жадных,
Бегут они от беспощадных
И мечутся на берега,
Или толпой теснятся в реки:
К врагу в добычу от врага —
Там ждут их сеть и человеки!»

11

Темнее становились ночи,
Коснулась осень до лесов,
И чаще слышен клич волков;
Как свечи, теплятся их очи...
Вблизи ж порой рассеет мрак
В своем приюте молчаливом
Живой алмаз с златым отливом
На мшистом камени — светляк!
Но уж в лесу не так безмолвно:
Пустынники втроем сидят,
И струны правильно звенят!
Чье сердце чувствами так полно?
Он в звуках их передает,
Он песню сельскую поет:
«Бывало, мы толпой глядели
Сквозь наши темные леса,
Когда на озере белели
Карельских лодок паруса.
Однажды озеро яснило,
А берег был утрюм и дик,
И вдруг с подножья закишело.
И встал какой-то чудный лик!
В его глазах светлело пламень,
Он плыл на наволок пустой,
И смело сел на серый камень,
И вынул гребень золотой.
Я испугалась, убежала,
Но все смеялись надо мной:
«Как ты проста: ты не узнала:
То наш хозяин водяной!»
Он говорил им о Кареле,
О финнах горной стороны,
Где, в их глуши, на самом деле
Поверишь басням старины.
Там часто сам, как дух в туманах,
Пастух иль рыбарь на скалах
Поет таинственные руны,
Уж непонятные для нас!
И часто в полуночный час
Звучат под шум дубравный струны,
И движется в его руках
Созданье бога Вейнамены,
Преданья рун его бесценных:

Убереглись они в веках...
«Я затвердил сии напевы!» —
Наш гость хозяевам сказал,
И, преклонясь на просьбу девы,
Он руны древние читал.
Так длинный вечер их пустынный
Весь посвящен был старине;
И повторял им гость, что люди
В их Саволакской стороне,
Для слуха ласковым языком,
Поют о давнем, о былом,
Беспечно, сидя над стеклом
Своих озер, в приюте диком...
Но он певал и об ином:
О юноше, о горькой доле,
О чем-то грустном: о неволе
В каком-то месте потайном.
Когда ж то было? — Чьи страданья?..
Как знать? — то в давних временах!
Но вот, что занял от преданья,
Поет он, вторя на струнах:
«Не слышно шуму городского,
В далеких башнях тишина,
И на копье у часового
Горит янтарная луна...
А бедный юноша, ровесник
Младым цветущим деревьям,
В глухой тюрьме заводит песни
И отдает тоску волнам:
«Прости, отчизна, край любезный,
Прости, мой дом, моя семья;
Я за оградой железной,
И уж не свой вам больше я!
Не жди отец меня с невестой,
Сломись венчальное кольцо;
Застынь мое на свете место,
Не быть мне мужем и отцом.
Сосватал я себе неволю,
Мне дети — слезы и тоска;
Но я молчу... Такую долю
Взяла сама моя рука».
Уж ночь прошла; в лазурном поле
Давно день новый засиял;
А бедный юноша в неволе
Всё так же жалобно стенал,
Всё ту же песню напевал».

Как песни слушала слова!
Как ими дева любовалась!
Но отчего на грудь склонялась
Ее прелестная глава?
О чем так тихо ты мечтала?
И слезы искрились о ком?
Она кого-то узнавала
В том бедном узнике младом!
О нем душа тоской болела,
И кинуться к нему она,
Как к брату милому, хотела,
Но, страха тайного полна,
Раскрыть души своей не смела,
И чувство скрыла в первый раз,
И вот впервые покраснела!..
Молчит... поднять не смеет глаз.
Так встречи друга и напевы
Околдовали душу девы,
И новый мир открылся ей,
Но уж не стало мирных дней..
«Я знаю, только не одно
Здесь место мы переменили;
Когда-то, было то давно,
Мы в том улусе обитали,
Где бор расчищен был как сад,
Где жатвой красовались горы,
Где были тихие озера
И шумный, шумный водопад;
Мы от людей там были ближе,
Как милых братьев их любя;
Но почему—как знать?—они же
Нас удалили от себя!
Бывало, как я веселилась,
Когда придут они в леса;
Людские слыша голоса,
Я где-нибудь в глуши таилась
И слушала.—Вдали весной
Так сладко раздавались песни.
Однажды к нам в приют лесной
Зашел ребенок, мой ровесник;
Как рада я ему была.
Я всё играла с ним, играла,
Отстать от гостя не могла:

То ягоды ему собирала,
То для него венки плела;
Но мать его за ним пришла,
И долго я по нем скучала...
Так мы гостили в тех горах,
Но с ними свыклися напрасно:
Отец сказал раз: тут опасно!
И в эту глушь нас загнал страх».
И нашим гость их говорил:
«Друзья! я видел Север дальний,
Невольный странник, посетил
Я край изгнанья, край печальный,
За коим больше нет земли;
Тех диких скал к гранитной груди
Прильнуть не смеют корабли;
Не смеют поселиться люди
На тех гранитных вышинах,
При тех бунтующих волнах;
Над Беломорскими водами
Я в думах пасмурных сидел
И с изумлением глядел,
Как волны мутными рядами,
С кипящей пеной на хребтах,
Влача грохочущие льдины,
Как чада ночи—исполины
В народных сказках и в мечтах,
Несутся бурею прилива,
Гора сшибается с горой,
И новых льдов находит строй,
Как рать в походе горделиво.
Так, днем и ночью в тишине,
Меж скал, где всё безлесный камень,
Громады льдистые в огне:
Из ребр их брызжет звонкий пламень...
Там не браздит резец сохи
Оцепенелые равнины,
Одни лишь поросты и мхи
Узорят дикие картины».

12

Не все могильной тишиною
Пустыни Севера полны:
Здесь часто бор кипит войною;

Враждой взаимной созваны,
Устраясь дружными толпами,
Выходят векшей племена
Лесными, тайными тропами:
У них объявлена война!
И смельчаки из-за Онеги,
От Киж до Ялгубских боров,
Несутся в быстрые набеги
И чутко ищут след врагов.
Не спрячет робкого дубрава!
По соснам рыщут летуны...
Ужель и им знакома слава?
Какой мечтой упоены?
Нашли... под корбой на поляне
Беспечен враг в надежном стане —
И кинулись... и бой кипит...
Они визжат... они схватились,
Грызутся... кровью обагрились,
И берег мертвыми покрыт.
Ужасен грозный победитель,
И мчится побежденный в бег:
Шумит ордой Онеги брег,
И часто изумленный зритель
Глядит, как серые полки
Чрез зыбь волнистую реки
Или отважно, над заливом,
На ветвях, корках и щепках,
Несутся, флотом, торопливо;
Хвосты — им парус; на хребтах
Они распущены и веют...
Верна лесная им кора:
Она несет их... и пестреют
Сей чудной ратью озера!
То векши с дальнего набега
Спешат в леса родного берега...

Как будто чуя зов войны
И близость тяжкия години,
Карелы дикой исполины
Идут из северных лесов;

И страшны лютых орд походы,
Тропы под их стопой трещат,
Их очи заревом горят,
И, в гневе, тяжкие колоды
Они ворочают... Беда,
Кто хоть случайно иногда
У алчущих оспорит снеди,
То дивы Севера — медведи!
Напрасно длинногривый конь,
Как ветер вольный и игривый,
Летит, как вспыхнувший огонь,
В степи чрез пожити и нивы,—
Погубит смелого обман:
Медведь нейдет с ним в бой открытый,
Он чует меткие копыты;
Но из-за сосен <великан>
Взмахнул своей косматой дланью,
И нет коня!.. Свиреп и дик,
Один идет, открытой бранью
На страшного карельского быка!
Объят великодушным гневом,
Сей пастырь стад громит врага.
Леса полны их диким ревом,
И часто, крепкие рога
Могуче в чрево исполина
Вонзив, его, как в башню, прет,
Доколе пастыря дубина
Или топор его добьет.
Как часто пастыри толпой
Бегут в тревоге с страшным криком,
Когда медведь лесной тропой
Под стадо крадется... И кликом,
И звуком их витых рогов
Суземских, длинных, из березы,
Махая кольем в знак угрозы
И клича свистом к драке псов,
Они пугают великана,
Боясь за стадо. Он упрям,
Он сел на корты, дик и прям,
Как черный пенёк из-за тумана;
Они — его, он их страшит;
Напрасно врассыпь, справа, слева
Бегут. Дикарь наш, полный гнева,
Чего коснется — всё крушит.

И вот камней и сосн обломки
Швыряет метко в них силач,
И рев его густой и звонкий
Шумит по дебрям, как Кивач!..
Но хитрость пагуба для силы;
В заман сокрытой западни
Силач уловлен, и унылый,
С кольцом в ноздрях, он грустно дни
Ведет, и, вспомя лес и степи,
Порой грызет напрасно цепи...

14

Где наш медведь? Он домоводец.
И какова его судьба?
В смиренном звании раба
Он чей-то сторожит колодец.
И, должность ведая свою
И опытом узнав сноровку,
Вертит на колею веревку
И тянет вверх с водой бадью.
Он поумнел в своей неволе,
Смирённый цепию медведь!
И вот, хотите ль посмотреть,
Как в замшевом своем камзоле
Силач трудится с кузнецом!
На дыбях стоя молодцом,
Он страшный подымает молот,
Взмахнул (увидим чудеса!..),
И ком железный им расколот,
И лентой вьется полоса!..
Силач усталости не знает,
Его ничто не истомит.
Одно, порой, его пугает:
Он головою завертит
И взвоят вдруг, когда огарки
Летят в звездистых брызгах ярких,
Вопьются в морду... Он грустит:
Где прежняя его отвага?
Где удаль жизни лесовой?
Поникнув в скуке головой,
Он подряхлел. Но всё, бедняга,
Холодный ко всему как лед,
Еще он страстно любит... мед!

И шаловливые мальчишки
И взрослые, туда ж под стать!
(Знать, детские у них умишки)
Бегут без жалости пытаться
Седого лакомку. Краснеет
Под медом сковорода, шипя,
В глазах у старца что-то рдеет:
Почуял запах... и, кипя,
Нетерпеливо мед хватает.
Ожегся... сковороду вдаль,
Мурлыча, с яростью швыряет,
И тяжкую свою печаль
Он тяжким стоном выражает...
Медведь ослеп, он без зубов,
Он дряхл, и когти притупились;
И вот бездушники столпились
И вывели на сворах псов.
Он окружен... Его терзают,
Но свирепеет наш Сампсон,
На миг в нем силы воскресают,
И бьет врагов лукавых он!
Громит, коверкает, увечит
И далеко визгливых мечет...
Но пагубный стрелка свинец
Его, громящего, пронзает,
Он лапой морду закрывает —
И ниц (он чует свой конец!).
И вот (меж тем как стая лает)
Вздыхнул и умер. — Человек...
Тиран! Природы оскорбитель!
Так ты земной проводишь век!
Созданий божьих губитель,
Презренный ловчий! Ты в борьбу
С лесным не смеешь великаном:
Ты ловишь грозного — обманом,
Ты зол и хитр. А ты судьбу
Возвысить должен земнородных!
Вся тварь давно с тоскою ждет,
Когда Адамов сын пойдет,
В высоких думах благородных,
К давно забытым небесам,
К своим утраченным правам.
И что же он?.. Мне раз приснилось,
Что вихорь землю возмутил —

От молний небо раскалилось,
И страшный ангел затрубил...
Я ждал, что буря вскроет гробы,—
Могил не тронулась печать;
Но с шумом из земной утробы
Скелетов высыпала рать...
То были звери. Пред толпами
Верблюды двугорбый выступал,
И, движась мерными стопами,
Остатком хобота махал
Слон-остов. Некогда красивый,
Как призрак брел высокий конь;
Потух очей его огонь,
И ветры не трепали гривы...
Стада оленей, серн, слонов,
Погибших от ножа и псов,
Шли медленно... Покрылось поле
Зверьми, убитыми в лесах
И замороженными в неволе,
И загремело в небесах:
«Где он, губитель их хвастливый,
Он всю природу захватил,
И род лесных жильцов игривый,
И род пернатых погубил.
Леса — власы земли прекрасной —
Он прихотливо исторгал...
Где ж он?» И видел я, несчастный,
Как хищник схваченный дрожал.
Всё человека упрекало,
И всё звало его на суд:
Ему в ответ дан мир и труд,
А, буйный, он?.. Мне страшно стало,
И я проснулся...

15

Война еще другая есть.
Не знаем: мщенья ль порывы
Или обиженная честь
Влекут граждан трудолюбивых,
Разумных (бросив тишину
И труд) на бой метаться ярый,
Платить ударом за удары
И страшную вести войну:

То муравьи! Кто знает повод
 К их ссорам, к распре роковой?
 Но стар и млад (уж пуст их город!)
 Стремятся к битве полевой.
 За Трою ль распря? за Елену?
 Иль тесен стал родной удел?
 Иль мстят за горькую измену?
 Иль мчит их в бурю жажда дел?
 Теснятся, строятся в уступы;
 Рать черных с красными сошлась,
 И битва злобная зажглась:
 Сцепились, жалят... падших трупы
 (В грозе, в бою передовом)
 Краснеют в поле боевом,
 И стройно черных рать подходит,
 Стоит... и правильно крылом
 Крыло противника обходит
 И мчит на тыл за взводом взвод.
 Воскресла, мнится, Мантинея,
 И их ведет Эпаминонд!
 Всё больше, больше пламенея,
 Без устали отважных рать
 (Их поприща как тесны рамки!)
 Спешит разбитых добивать
 И приступом берет их замки...

16

«Гремит!.. а тучи не видать!
 Откуда этот гул несется,
 От гор горам передается...
 Как сходно! Хочешь вспоминать
 Военное... в былом походе...
 Послушайте!.. Еще звучит!»
 «Мой друг! то, верно, на заводе
 Орудий проба!»¹⁷ — «Нет! гремит
 Не так, не так!.. То звук знакомый,
 То боевой!.. Вот раз и раз!
 Вот залп!.. Как славно!» — И, влекомый
 Кипучим чувством, пылких глаз,
 От синей дали не отводит,
 То стоя руки ломит он,
 То скорыми шагами ходит:

Тоскует... А в долинах стон
Бегущих звуков над водою
Шумнее слышен по лесам...
«Ужель война? Ужели к нам
Опять француз пришел с бедою?
Француз далек: тут ближе швед!
Кто б ни был! — В путь! Увижусь с братом:
Он при царе! — Мне дела нет!
Скажу: хочу служить солдатом!
Солдатом заслужить вину...
Я душу им мою открою!
Я кровью прежнее омою:
Я знал... Любил... Люблю войну!»
(Поспешно уходит.)

17

Его уж нет! Уж в одинокий
Приют страдальцев ночь сошла;
Но полоса была светла
Над городом, в выси далекой.
Ужель война?.. Скорей пожар! —
Объяты смутою невольной,
То звон внимают колокольный,
То в сумерках им виден шар,
И разноцветными огнями,
Как бисером, унизан он!
Уж ночь, а с ней не сходит сон!
Пестры озера челноками,
И на конях кареляки,
В какой-то, кажется, тревоге,
Спускаются к большой дороге.
Отец и дочь полны тоски...

18

Проходит день... другой... опять
Всё тот же гром и мнятся клики;
Но ожил чем-то край сей дикий...
«Но что там?.. От кого узнать?..
Неужель битва в самом деле?
Сие движенье? Этот гром?..»
Так рассуждали и глядели
На дальний дым, на даль с огнем.

Прошли пустынных две недели;
Затихло всё в бору глухом.
Томится дева молодая,
Ей стал постыл сей край лесной;
Душой больна, душой страдая,
Грустит. Серебряной луной
Блестят и бор, и лесосеки,
И безволосая гора*.
Как ленты развивались реки,
И длинным рядом озера
Лежат, как стекла в пестрых рамах.
Но, позабыв и чары сна
И пищу, всё одним полна,
Как образ истукана в храмах,
Она, недвижная, стоит
И в даль туманную глядит...
Уже покинут клест игривый,
И лебедь ходит одинок:
Не водит розовый шнурок
Его за девой молчаливой...
Заря зажглась над синевою,
Душа согрелась надеждой,
И ранний ветер боровой
Играет с синею одеждой...
Но тщетно! Гаснет день... Туман
Слоями кутает долину,
Была надежда та — обман:
Она удвоила кручину!
«Его забыть я не могу! —
Родному дева говорила. —
На этом диком берегу
Еще оденется могила...
Страдать теперь... Нет больше сил!..
Зачем заботливой рукою
Ты дочь пустыни воскресил!
Я расцвела! Душа играла,
Мне сносен был сей мир лесной,
Но он взглянул — я запылала
И раздружились с тишиной,
Я с ним, как с братом, подружилась,
К нему привыкла; с ним душа
В тиши лесного шалаша
Как божьим небом веселилась,

* Гора с открытой вершиной — лысая гора. (Прим. Глинки).

И он... Что так мертво и жмет
Меня болезненной тоскою?..
Придет ли друг?..» Идет! Идет!
Бежит и машет им рукою,
В другой—он хартию несет...
«Молитесь, милые!.. Свобода!
Скорей из сих несчастных мест!
Друзья! читайте... Манифест!..
Слезами русского народа
Омочен Александров прах,
Он опочил, монарх великий!
Но царство больше не в слезах!
Всё праздник! Всюду пир и клики...
Я расскажу: оставя вас,
Бегу, тревожный, беспокойный,
Вдруг парус!.. Я кричу, то соймы!
Я к ним. Помчал шелойник¹⁸ нас...
Уж ночь; но город, всё пылая
(И мне он был как новый мир!),
Пирует свой трехдневный пир,
Шумит и славит Николая...»
(Отдает им читать печатный лист.)

19

Они прочли, они узнали...
В тревоге, в радости, в слезах
Они всю душу изливали
То в восклицаньях, то в мольбах.
И вот отец: «О час любезный!
Как я тебя тоскливо ждал!
Я мыслью сон тот лобызал,
Когда ты снился... Край железный,
Прощай! Прощай, отчизна скал!
Всё это томно-водяное,
Где жизнь в тоске, без смерти мрет!
Увижу скоро я—родное:
Там вишня весело цветет!
Пленительны там в рощах песни,
Там долго соловей поет...
Наш дым... мой дом—он мне ровесник!
Мое Никольское село,
Увижу всё... В душе светло!

Кипит молитва над устами:
 «Миры вращая и творя,
 Владеющий над высотами,
 О боже сил! храни царя!
 И будь наш русский царь спокоен,
 Цвети твой дом, твоя семья!
 В войне по славе первый воин,
 И в мире первый будь судья!
 Молитесь, дети! (на колени!)
 За счастье доброго царя!..»
 Уж сизые ночные тени
 Сошли... Уж гаснет в них заря...
 Но что ж в пустыне?.. Всё молчало
 Как гроб... Там никого не стало!..

Эпилог

1

На Александровском заводе
 Заказан камень гробовой;
 И разнеслась молва в народе,
 Что в глушь, дорогой боровой¹⁹,
 Везти тот камень, там поставить
 Часовню, склеп с большим крестом
 И часто панихиды править:
 Над кем же это, то по ком?
 Чета несчастная скрывалась
 В дичи тех недоступных мест:
 Она с тоски в земле осталась,
 Его избавил — манифест...

2

Вдали, в России, где родное,
 Где всё в тепле живей живет,
 Где уж не томно-водяное,
 Где долго соловей поет!
 Где есть дворянство и соседство²⁰, —
 Недавно разнеслась молва
 Про свадьбу чью-то, про наследство...

И повторялися слова
Неясные... (и стороною),
Что кто-то возвратился к ним
С страдальцем тестем и с женою —
И все знакомилися с ним...
И шла молва о манифесте,
И у святого алтаря
С крестьянами помещик вместе
Молебны правил за царя...

3

В старинном английском саду,
На светлом зеркальном пруду,
Видали, плавает, и смелый,
И стройный, тихий и ручной,
Туда привозный, лебедь белый;
И с молодой своей женой
Пловца-знакомца закликает
(Когда на том пруду гуляет,
Вечерней тешась тишиной)
Веселый барин. Разговоры
В светелках слуг и у господ:
О той стране, где много вод,
И где с колочим лесом горы,
И редко заселен народ.
Как мило барыня одета:
На ней вуаль струей и шаль,
И скоро молодые лета
Былую сгладили печаль.
Она живет душой одною
С своим супругом и отцом;
Сдружилась с стороною родною;
Но при гостях, в кругу большом,
Ей будто душно и неловко...
И часто, к плечу головкой
Склоняясь, с думою в очах,
Она мечтает... о лесах...
И в ней дивятся стройной ножке,
Блестят и кольца на руке;
Лишь в непроколоте ушке
Алмаз не искрится в сережке...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Валунами называются камни, часто огромной величины: это обломки первосозданных гранитных гор, принесенные сюда каким-то великим движением вод.

² В окрестностях высот г.Петрозаводска, как, например, из деревни Сельга («сельга» на языке туземцев значит распаханная гора) и с других возвышений, видны места лесистые, пустые, никем не обитаемые, которые сияют на горизонте длинным; ибо он, всегда почти бестуманный, открыт на большое пространство. Насчет крайней уединенности таких лесных пустыней рассказывают следующий забавный анекдот. Обыватели лесной деревеньки, живущие, как здесь говорится, наедине, удалены будучи от приходской церкви и всякого сношения с местным населением, ведут свой расчет без святцев и календаря и однажды ошиблись весьма неловко.

Один из них приехал в город закупать провизию для масляной недели. Горожане, изумясь, спрашивали: «Да для чего закупаешь ты скоромное?» — «Для масляной», — отвечал тот. «Какая теперь масленица? Ты слышишь, звонят по великому посту: уж первая неделя!» Покупщик, разумеется, возвратился к своим и объявил, что они масленицу просчитали!

³ «И звери вьются близко хижин». Здесь замечено, что звери охотнее собираются там, где больше засеянных полей и домашнего обзаведения. Из пустынь выгоняет их, вероятно, недостаток в прокормлении.

⁴ Урками называется повинность в натуре, которую отправляют крестьяне Петрозаводского уезда, приписанные к казенным заводам. Под названием урков (или уроков) возят уголь (который жгут в лесах) и руду, добываемую со дна озер.

⁵ «Он крыльями примерз ко льдам». Один из здешних чиновников сам таким образом поймал лебедя; обеспечась красным осенним днем, лебедь расположился плавать на одном из пустынных озер, которое при внезапно переменявшейся температуре (что здесь случается очень часто) вдруг начало мерзнуть, и крылатый плаватель захвачен леденеющей поверхностью воды. В Повенецкую и Беломорскую Карелию налетает много лебедей; есть даже в Лекшморецком приходе одно озеро, названное Лебязьим. В той стороне открыт ныне богатейший запас лиственницы.

⁶ С наступлением летних жаров здешние скалы сильно нагреваются, так сказать, натапливаются. От сего и розы растут на здешних скалах (как говорится: на припеке) во множестве. По долговременному наблюдению бывшего управляющего Олонецкими заводами г-на Бутенева, большая часть полей северо-восточной сей губернии лежит на каменистом грунте, и земля во множестве перемешана с гальками, и вот почему лучший посев ярового хлеба бывает поздний, ибо каменистая почва, будучи нагрета дневным зноем, сохраняет теплоту и по ночам, отчего растительность ускоряется; иначе зерно могло бы зазбынуть в земле, еще не довольно нагретой.

⁷ «И был лишь вечер без ночей». С конца апреля и в мае наступают здесь, так сказать, ночи бесконечные. Солнце почти не заходит: одна заря, как говорит народ, сменяет другую. В воздухе бывает ни темнота, ни свет — нечто среднее. Звезд не видно, высокое небо цветом как полинялая голубая тафта; иногда является луна в виде плоского бледно-золотистого кружка. Этот полусвет, нерещи-

тельный, томный, как и в нравственном смысле всякая нерешительность, наводит уныние. Глаза, привыкшие к темноте, боятся сомкнуться. Что-то как будто потеряно, чего-то ожидаешь. Альфьери, известный трагик, в путешествии своем на Севере испугался сих странных ночей.

⁸ Приметная желтоватость есть общий оттенок лица здешних жителей.

⁹ Весною здешние ели покрываются множеством ярких глянцеви́то-розовых шишек, на других же они зеленые. В последних созревает желтовидная пыль, которая, разносясь ветром, оплодотворяет первые; от сего зарождаются семена, снабженные тонкими крыльшками. В свое время бури разносят сии запасы крылатых семян, и таким образом производятся посевы красных лесов. В продолжение холодных зим семена сии, добываемые из еловых шишек, составляют любимую пищу клеста и других мелких птиц, как, например, чижей, поселяющихся в затишных приютах карельских корб.

¹⁰ Здешние скалы служат убежищем змей. Особливо их главным местопребыванием почитаются Ивановские острова, в виду г. Петрозаводска, на озере Онеге. Там, как рассказывают, змеи встречаются во множестве. В ясные дни они лежат на скалах, растянутые как ленты, и лоснятся, греясь на солнце. По молве народной, там находится змей с двумя головами!

¹¹ Наволоком называется здесь мыс. Сие название показывает, что здешние мысы намыты, или навлечены водою.

¹² «Растут в Онеге острова: все выше... выше их глава!»

На озере Онеге приметно одно любопытное явление воздушной оптики. Ивановские острова, в обыкновенное время равные с горизонтом воды, начинают возвышаться и расти (так кажется глазам!) перед наступлением непогоды и северо-восточного ветра. По этому явлению без ошибки узнают скорую перемену в погоде.

¹³ «И ель, свидетель трех веков». Здешний оберфорштмейстер Кирсанов при делании опытов по случаю открывшейся новой комиссии по заготовлению листовных лесов под ведением флигель-адъютанта Лазарева нашел, по перечету слоев, что многие ели выстаивали по два с половиной века и могли бы простоять еще долее.

¹⁴ «Боятся леший...» Есть преданье, что лешие, духи лесные, чрезвычайно боятся грома!

¹⁵ «Куда-то чью-то сойму мчало». Один из здешних граждан М. рассказывал, что подобный вихорь опрокинул его сойму. Он плыл с братом. Выкинутые из судна, они схватились за борт и снасти и таким образом, под бурею, в 10-ти верстах от берега, носились между жизнью и смертью, пока стихло и жители прибрежных деревень, выехав на лодках в свой приход к обедне, услышали крик терпевших погибель и подали им помощь.

¹⁶ В здешних местах нет ни пчел (домашних), ни перепелок, ни соловьев.

¹⁷ По отличии пушек на здешнем Александровском заводе производится проба оным. Тогда поднимают извещательный флаг для плавающих по Онеге, ибо орудие заряжают сильными зарядами и выстрелы делают ядрами, которые иногда, минуя вал, улетают далеко на Онегу.

¹⁸ Шелойник — значит юго-западный ветер.

¹⁹ Боровыми дорогами называются здесь тропы, нарочно проложенные в самых диких местах для возки угля, дров и руды.

²⁰ В Олонецкой губернии почти вовсе нет дворян, оттого нет ни съезда в городах, ни выборов. Все чиновники от короны. Недостаток дворянского сословия весьма ощутителен по многим отношениям. Кажется, недостает чего-то в быту гражданского общества. Нет сомнения, что, будь здесь дворянство, многие из здешних скал украсились бы приятными усадьбами, развели бы сады, может быть, и пчел домашних, ибо дикие (если так можно назвать шмелей) водятся сами. Все здешние жители (из служащих) только на время: никто ничем не обзаводится.

Для населения сего края, бедного (только) людьми, по изучении местности, сами собою представляются три способа:

а) водворение дворянства; б) поселение колоний. На берегах Онеги переселенцы из трех краев Германии, где уж тесно жить, нашли себе простор и большие угодья: в подручных водах — рыбные ловли, в лесах — дичь и звери, и самая почва, удабриваемая естественным наземом гниющих листьев и ветвей и торфом осушенных болот, доставляла бы урожай, которому едва ли найдется равный в лучших краях России и в самой Германии. В пример такого урожая довольно упомянуть о нижеследующем: Петрозаводского уезда, Салменижской вотчины, деревни Лахты, крестьяне Федор Иванов Трухпоев и Козьма Петров посеяли (в 1826 году) на выгоревшем болотном сенокосе ржи шестнадцать четвериков, а вымолотили четыреста четвериков! — в том месте торфяной грунт горел почти на аршин в глубину. Воздух в сих возвышенных странах отменно чист; многие источники имеют свойство железистых вод. И дозволение свободной разработки железных и медных руд (таящихся по диким местам сих уединенных пустынь) могло бы также привлечь многих охотников к устройению частных заводов рудоплавительных, для выкурки дегтя и смолы, для гонки скипидара и добывания купороса; проложились бы дороги от одного заведения к другому, и движение людей скрасило бы пустыньность. К сему уже есть некоторое начало в дозволении вольных приисков и выработки золота на Воицком руднике, которого поддержание оказывается небесполезным для казны. Но частные люди могут иметь и так свои расчеты.

А.И.Одоевский



ВАСИЛЬКО

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

1

Кипел народ на стогнах Теробовля.
Глашатая послыша громкий зов,
Спешили стар и млад; они, как волны,
Со всех сторон стеклись на княжий двор,
Сошлись в толпы и шепчут: «Что задумал
Наш Василько? зачем он позвал нас!»
В волненьи ждут, жужжа как рой пчелиный.
И вышел князь со светлою дружиной.

2

Явился он, как месяц в сонме звезд.
Замолкли все и низко поклонились.
Склоня чело, он с красного крыльца
Заводит так отеческое слово:
«Вы знаете, сыны мои! для вас,
Для тишины всей Руси православной,
Был съезд князей, где, потушив раздор,
Мы клятвою скрепили договор.

3

Князь Святополк и Мономах разумный,
И все князья, сев на один ковер,
Мы в Любиче, как братья, примирились.
Нет! полно нам губить свягую Русь:
Мы, русские, забыли мать родную,
У матери — сыны терзали грудь.
Но мир настал — и крестное лобзанье
Ее навек окончило страданье.

4

Уже на Русь не придут, как на пир,
Толпы врагов за вражьими толпами;
И господом благословенных нив
Их бурные набеги не потопчут:
В былой красе восстанут города,
И где теперь церковей сереет пепел,
Там снова Спас сберет под отчий кров
Своих людей, спасенных от оков.

5

Во времена раздора бог все кары,
И глад, и мор на нас ниспосылал;
Но он призрит на клятву примиренных.
Мы на кресте произнесли обет:
Да будет Русь нам общею отчиной,
И если кто из нас нарушит мир,
Восстанем все! Пойдут на брата братья,
И крест и огонь, палящий огонь проклятья!

6

Теперь, когда вся Русская земля
Ограждена и крестным целованьем,
И дружными щитами всех князей,
Что медлить нам? Подыдем стяг на ляхов;
В пределы их внесем огонь и смерть,
И сломим дух врагов непримиримых.
Но кто из вас последует за мной
В веселый пыл тревоги боевой?

7

Пойдем, друзья, за славой и добычей
В страну врагов. Пусть старцы, пусть отцы
Блюдут дома и вежи охраняют;
Но трубный звук вас, юноши, зовет!
Во бранях вы еще не искусились.
Идите в бой—и ляхским серебром
Соборный храм заблещет; наши жены
Украсят им домашние иконы.

8

Что, други?» — «Все готовы за тобой! —
Воскликнули и юноши и мужи.—
Мы рады все за нашим Васильком!»
И двинулись к нему в порыве сердца,
И пламень, как зарница, заиграл
Во всех очах толпы тысячеглавой.
Все рвутся в бой, все восклицают вновь:
«Твои — наш конь, наш меч, вся наша кровь!»

9

Тогда один из городских старейшин
Ступил вперед: «Кто от души не рад
И честь и смерть делить с твоей дружиной?
Но ты у нас гостишь, а не живешь,
А без тебя мы красных дней не видим.
Останься: суд нужнее нам войны.
Когда ты здесь — и тяжбы нет в народе:
Живем в любви на отческой свободе.

10

К тебе идем на суд, на княжий двор
Все с радостью: и смерд и горожанин.
Пойдешь в поход, — тиун твой судит нас,
А не мирит, как ты, наш миротворец». —
«Нельзя нам ждать, — князь старцу отвечал, —
Дни осени настали, а весною
Не захочу оратая коней
Отторгнуть от неспаханых полей.

11

Вас лях своим считает достояньем:
Он помнит дань Червенских городов.
Нет, верьте мне: в душе его коварной
Не дремлет месть, он не забудет век,
Как, нашу Русь от половцев спасая,
Навел я их на Польшу; как поля
Опустошал я хищными полками
И села жег, губя врагов врагами.

12

Но снова лях послышит грозный клик:
На помощь звал я торков, берендеев
И половцев союзных племена;
Навстречу им я с младшею дружиной
Иду на Днепр и буйные толпы
Сам проведу чрез русские пределы;
Настигну вас, и с бугских берегов
Мы дружно все нахлынем на врагов».

13

Князь Василько окинул всех очами,
И, поклонясь народу, в гридню он
С дружиною при кликах возвратился.
Все разошлись обратно по домам;
Младые, сняв со стен мечи и копья,
Острили их, и холили коней,
Да слушали, когда отцы и деды
Вели рассказ про прежние победы.

14

Оседлан конь княжой; он у крыльца
Храпит и ржет, по всаднике тоскуя;
Грызет он сталь и мечет гордый взор
На конный строй, оружием блестящий.
Как жар, глаза его сверкают. Под уздцы
Два отрока его, лаская, держат,
И, под седлом играя, бурый конь
Горит в золотых отливах, как огонь.

15

Весь сонм бояр нисходит по ступеням;
Но князя нет. В божницу он вошел
Обнять свою Мстиславу на прощанье;
Он к ней вступил, и всплакалась она.
«Ты едешь? ты не тронулся ручьями
Горючих слез? меня тебе не жаль,
Не жаль меня, предчувствием томимой.
Теперь не я, а меч—твой друг любимый».

16

Огонь течет — не слезы — из очей!
«Сердечный друг! нет, ты меня не любишь!
Не веришь мне! — не верь, а ждет гроза!
Вчера мои две девушки сенные
К ворожее ходили: «Черный путь!»
Заснула я, но смутное виденье,
Зловещий сон мою встревожил грудь,
И слышалось вприсонье: «Черный путь!»

17

Не знаю я, сороки или ведьмы,
Но злую весть на утренней заре
Над теремом вещуньи щекотали:
«Не быть добру». — «Ни снов, ни темных сил
Не бойся! Я проездом через Киев
Свершу обет; молебен отслужу
В обители святого Михаила:
Нас осенит покров его и сила.

18

Я помолюсь, и даст победу нам
Заступник мой, небесный воевода». —
«Так едешь ты? Но вспомни — нас господь
Благословил: в себе ношу я бремя!
Твой первенец родится в божий мир
Не при тебе; и кто же первый взглянет
На твоего младенца?» Слов своих
Не кончила, неволью голос стих.

19

Она, вздохнув, к его груди припала
И, как дитя, слезами залилась.
«Не плачь! поход на ляхов не продлится...»
Но слово сам едва договорил...
Главою к ней склонился, обнял друга,
Поцеловал в чело, перекрестил
И, скрыв в душе кручины тяжелой бремя,
Сошел, ступил в серебряное стремя.

20

Двор застучал от топота копыт.
Дыханье занялось в груди Мстиславны;
Из терема взглянула — нет его.
Последний строй, ряд отроков и гридней,
В тесовые теснился ворота,
Напутствия по стогнам раздавались,
Двор опустел — но в опустелый двор
Еще она вперяла тусклый взор.

21

Затих и шум вдали, но жадным слухом
Еще она ловила каждый звук,
И крупные жемчужины катились
С горячих вежд из глубины очей.
Она в тоске упала на колена,
К иконе взор сквозь слезы возвела;
И скорбь души, всю тяготу печали
Ее уста в молитве изливали.

22

Граждәне между тем, за строем строй,
На красный двор несли свои доспехи,
За ними вслед раздался стук колес.
Куда везут их брони? На Владимир,
А через день идет и войско в путь.
Три мечника несут княжие латы,
Звенящую кольчугу, шлем стальной,
Украшенный насечкой золотой.

23

Мстиславна сбор услышала походный
И девушку сенную позвала,
«Ты видела: без шлема, без кольчуги
Поехал князь? Он половцам себя
Доверит, как друзьям. Я всё забыла!
Его ли удержать я не могла?
Но на меня дохнула злая сила,
И всё не то я в страхе говорила.

24

Ворожея гадала при тебе?
Скажи мне... нет! пусть снова загадает.
Что ж выпало?» — «Она шептала нам:
Беда, как гром — не ждем откуда грянет».
«Так, половцы!.. Мне снилось: в грудь его
Вонзился нож, меня обрызгал кровью;
Ощупала рукою, — но по мне
Лишь капли слез струились в чудном сне.

25

Меня, мое дитя — он всё оставил.
Зачем народ не умолил его?
А я? Зачем в беспамятстве разлуки
Я именем господним, всех святых
К ногам припав, его не заклинала?
Но поздно! Он на киевском пути,
Взметая пыль с летучею дружиной,
Уже моей не тронется кручиной!»

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

1

Красуется престольный Киев-град,
Одушевлен народным ликованием:
Веселья, громкий гул колоколов
Расходится, как влаги круг струистый;
И звуки сурн и бубнов, слитый шум
Всех голосов, всех кликов благодарных,
Благих небес достойный фиммиам,
Соединясь, восходит к небесам.

2

Во всех церквах хвалу господню пели
За крестный мир, за светлый съезд князей.
Толпы граждан по граду волновались
Из края в край; во храмы рои жен
Шли в фerezях камчатных, да краснели
Как маков цвет; а гридни на конях,
Как соколы, по улицам летали
И нищих на княжой обед сзывали.

3

Все собрались на Ярославов двор —
Убогие, и странники, и старцы;
Перекрестясь, уселись вокруг столов;
Дубовые под брашнами трещали.
Добыча смелой ловли — там буй-тур,
Тут кабаны стояли, как живые,
И с влагою искристо-золотой
Одна стопа шипела за другой.

4

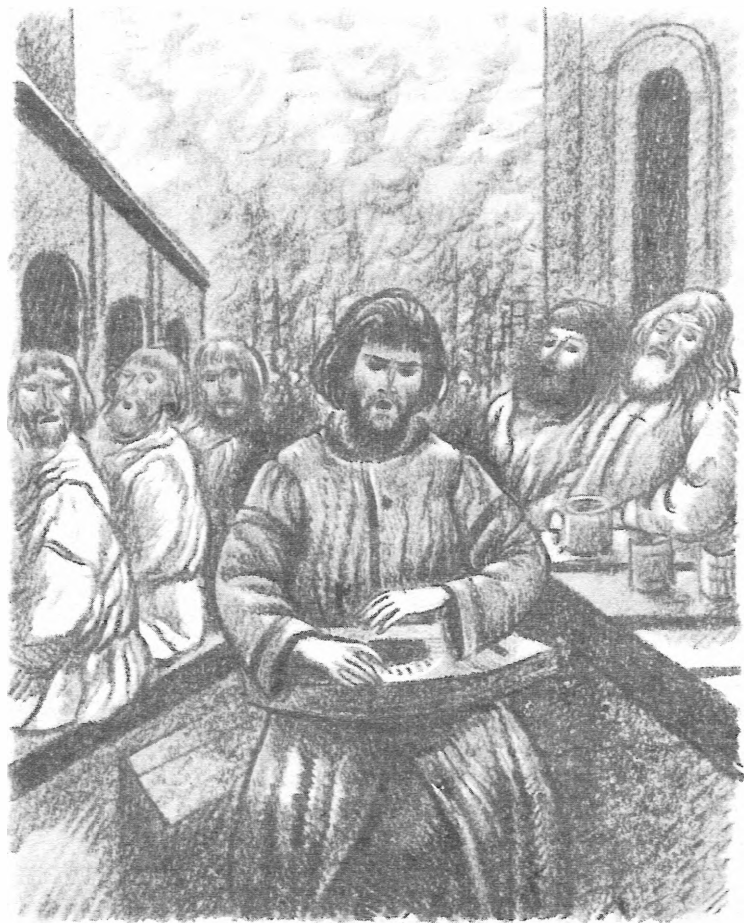
Сам ласковый хозяин с турьим рогом
Ходил вокруг и старцам подносил
Кипящий мед из рук своих державных.
За ним и князь Владимирский Давид,
И все бояре шли да угощали.
Народ, теснясь, толпился вокруг двора
И повторял гостей веселых клики:
«Да здравствует надолго князь великий!»

5

За трапезой был странник; на челе
Бездомие, быть может, и невзгоды,
А не лета, прорезали бразды.
Взор пламенел из-под склоненной вежды;
В окладистой и черной бороде
Довременно седины пробивались:
Так серебрит луны незримый луч
Окраины широких темных туч.

6

Он встал, когда приблизился державный,
С поклоном тихо встал он со скамьи,
Взглянул, — печаль в очах его сказалась.
«Ты беден? я на радость преложу
Твою печаль: и паволок и злата —
В сей день проси всего!» — «Великий князь!
Я беден, но что у души отъято,
Не возвратит твое княжое злато.



7

Я не тужу о бедности своей;
Богатым я не жил и не родился.
Нет! на сердце иное налегло:
Я вспомнил... но зачем тебя печалить
И облако на солнце наводить?» —
«Нет, странник, скорбь поведай мне!» — «Твой образ
Мне брата, князь, напомнил твоего:
Высокий стан и орлий взор его.

8

Уже давно нет князя Ярополка!
Он в землю лег, но памятную песнь
Еще сыны Бояна напевают.
Я пел дела, я пел и смерть его;
При мне он пал, я гнался за Нерядцем,
Мой жадный меч убийцы не настиг.
Но вот рубец! на память он остался,
Что честно я за князя подвизался». —

9

«Дай злата, князь! — прервал певца Давид, —
Он от тебя награды ждет за рану». —
«Нет, государь, жду милости иной:
Дозволь твою воспеть гостеприимство.
Пусть, нищие, за хлеб и соль твою
Отплатим мы хоть благодарным словом,
И мой напев, пройдя из уст в уста,
Умчит его в грядущие лета».

10

Запел Боян. В серебряные гусли
Не ударял он легкою рукой,
И с голосом не созвучали струны.
Нет, с хитростью певец, как соловей,
Не сочетал божественного дара.
Лилась песнь, как вольная струя,
По первому порыву, без искусства,
От полноты восторженного чувства.

«Видел я мира сильных князей,
Видел царей пированья;
Но на пиру, но в сонме гостей
Братий Христовых не видел.
Слезы убогих искрами бьют
В чашах шипучего меда.
Гости смеются, весело пьют
Слезы родного народа.

Слава тебе! Ты любишь народ,
Чествуешь бедных и старцев.
Слава из рода в будущий род!
Солнышку нашему слава!
Ты с Мономахом Русь умирил
Кроткой, могучей десницей;
Тучи развея, ты озарил
Русское небо денницей.

Слава князьям! но в стае орлов,
Слышите, грает и ворон.
Он напился туком гробов,
Лоснятся перья от крови.
Очи — красу молодого чела —
Очи, подобны деннице,
Он расклевал, — и кровью орла
Рдеется в орлей станице».

11

Еще стоял осанисто певец,
И чернѣй взор, как молния из мрака,
Сверкал. Глядел он долго на князей.
Народ не знал, хвалить ли, нет Бояна,
И княжих слов в недоуменьи ждал.
Но Святополк безмолвно озирался,
Сгущалась тьма на сумрачном лице,
И в горести забыл он о певце.

12

Он в гридницу медлительной стопою
Идет, склоня угрюмое чело.
И, проводив печального очами,
С упреком все взглянули на певца.

Зачем он пир расстроил?.. За державным
Один Давид последовать дерзнул,
Пытал лица, очей его движенье
И наконец промолвил утешенье:

13

«Я ближний твой по крови; кто иной
От всей души твое разделит горе?
Мне был он по тебе дороже всех,
И долго сам я сетовал о падшем.
Открой же мне всю душу: я твой друг!
Излей печаль о брате Ярополке,
И будет нам отраднее вдвоем
И горевать, и поминать о нем.

14

Господь, господь единый, а не люди
Тебя и нас утешит. Но к чему
В день пиршества певец, презренный нищий,
На язву яд излил? Что до князей
За дело им?» — «Я за любовь ко брату
Прощаю всё ему. Но что он пел?
Не верю я... Нет! я ли верить стану
Порыву чувств и пылких дум обману!» —

15

«Что песнь!» — «Что песнь? Давид, я сознаюсь,
Мне в душу песнь вдохнула подозренье.
О ком он пел?» — «Ты знаешь, Святополк,
Известно всем, куда бежал Нерядец». —
«Куда бежал!.. но быть не может, князь,
Не может быть. Как, дети Ростислава —
Убийцы? нет, они в крови родной
Не обагрят руки своей честной». —

16

«Я думал, что ты знаешь, мне казалось,
Скрываешь ты в груди своей вражду
Для тишины отчизны». — «Я? До гроба
Я буду мстить за брата моего,

До гроба мстить, и до последней капли
Я выпью кровь убийцы... Бедный брат!
Ты юный пал, душой и станом красный,
И не в бою померкнул взор твой ясный.

17

Но мне твоим не верится словам.
Скорее все, чем дети Ростислава...
Не верю!» — «Я напомним, Святополк:
Ты требовал от них главы Нерядца?» —
«Я требовал, и был бы выдан он,
Но он бежал». — «Живет он в Теробовле». —
«Как? Василько... убийцу... в свой удел...
Не принял, нет! не он его призрел...

18

Холодный пот с раздумья проступает;
Скажи мне, князь, ужели Василько?
Пусть Володарь, умерший брат их Рюрик —
Но тот ли, кто и славим и любим...» —
«Он черни льстит на вече, а дружина
За то его возносит до небес,
Что, с юных лет ее послушный кличу,
Водил ее успешно на добычу.

19

Да что народ! пусть славит он его;
Из гроба нам не вызвать Ярополка». —
И взорами впился в его чело:
Он жадно зрел, как дума тяжелела.
В помост глаза уставя, Святополк
Безмолвен был. Он шевелил устами;
От смутных дум горела голова,
Но на устах не строились слова.

20

По гриднице поспешными шагами
Прошел. «Меня сомненье тяготит;
Где нищий?» — «Князь, ты нищему доверишь?
Ему ли знать, он темный человек». —

«А ты, Давид, как знаешь?» — «Я? От многих...
От Туряка... но вспомни, Святополк,
Мы поклялись пред всеми, на налое,
Блюсти любовь и Русь хранить в покое.

21

И первый ты! Забудь же месть свою». —
«Мне брат, мне кровь его дороже мира.
Не буду я покоен... не могу
Покойным быть, пока я не открою
Всей тайны. Не томи: скажи мне всё...
Нет! ты не любишь брата... Из могилы
Он молит! к нам возносит скорбный глас:
На брань, Давид, на месть зовет он нас.

22

Он предо мной стоял окровавленный...
Ты побледнел, Давид? ты сам в лице
От жалости и гнева изменился.
Клянись же, дай обет, что будешь мстить
Как друг, как брат!» — «Я помню Ярополка!
А на душу греха я не приму;
Не навлеку на имя укоризны,
Что первый я нарушил мир отчизны».

23

«Так вот, Давид, твоя любовь ко мне?» —
«Поверь мне, что я предан всей душою
Тебе, мой брат старейший, но как друг
Не растравлю твоей сердечной язвы.
И так сказал я лишнее». — «Постой!
Иди! Ты стал душою слаб». И долго
Ходил один по гриднице пустой
То быстрою, то медленной стопой.

24

Луна взошла на вышину лазури
И сыплет свет с безоблачных небес
И на венцы Софии величавой,
И на святой Печерский монастырь.

Главы церквей, как звезды, отделились,
Светлея от серебряных лучей,
И Спасу в честь их сонм блистает звездный,
Как и небес сверкающие бездны.

25

Престольный град, по шумном торжестве,
Покоится, как море после бури.
Задумчив Днепр: едва струится он;
В его волнах не плещутся русалки
И песней заунывных не поют;
Их древние приюты опустели,
И крест святой из ясно-синих вод
Изгнал навек подводный хоровод.

26

Уже луна сребристее мерцает,
И сумраки спустилися на Днепр,
Прозрачное накинув покрывало
На горы и на сонный Киев-град.
Недвижим он! И только где Владимир
Крещенья свет излил на свой народ,
Во мраке челн, мелькая под горою,
Кольшется, лелеемый волною.

27

Но кто стоит, опершись на весло?
С челна глядит он на высокий берег;
Как тень, другой спустился. В зыбкий челн
Едва ступил: «Узнал ли ты, где нищий?»—
«Я с пиршества княжова шел за ним,
Над ним дышал, но во вратах, внезапно
Отброшенный стремлением толпы,
Уже с трудом следил его стопы.

28

Он скрылся. Я искал еще глазами,
Куда он путь направил; но в толпе
Пестреющей и странников и нищих
Не распознал я рубища его.

Рассыпались полунагие гости,
Остался я один. Но будь храним
Он ведьмами, в вертепах под землею,
Я всё его пристанище открою».

29

Сказал, и челн он оттолкнул веслом;
Ударил им по влаге; отскочило
Оно от волн и с плеском пало вновь.
Челн вышел из-под тени гор прибрежных;
Блеснув, струя змеею развилась,
Дошла до пол-Днепра, и по теченью
Чуть зыблемых, объятых негой волн
Она, светясь, следила легкий челн.

30

Без весел он спускался. Днепр покойно
Качал его, как старец колыбель.
«Ты слышишь ли, Туряк? звучнее пенье.
Ударь веслом». Протяжно голоса
Исходят из обители Печерской;
В ней луч блеснул; незримая рука
По храму цепь золотую протянула,
И полон Днепр молитвенного гула.

31

«Мне тяжело, Туряк!» — «Вернемся, князь». —
«Нет, всё равно: я Спасу неугоден.
В обители еще я утром был;
Давал обет ему придел воздвигнуть;
Что ж отвечал мне схимник Иоанн? —
Лежит ли грех на сердце, — покаянье,
А не серебром обложенный придел
Омоет дух твой от греховных дел». —

32

«Всё мало для монахов! Им хотелось
В твое княжое сердце заглянуть». —
«От схимника я к вещуну поехал,

Но отложил до ночи. Чернецы
Всё видят, знают: разгласят в народе,
Что жертву жгу богам моих отцов...
Как будто и грешно пред небесами
Сегодня знать, что завтра будет с нами.

33

Но будет ли он завтра?..» — «Едет он». —
«Но едет ли на Киев?» — «От Кульмея
Что мне кудесник передал вчера,
Тебе пересказал я, князь, и время
Прибыть ему». — «Презрительный певец
Едва из рук добычи не исторгнул.
Как он метал бесстыдно на меня
Свой мрачный взгляд, исполненный огня!

34

Мне чудилось, что весь народ, все очи
В меня впились!» — «Тут был я, государь,
Я замечал за всеми: на Бояна
Глядел весь мир и взоров не сводил». —
«Я знаю сам, мне только показалось,
Но если б я негласно мог певца...» —
«Чтоб проводить его на новоселье,
Что думать тут? лишь слово, князь, да зелье...» —

35

«Молчи, Туряк, ты изверг». — «Государь!
Я за тебя готов в огонь и в волны,
И в самый ад». — «Но что бы он ни пел,
Он повод дал к тому, чего я жаждал,
Туряк! Теперь направлен Святополк.
Он позовет тебя, будь скуп на слово —
Я собственной предал его борьбе,
И пламя он раздует сам в себе».

36

«Попал ли зверь, пусть он в тенетах бьется,
Лишь только бы тенет не разорвал». —
«В нужде шепни два слова о Кульмее...
Но если нищий раз еще придет?» —

«Два ловчие вблизи двора княжова,
Твои бояре, Лазарь и Василь,
Ждут недруга, и до исхода ночи
Блудут вокруг недремлющие очи». —

37

«Но если кто увидит слуг моих?
Молва — огонь, чуть вспыхнет, всё обхватит...
Как медлит он! Дождусь ли? Червь забот
Меня томит, как огненная жажда;
Но как свершим, то отдохнем душой:
Наказанный — пред чернию виновен!..
И в пропасти померкнет без следа
С высот небес упавшая звезда.

38

Что, друг, успех?» — «Всё в мире, князь, гаданья,
Хоть иноки считают их за грех,
Но жрец теперь нам тайну разгадает.
Мы Выдубич минули». Вправо челн
Направил он. — «Но что за визг и вопли?» —
Спросил Давид. — «Недаром, государь,
Ведется слух давно про эту гору,
Что не тиха в полуночную пору».

39

Еще взмахнул он веслами. «Туряк!
Закинь багор!» — и, челн причалив, оба
Взбираются по крутизне горы,
И, слева обогнув ее вершину,
В ущелье, по уступу, где земля
Обрушилась и поросла кустами,
Сокрылись. Там за камнем тесный ход
В пещеры вел под лоно самых вод.

40

Подземный путь во все концы ветвится,
Сто отзывов в ответ на каждый звук
Грохочет в нем: то своды захохочут,

То всплещут, то завоют. Ведьма путь
Перебежала, громко засвистала,
За свистом свист раздался ей вослед.
«Где путь? земля колеблется под нами.
И я во тьме теряюся очами.

41

Куда ступить?» — «Всё ниже, князь». Блеснул
Им в очи яркий светоч — и не дева
Явилась, не земная красота,
Но с небом ад слилися в обольщенье,
В грозу очей и прелесть гневных уст.
В руке был меч, в другой — пылавший светоч.
И взор блуждал, как слово на устах —
Безумный взор в пленительных очах.

42

Бледна — и грудь под русыми волнами,
Как легкий пламень в трепетной руке,
То падала, то воздымалась снова,
Дыханье прерывалось, и уста,
Когда искали звуков, то привычной
Улыбкою, казалось, расцветут.
«Пришельцы!» — и промчалось слово гнева,
Как первый звук волшебного напева.

43

«Ответ! ответ! потушен ли огонь?» —
«Неугасим», — отвечив боярин,
И повторил Давид: «Неугасим!» —
«Над сим мечом заветным наших предков
Клянитесь век блюсти святыню тайн!» —
«Клянемся!» — «Если тайну разрешите,
Испепелит вас пламя по частям,
И вихри вас развеют по полям». —

44

«Клянемся!» — Своды клятвы повторили.
Им усмехнулась чудная жена
И, будто не ступая, побежала.

За нею пламя, как светила хвост,
Летело вниз, потухло в легком беге,
И путников объемлет прежний мрак.
Над их челом пронесся звонкий хохот,
И вновь кругом звучит стогоульный грохот.

45

И вдоль пути глухие голоса
Из стен пещерных им шептали в уши:
«Храните тайну: если враг про нас
Узнает, мы и сестры обернемся
В станицу птиц ночных и на куски
Когтями растерзаем ваше тело,
И воскресим, и растерзаем вновь,
И высосем предательскую кровь.

46

Клянитесь же и в третий раз!» — «Клянемся!»
Внезапно дверь отверзлась — понеслись
Стремительно навстречу тучи дыма;
Сквозь облако вертеп, как смутный сон,
Открылся: семь кумиров, огонь пред ними,
Кругом богов кружилась цепь старух,
И вокруг нее с веселостью безумной
Цепь юных дев мелькала в пляске шумной.

47

Незримый хор при заклинаньях пел:
«Перун ли в тучах на крылах Стрибога
Промчится, вслед по радуге сойдут
Велес, бог стад, Купала-плодоносец,
Калядо с миром, Ладо — бог любви,
А где любовь, там благ податель — Даж-бог».
Но смолкнул хор. При входе двух гостей
Распались звенья пляшущих цепей.

Жрец

Добрые гости!

Хор

Добрые гости!
 Ведьмы, русалки! снова двойною
 Цепью скачите. Вечно меняясь —
 Юность и старость, лето — зима
 Пляшут, летят двойной вереницей
 Вкруг неизменных вечных богов.
 Снова летите птица за птицей,
 Шумно кружась двойной вереницей!

Жрец Перунов

Кружитесь вкруг вечно живого костра
 И пойте вечное проклятье!
 Низринут небесный в пучину Днепра —
 Проклятье, вечное проклятье!

Все

Проклятье! Вечное проклятье!

Незримый хор

Горят, гремят небесные проклятья.
 Божественный в седую бездну пал,
 Но верный Днепр принял его в объятья
 И влажными устами лобызал
 Главу, стопы его святые;
 И перед тем, кто вержет гром,
 Покорно волны вековые
 Поникли трепетным челом.

Перунов жрец

Костер, разметанный врагами,
 Пылает снова перед ним!
 Пусть тушат хладными устами,—
 Священный огонь неугасим!

Все

Священный огонь неугасим.

Верховный жрец

Перун! Твой огонь, сокрытый под землею,
 Из недр ее пылающей рекою
 На град преступный потечет,
 И пепел стен, и прах неверных братий,

Постигнутых стрелой твоих проклятий,
Как жертву, небу вознесет.

Хор жрецов

Грудных младенцев, непричастных
Греху отцов,
Несите, ведьмы и русалки,
Пред лик богов!
Мы на костре сождем начатки
От их волос,
Чтоб сын славян богам славянским
Во славу рос.

Три ведьмы

Мы змеею зашипели
И как вихорь понеслись;
И визгом в теремы влетели,
И детей из колыбели
Мы схватили и взвились.

Все ведьмы

Цепки у ведьмы медвежьи лапы,
Легок наш конь-помело,
Свищем и скачем, пока на востоке
Не рассвело.

Русалки

Неслышной стопою
Касаясь земли,
Мы руку с рукою,
Как ветви, сплели.
Мы песнь напевали
И в лунных лучах,
Как тени, мелькали
На Лысых горах.
Мы дев заманили
На песенный глас.
Вкруг липы водили,
И с каждой из нас,
Смеясь, целовались
Они сквозь венок
И с нами сплетались
В русальный кружок.

Вот сходим. Как птицы,
 Поем и летим;
 Со смехом в светлицы
 Порхнем к молодым;
 То шепотом сладко
 Над люлькой поем,
 Поем — и украдкой
 Дитя унесем.

Верховный жрец

Святых постриг совершены обряды,
 И семь славян богам посвящены!
 Да будут их младенческие сны
 Исполнены божественной отрады.
 Пусть Ладо к ним в видении сойдет,
 Пусть им внушит к богам благоговенье —
 И сладкое младенчества виденье
 Глубоко в душу западет.

Хор жрецов

И пусть с колыбели сердце их дышит
 Любовью к богам славянских племен,
 Пусть каждый младенец имя услышит,
 Святейшее всех небесных имен.

Верховный жрец

Есть небеса над небесами
 Превыше молний и громов;
 Есть звездный терем над звездами!
 И ни единый из богов
 Не преступал его порога.
 Судьба! — при имени святом
 Во прах поникните челом!
 Сама судьба есть мысль Белбога!

Все жрецы

Обряд свершен.

Верховный жрец

Теперь распадитесь
 Все звенья цепей:
 Два гостя, ступите
 Пред жертвенный огонь.

Вопрос ваш я знаю,
И дам я ответ...
Русалки и ведьмы!
По дебрям, горам
Вы скачете ночью
Вкруг киевских стен.
Кто прибыл? Кто прибыл?

Русалки

На Рудице стан!

Ведьмы

На Рудице стан!
И чуждому богу
В шелковом шатре
Там молится витязь.

Верховный жрец

Тот бог не спасет!
Запекшейся крови
Возьмите от жертв;
Скачите вкруг стана,
Промчитесь грозой;
От крови, согретой
Дыханием уст,
Вы бросьте три капли
На витязя стан.
Там враг, там гонитель
Славянских богов.
Русалки и ведьмы,
По долам, по горам
Рассейтесь, несите
Погибель врагам.

48

Рассеялись. Один верховный жрец
Остался. «Знать грядущее ли жаждешь?
Иди за мной!» — Давиду он сказал.
И путников сквозь ряд богов проводит.

В священный сумрак тихо сходит он:
Чуть светит луч от тлеющего жара,
В крови стоит пред ними Чернобог,
И черепа повержены у ног.

49

Верховный жрец на угли кинул жупел
И в синий пламень череп положил,
Он шепотом невнятным заклинанья
Над ним читал. Вот череп почернел,
И наконец опепелились кости;
Вот жрец на них перстом следит черты:
«Внимай, Давид, благоговейным слухом:
Успех тому, кто бодр и силен духом!

50

Кто чашу яда смело поднесет
И даст врагу испить ее до капли!
Тебе есть путь, но нет полупути:
От робкого и боги отлетают». —
«На всё готов, — отвечивал Давид
В смятеньи. — Я ручаюсь за начало!
Но что конец... как низкие рабы,
Мы при конце зависим от судьбы».

51

«В свидетели приемлю Чернобога,
Давид! черты по черепу легли
Во знаменье желанного успеха;
Но вспомни: не пришлец из чуждых стран,
Но бог родной успех тебе дарует,
Но бог славян, его ж отвергла Русь,
Затем, чтоб нам, питомцам бранной славы,
Бессильный грек, наш данник, дал уставы;

52

Признай, люби отеческих богов:
Клянись!» — Давид невольно поднял руку,
Но, как свинец, отяжелела длань
И на плечо боярина упала;

Туряк взглянул с усмешкой на него.
 «Ужель тебя христьянский рай чарует? —
 Воскликнул жрец. — Но там, среди чернецов,
 Ты будешь сир и чужд своих отцов.

53

Закон христьян не доблесть, а смиренье.
 Уже народ женоподобен стал,
 И прежде всех сам древний князь Владимир,
 Вот первый бич. Еще иной грозит!
 С зари восходят тучи! Обратитесь!
 Уже кует оковы гневный бог
 И превратит всю Русь с ее князьями
 В развалины, сцепленные бичами».

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Уже давно палаты Святополка
 Могильная объяла тишина
 И царствует со сумраками ночи.
 Лениво сон на стольный Киев-град
 Склонил свои распущенные крылья.
 Но Святополк не дремлет; он горит,
 Он от себя с усильем гонит думу
 И в тишине еще внимает шуму.

2

«Как он любим, как он любим, Давид!
 Еще мне вече в слухе раздается...»
 (Так молвил он. Давид стоял пред ним
 И наблюдал души его порывы).
 «Я сам ушел; всё вече разошлось
 По Киеву; но доходили клики
 Еще ко мне, среди моих палат,
 Гремя, как в тучах грома перекат.

3

Несносный гул! всё слышу те же клики!..
 Зачем давно ты не пришел ко мне,—
 В тот самый миг, как распустил я вече?..
 Я ждал тебя, твоих советов ждал».—
 «Но, Святополк, с дружиною до ночи
 Ты в гриднице гремел против граждан,
 И в шуме слов, в пылу негодованья,
 Не мог вести со мною совещастья.

4

Я лишний был. Теперь уже пора
 Не слов, а дела».— «Мне одно осталось,
 Давид!.. пустить на волю!.. Весь народ
 Заступится за князя. Из темницы
 Он мне назло исторгнет Василька...
 Как думаешь?.. Велю я снять оковы!»—
 «Но прежде, чем освободишь его,
 Сойдешь ли, князь, с престола своего?

5

Советую сойти тебе с престола:
 Уже он ков замыслил на тебя,
 Но не имел к тому еще предлога.
 Теперь на всё решится: есть предлог,—
 И на престол он ступит из поруба!
 Тогда иной услышишь гул. Народ..
 Изменой не почтет своей измены
 И кликами поколебает стены.

6

Вся чернь воскликнет: «Мы спасли его,
 Мы совлекли оковы: он невинен,
 Он праведник, наш светлый Василько!»
 И станет гнать тебя, как вероломца:
 Себя почтет преступный твой народ
 Твоим судьей, поставленным от бога,
 И будешь из земли конца в конец
 Скитаться, как несчастный твой отец».—

7

«Не допущу себя до посрамленья,
Давид! Но я, хотя и убежден
В душе, как ты, что Василько преступен...
Но... если он невинен?...» — «Поздно, князь!
Зачем, зачем ты прежде не размыслил,
Пока его еще не оскорблял?
В порубе он, оковами тягчимый,
Уже горит враждой непримиримой.

8

Теперь всё поздно, князь! Невинен он?
То будет месть грознее. Он невинен?..
Пусть выйдет из темницы: глас его
Во все концы по Руси пронесется:
Что истины сильнее? — созовет
Поборников своей правдивой мести,
Придет вся Русь по долгу, из любви
И утолит себя в твоей крови.

9

Кого мы раз в сей жизни оскорбили,
Того должны стереть с лица земли.
Тебе нельзя признать его невинным;
Но, впрочем, я, как ты, уверен, князь,
Что он вполне преступен». — «Я не знаю,
Давид, на что решиться. Не могу
Убить его: держать его — не смею,
И в мыслях я, теряясь, цепенею.

10

Давид! уже мятежный веча клик
Напомнил мне, что было за Всеслава...» —
«Желаешь, князь? Я увезу его:
На всё готов для брата и для друга». —
«Вези его... он как игла в очах...
Вези скорее, делай с ним что знаешь...
Вон, вон отсюда! Он несносен мне,
Я убежден во всей его вине...»

11

Грядами туч заволокло всё небо;
В безмерном мраке светят два огня,
Два светоча горят перед порубом.
Темничные затворы в тишине
Внезапно загремели. Князь очнулся.
По сладостной молитве он дремал.
Мстиславне-другу в тихом сновиденьи
Его уста шептали утешенье.

12

Вошел Туряк, и четверо за ним,
И осветил темницу яркий светоч.
«Иди за нами, князь; никто, как бог!
Надейся, князь, на кротость государя». —
«Мой Спас — моя надежда. Но меня
Куда теперь ведете?..» — «Ты узнаешь, —
Судьба твоя к решению близка». —
И, окружив, выводят Василька.

13

На нем гремят, сшибаяся, оковы,
С трудом столы передвигает он.
Вот вышел князь; медлительным дыханьем
В себя вдыхает воздух; к небесам
Свой вольный взор с улыбкою возводит,
И с именем заступницы святой,
Гремящею перекрестясь рукою,
На грудь свою склонился он главою.

14

Уже по стогнам киевским стучат.
Тяжелые колеса. Дом за домом
Минуется, но ни единый взор
Во тьме ночной и в тишине безлюдной
Из окон не стремится к Васильку,
Не взглянет на него из состраданья;
Как шумные колеса ни стучат,
Но мирный сон объемлет стольный град.

15

Зачем их стук в сердцах не отозвался,
Защитников собой не пробудил?..
Проехав чрез ворота Золотые,
Князь Василько прощальный бросил взор
На Киев-град, где братьев он оставил,
Не сняв греха с преступной их души.
Уже с горы быстрее скачут кони:
Помчались, как разбойник от погони.

16

Вкруг узника, по сторонам, Василь
И Лазарь, слуги верные Давида,
И Дмитр, его конюший, и Сновид,
А впереди два торчина сидели.
«Куда меня везете?» — «В Теревовль», —
Сказал Василь, и все захохотали,
Сошелся взгляд со взглядом; изо всех
Исходит вновь невольный дикий смех.

17

Князь Василько, взглянув на них с участием,
От глубины души своей вздохнул.
Но вот за ним раздался конский топот,
Летит как вихорь всадник молодой:
«Мой князь, отец мой крестный! Дайте! Дайте
Мне сесть к нему!» — воскликнул Михаил.
Конь мчится, весь на воздухе; но даром
На скачущих он дышит теплым паром.

18

«Стой, стой!» — еще воскликнул Михаил.
К нему Василь мгновенно обернулся
И, палицей ударя, сшиб с коня.
Он пал, из горла кровь заклокотала,
«О боже, боже! — узник закричал, —
Как Иова меня ты искушаешь».
И к сыну взор летел сквозь ночи тьму;
Но взор, но крик не доходил к нему.

19

Простыл и след за узником державным.
С небес, затканых темной пеленой,
Луна из туч уныло проглянула
И озарила бледное лицо
Младого Михаила. Он недвижим
Лежал; в руках поводья; верный конь
Его чела касался длинной гривой
И землю рыл ногой нетерпеливой.

20

Шел нищий по дороге. Он едва
В ручьях кровавых отрока завидел,
Бежит к нему стремглав. С испуга конь
Шарахнулся, и Михаил очнулся.
«Где Василько?.. Куда везут его?..
Скажи мне, добрый человек!.. Не знаешь?..
Они меня не взяли. Нет! Злодей
Меня ударил палицей своей». —

21

«Ты отрок Василька? — с участием нищий
Спросил его и побежал к ручью.
Чело страдальца, грудь его больную
Он освежил студеную волной. —
Что? лучше ли? Тебе рукою дряхлой
Я помогу держаться на коне».
Вот отрок сел, и нищий осторожно
Повел коня к дуброве придорожной.

22

В бору огонь из хижины мерцал.
На стук выходит с дочерью старушка,
И с нищим обе юношу с коня
Снимают; на соломенное ложе,
Внеся его, спускают тихо с рук;
И девушка, как ангел над могилой,
С печалию склонилась над ним
И греет грудь дыханием своим.

23

«Людей нашли мы добрых,— молвил нищий,—
Теперь прости! я шел, как ты, вослед
За Васильком. Спешу! про всё узнаю,
И в Теревовль на крыльях полечу».—
«Возьми коня,— сказал с усилием отрок
И впал в забвенье:— конь, мой конь, лети...
Как шибко скачут... Стой!.. Я, князь, с тобою!
Я буду цепь поддерживать рукою...»

24

Уже под нищим скачет борзый конь
По той дороге, где давно со стражей
Проехал светлый узник. Василька
Уже в то время в Белгород примчали.
Во тьме ночной, в глубокой тишине,
Его ввели в истопку, разложили
Пред ним костер,— и торчин Берендей
Выносит нож из-за полы своей.

25

Он точит нож, бросая взгляд на князя.
Тогда заря зарделась в небесах
И на цепях его засеребрилась.
Он, разгадав сквозь сумрак тяжких дум
Свой горький жребий, встал, взглянул с любовью
На ясную предшественницу дня.
Во всей красе, в одежде разноцветной,
Лила она по небу свет приветный.

26

Идет во всем величии жених
За светлой, за краснеющей невестой.
Пылает солнце, неба исполин,
Живит весь мир, и пламенное око
Встречает взор прощальный Василька.
Как радостен восход по долгой ночи!
И узник в память, с жадностью очей,
Врезает мир, блестящий от лучей.

27

«Как, Спас, ты льешь и свет, и жизнь на землю!» —
 Воскликнув громко, душу всю излил
 Он в утренней и пламенной молитве.
 Едва окончил, торчин, Дмитр, Сновид,
 Все бросились на князя; но цепями
 Он их разит, и падают во прах;
 Встают — и вновь повержены: оковы —
 Врагов, как меч, всегда разить готовы.

28

На крик вбежали двое. На ковер
 Они его повергнув и опутав,
 На грудь взложили доски: по концам
 Сновид и Дмитр, Василь и Лазарь сели.
 Он застонал, и затрещала грудь;
 Последний светлый взор уж закатился,
 Лучи души потухнули в очах,
 И замер стон на трепетных устах.

29

Взял торчин нож, готовясь к ослепленью;
 Ударил — но не в очи: он лицо
 Страдальца перерезал. «Ты неловок», —
 Сказал Василь. Краснея, торчин нож
 Отер полою; вот его в зеницу
 Ввернул: кровь брызнула из-под ножа;
 Ввернул его в другую, и ланиты
 Уже волной багровою покрыты.

30

Все вышли вон. Остался Василько
 Один. — Он на ковре, как труп кровавый,
 Недвижим, без дыхания лежал,
 И запеклись — не очи, но отверстия;
 Чернеют два кровавые пятна.
 Ты их, Давид, не смоешь с книги жизни:
 Нетленные, они горят на ней,
 И пламя мук зажгут в душе твоей!

31

Уже опять мучители страдальца
Сбираются в дорогу. Дмитр, Сновид
Вошли; из глаз слеза у них пробилась.
Вот, завернув его в ковер, несут,
Как мертвого; взложили; скачут кони;
Вот Здвиженск; мост под ними продрожал;
И в дом, к приему путников готовый,
Уже летят по площади торговой.

32

Священник был хозяин дома. Он
Гостей таких не ждал, нет! дыбом волос
Встал на седой, маститой голове.
Внесли ковер; обедать села стража;
Василь совлек сорочку с Василька,
«Смой кровь!» — сказав, хозяйке бросил в руки,
И старица и внемлет, и глядит;
Но замер дух, и вся как лист дрожит.

33

И вдруг, спеша, ее на двор выносит,
И держит недвижимо пред собой;
Взрыдала. «Нашим воплем не поможем,
Не плачь, старушка! — нищий ей сказал.—
К чему твой стон? Нет, лучше дай рубашку;
На ней нужна мне кровь...» И, взяв, исчез;
Но старица рыдала; воплей сила
Страдальца из забвенья пробудила.

34

Привстав, — «Где я?» — промолвил тихо он.
«Ты в Здвиженске», — сказал Василь. «Ах, дайте
Воды испить». За каплей каплю пьет,
Вдохнул, себя оцупал. «Где рубашка? —
Воскликнул он. — Свлекли ее с меня?
Ее зачем вы сняли? Нет, в сорочке,
Нет, я хотел, одетый в кровь мою,
Предстать перед всевышнего судью».

35

И ослабел он снова от усилья.
Пред ним стоял священник: «Помертвел!
Отходит он! Запасными дарами
Я причащу страдальца». — «Но зачем? —
Сказал Василь, — он осужден князьями,
Зачем спасти ты хочешь дух его?» —
«Господь суда от мира не приемлет!» —
Рек старец; но словам никто не внемлет.

36

«Пред Спасом не виновен Василько,
И пред людьми страдалец не виновен:
Пройдут князья, пройдет и суд князей,
Но истина на небе и в потомстве
Как солнце просияет». — «Он ума
От старости лишился», — молвил Лазарь,
И вслед за ним захохотал вокруг
Весь дикий сонм князьям покорных слуг.

37

Страдальца путь окончен. Во Владимир
Заранее приехал князь Давид
И тесный дом к приему приготовил:
Он Василька за стражею провел
И в душную, и мрачную темницу.
Зачем, Давид? По сумраке ночей
Уже ему не светится денница,
И целый мир — как мрачная темница!

А.И.ПОДОЛИНСКИЙ



НИЩИЙ

Occhi piangete, accompagnate il core.
*Petrarca.**

Далеко родина моя!
Ее давно покинул я—
Давно!.. но душу старика
Томит по родине тоска!
О если б мне, когда-нибудь,
Опять на милую взглянуть!
Еще я помню: горы там,
Снега и льдины по горам,
Они блестят венцом златым
Под небом вечно-голубым;
Долин и нега, и краса,
Роскошно зыблются леса,
И брызжет искрами залив
У корней миртов и олив;
Там—ряд священных мне могил
Широко явор осенил—
И, может быть, в его тени,
И я бы мирно кончил дни...

Я?.. Нет! Ничтожные мечты!..
Меня, мой прах отринешь ты—
И тихим шелестом ветвей
Не освежить главы моей!
Она горит! она в огне!

* Плачьте очи согласно с сердцем. *Петрарка (ит.).*



И наяву, и в кратком сне,
Хотя бы одр мой был из роз,
Не избежать мне страшных грёз!
Везде тоскующая тень
Следит за мной и ночь, и день;—
В дыханьи ветра, в шуме вод,
Она мне голос подает—
И слышу я: «Куда? куда?..
Забудь отчизну навсегда!
Не донести тебе костей
К горам Италии твоей!
И, безымянно, самый прах
Потонет в Северных снегах!»

Так! я заране узнаю
Судьбу грядущую мою!
И я бы снова, может быть,
Хотел отчизну разлюбить—
Но, как по вольности, о ней
Тоска живет в груди моей!
С какою жадностью, с каким
Участьем нежным и живым
Порой прислушиваюсь я
К вечерней песни соловья:
Он был в Италии—и мне
Поет о милой стороне,—
И этой песни каждый звук
Душе давно знакомый друг!
И, мнится, вновь наводит он
На душу сладкий, сладкий сон
О прошлых днях, когда я жил—
Когда мечтал,—когда любил!..

Любил!.. Зачем я утаю
Любовь печальную мою?..
Аньола! незабвенный звук!
Как много дум, как много мук
Вновь в сердце вспыхнуло моем
При этом имени одном!
О если б я его забыл!
О если б грудь опустошил
Порыв губительных страстей—

И память самую о ней
Рассеял он—как брызги вод
Грозы стремительной полет!
О чем молю?.. до этих пор,
Сединам сим наперекор,
Как отголосок прежних дней,
Сей звук живет в груди моей—
И разве с жизнью будет он
Навек из сердца извлечен!

Как я любил!—казалось мне,
Тогда я чувствовал вдвойне
Всю прелесть жизни,—я постиг
Как тот в творении велик,
Кто цепью вечною любви
Сковал создания свои!
Казалось: все вокруг меня
Блистало заревом огня
Любви и вечной и святой;
И целый мир передо мной,
Как бы созданье чудных снов,
Облекся в радужный покров;
И сердце мне давало весть,
Что в сем прекрасном мире есть,
Есть сердце полное огня
Любви живой и для меня,
И что в цепи существ оно
Необходимое звено!

Тот беден, беден на земли,
Чьи дни без дум любви текли!
Кто к людям холодом дыша,
Не мог постигнуть, как душа
Роднится с близкою душой,
Тот между братьями—чужой!
С презреньем горьким ко всему,
Он покори́л себя уму,
И первой страсти пылкий сон
Мечтою детской назвал он.
Порывы сердца заглуша,
Его надменная душа
В самой себе погребена,
И недоступна и темна:

Так, в Африке, среди степей,
Стоит огромный мавзолей
И под собой, свою же тень,
Бесплодно кроет в жаркий день.

Под небом пламенным рожден,
Я не таков! Нет! охлажден
Заране к людям не был я;
Все впечатленья бытия
Я принял жадно,—и любовь
Мне сильно волновала кровь!
Мне согревала грудь она,
Как землю ранняя весна,
И, как весенние цветы,
Рождались новые мечты
О всем прекрасном, о святом
В уме взволнованном моем.
Я говорил: ее нам бог,
Благ наших будущих в залог,
Еще в сей жизни даровал,
Чтоб человек заране знал,
Как щедро в вечном будет он
За миг страданий награжден!

Видали ль вы, когда дитя,
Цветок на волны опустя,
С беспечной радостью глядит,
Как он трепещет и скользит?
Но, если влагой напоен,
На дно внезапно канет он,
Его малютке станет жаль,
И сердца детского печаль
Не облегчит незрелый ум:
Он слышит волн досадный шум,
Он их задумчиво следит—
И слезы падают с ланит...
Вот образ мой! Мечты мои,
Надежды мира и любви,
Я безрассудно предал сам
На волю гибельным страстям,
И необузданный поток
Невозвратно их увлек!..

Однажды, праздником весны—
Храня обычай старины—
Плясал под сению дерев
Круг резвых юношей и дев,
И между них была она,
Моя Аньола! Что весна?
Что пышной радуги цветы
Пред блеском девы-красоты?
Утомлена, ко мне на грудь
Она поникла; я дохнуть
Не смел; не мог отвести от ней
Я очарованных очей—
И вдруг руки моей слегка
Коснулась жаркая рука,
Я вспыхнул—к пламенным устам
Прижал ее,—не помнил сам,
Что делал я, кипела кровь—
И я ей высказал любовь!

Но, между тем, изумлена,
Глядела в очи мне она,
Как будто в грудь ей не проник
Любви мучительный язык!
Я ждал ответа... но без слов
Она ушла;—я был готов
За нею вслед: у милых ног,
Хоть слово б вымолвить я мог,—
Но, как мечта, в толпе густой
Аньола скрылась... я главой
На грудь стесненную поник—
О как я помню этот миг!
Впервые на сердце тогда
Запала страшная мечта:
Что жизнь—пучина слез и бед,
Любовь—огонь, а счастья—нет!..
И слезы с щек моих текли
На грудь холодную земли...

С тех пор, задумчив и уныл,
От всех я ревностно хранил
Мою любовь; никто не знал,
О чем я втайне тосковал;
Бежал всего, родных, друзей,
И часто, в сумраке ночей,

Тревоги полный, чуждый сну,
Один всходил на крутизну;
Не раз, объятый темнотою,
Гранит срывался предо мной,
Но неподвижно я стоял,
Как бы прикованный у скал.
Мне смерть казалась не страшна;
В душе была мечта одна:
Аньолы имя вторил я
И был утешен как дитя,
Коль отголосок дальних скал
Мне милый звук передавал.

Кто знает пламенную страсть,
Кто над собой изведал власть
Улыбки, взгляда и речей
Младой любовницы своей,
И, грусть бесплодную тая,
Не пролил слез у ног ея,
Тот много дум моих постиг —
Но их не выразит язык!
Они прерывисты как сны,
Как бездна дики и темны.
В слезах молил напрасно я
Отрады грустной забытья,
Ни днем, ни ночью, ни во сне
Не мог забытья я вполне;
Видений в вихре надо мной
Носился образ дорогой —
С зарей он снова исчезал, —
И я бессмысленно рыдал.

Но, как луны осенней луч
Падет порою из-за туч,
Скалы и льдины серебрят,
И в пропасть темную скользит:
Так заронялась иногда
Надежды вкрадчивой мечта
В больную грудь; я был готов
Лелеять призрак давних снов,
Я мыслил: детская душа,
Любовью к вольности дыша,

Любви иной не поняла —
Еще беспечность ей мила;
Но будет время — может быть,
В ней можно чувство пробудить...
Но, как луны скользкий луч
Мгновенно гаснет в лоне туч,
Так навсегда, в последний раз,
Надежды огонь во мне погас...

Бледнело небо; тень легла;
На Юге долго ночь тепла,
И было душно между скал:
Какой-то зной от них дышал,
Но меж расселистых громад
Гремит и блещет водопад,
В пещере сумрачной рожден,
И в жар прохладой веет он;
Ему внимал с утеса я,
Свежо дышала грудь моя,
И не смущали темных дум
Однообразный гул и шум.
На льдинах гаснул отблеск дня,
Вдруг тихий шорох близ меня —
Гляжу и что ж? Не сон ли? Нет!
Она! Аньола! Слабый свет
На ней едва, едва мелькал —
Но я ль Аньолы не узнал?

И, как мертвец под властью чар,
Воспрянул я; и страх и жар
Текли по членам; я... но вдруг
Я поцелуя слышу звук...
Опять... о боже! и она
Лобзаньям чуждым предана!
Прикинув к ней, рука с рукой,
Ее ласкал соперник мой!
Я вынести более не мог:
Как демон, страшен и жесток,
Пылая местию слепой,
Пред изумленной четой
Явился я... Мой дикий взгляд
Окинул скалы, водопад,

И, как бессильное дитя,
Врага внезапно обхватя,
Прижал к груди—и со скалы
Его я бросил в бездну мглы!

- И нет его! затихнул гул;
Я в пропасть дико заглянул,
Во мгле не видно ничего!
Но вдруг до слуха моего
Доходит крик... он мне знаком!
То голос брата!—Если б гром
С небес разгневанных упал,
И под развалинами скал
Братоубийцу он погреб,—
Чтоб бездна приняла, как гроб,
Мою главу... чтоб в Судный день
Моя испуганная тень
Укрылась в сумраке земли—
Чтоб мне на сердце налегли
Громады гор,—но гром молчал!
Лишь братний вопль не умолкал...
И в онемении, как труп,
Я пал на каменный уступ!..

Минула ночь—и мутный взор
Открыл я вновь; по темю гор
Светились льдины как стекло,
Их солнце раннее зажгло.
Вдали, на зелени полян,
Роса сверкала сквозь туман,
И сквозь туманы, в стороне,
Сияла в утреннем огне,
Как бы серебряный ковер,
Поверхность ясная озер.
И здесь и там любви приют,
Склонились рощи, будто ждут,
Чтоб мановеньем легких крыл
Их ветер утра освежил;
И ветер дунул на леса
И вольных птичек голоса,
И шум дерев, и звон рожка
Ко мне принес издалека.

В благоговении немом,
Как бы объятый чутким сном,
Еще стоял я,—вдруг в уме,
Как искра вспыхнувшая в тьме,
Блеснула мысль: Аньола!.. Брат!..
То сон иль нет?.. Тревожный взгляд
Бросаю всюду: пустота!
Так это сон! одна мечта!
Не в первый раз такие сны
Моей тоской наведены!—
Но страх опять меня объял,
Казалось, будто услышал
Я братний голос—беглый взгляд
Случайно пал на водопад,
И что же? Брата епанча
У ската горного ключа,
Полой вцепившись о гранит,
По ветру вьется и шумит!

И, как безумный, долго я
Очей недвижных не сводя,
Стоял над бездной; стыла кровь,
Хладела грудь; но младость вновь
Спасла мне жизнь—и я опять
Стесненной грудью мог дышать!..
Как рассказать, что в этот миг
Сбылось со мною? Кто постиг
Тот страх, которым поражен
Злодей, когда изобличен
В своей вине, и для него
Нет в оправданье ничего—
Лишь тот постиг бы, что со мной
Сбылось в миг сей роковой!
И страшным замыслом моя
Душа смутилась: в пропасть я
С размаха броситься готов—
Вдруг—слышу звон колоколов...

По сердцу холод пробежал,
Я всеми членами дрожал,—
Но все звучней колокола:
И робость душу объяла
Невольно; грозного Суда
Их звон предвестником тогда
Казался мне. Замолкнул он,
Но мыслью страшной поражен,

Уже не смел решиться я
Сорвать оковы бытия!
И с гор извиистой тропой
Схожу в раздумьи: предо мной
Открылись доли и поля;
Улыбкой дружеской земля
Встречала солнце — и светло,
Как царь, оно по небу шло,
И снег под ним на теме скал,
Как бархат пурпурный, сиял.

И слышны вновь колокола:
Не знаю, вера ли вела
Мои шаги, иль случай был,
Но я уж к роце подходил,
Где меж дерев, ее краса,
Был сельский храм. Вдруг голоса
Вблизи услышал я и стал:
Аньолы голос я узнал!
Она рыдала — но ясней
Рыданья матери моей
Неслись ко мне; — и что очам
Тогда явилось? В божий храм
Теснились люди с двух сторон,
И меж толпою дев и жен
Не мог я скоро распознать
Мою рыдающую мать;
Но мне был слышен вопль ея,
И к ней рвалась душа моя!

И вдруг раздвинулась толпа,
Гляжу: прикинув у столпа,
Как полумертвая, она
Стоит недвижна и бледна;
И на коленах подле ней.
Еще безжизненней, бледней,
Аньола!.. Сжалась грудь моя!
И вот в толпу врываюсь я;
Уж подле них; и вдруг стою —
Я вижу труп; я узнаю
В чертах недвижных мертвеца
Черты знакомого лица —
То брат! к нему... зову его...
Не слышит зову моего!

Устам коснулся — хлад могил
От них повеял, — я без сил
С ступеней пал... и у крыльца
Лежал мертвец близ мертвеца!

Очнулся я — вокруг гляжу:
Темно везде; и я сижу
На чем-то жестком, и рука
Мне крепко сжата; — я слегка
Ее приподнял... тяжела!
Хочу привстать — и замерла
Душа от страха: цепи звук
Внезапно слышу я вокруг!
Вперед напрасно рвуся я —
Она к стене влечет меня!
Зловещий звук мне все сказал:
Но долго я не понимал,
Когда и кем перенесен
Я был в тюрьму; — вдруг тихий стон
Услышал я; казалось мне,
Он сквозь отверстие в стене
Проник в тюрьму... я трепетал...
Знакомый голос я узнал:

«О, не отринь мольбы моей!
Я здесь умру! Я от дверей
Не отойду! — хоть раз один
Пускай еще обнимет сын
Свою тоскующую мать!
Возьми: вот золото! все отдать
Тебе готова!»... И теперь
Визжит заржавленная дверь,
И, мрак темницы озаря
Внезапно светом фонаря,
Тюремщик входит; с криком вслед
Вбегает мать — я к ней!.. но нет,
Уже на грудь мою, в слезах,
Она упала, и в очах
Потухла жизнь; но слышал я,
Как сильно билась грудь ея;
И я горел, и я дрожал,
И как ребенок зарыдал.

Склоняясь челом, недвижим, нем,
 Я долго плакал; между тем
 Она опомнилась опять,
 Хотела что-то мне сказать;
 Но я, собрав остаток сил,
 Ее слова предупредил:
 «Не проклинай меня! стой!
 Укор мне смертью будет твой!
 Но я хочу, я должен жить,
 Чтобы слезами искупить
 Мою вину!» — «Не проклиная
 К тебе в тюрьму приходит мать!
 Преступен ты — но ты мне сын!
 Тебе судья господь один!
 И строго не осудит он,
 Как осудил земный закон —
 Его умолят за тебя
 И брата тень — и тень ея»...

«Чья тень? Ответствуй!» — я вскричал.
 Увы! я сердцем угадал,
 Что мне еще удар один
 Судьба готовила. «Мой сын,—
 Сказала мать,— давно с тобой
 Рассталась я; еще больной,
 Без памяти, без чувств ты был,
 И сам себя изобличил
 В своей вине — и тщетно мать
 Ее хотела оправдать:
 Мне сына слезы не спасли!
 Полуживого увлекли
 Тебя от матери твоей
 Сюда!.. Минуло много дней,
 И, неотступная как тень,
 Я здесь у двери каждый день,
 Но дверь, как камень гробовой,
 Была недвижна предо мной!»

«Но что ж Аньола?»... «День от дня,
 Как нежный мирт главу клоня,
 Когда у корня втайне он
 Весенним червем поврежден,

В те дни, как все весна живет,
Один безжизненный стоит,
Его не греют небеса,
И не свежит его роса:
Так и Аньола! День и ночь
Она томилась; превозмочь
Ее печали не могли
Родные ласки; на земли
Ей было грустно; в мир иной
Перенеслась она душой;
И там опять того нашла,
Кого здесь другом назвала.
Земле, как выдохшийся цвет,
Достался труп,—небесной нет!»

Умолкла мать; и я молчал,
Укор преступника терзал;
Но я слезы не уронил,
Молитву тихую творил,
Как о страдальце, о ней
Я в глубине души моей.
Мне легче стало: тишиной
Душа исполнилась святой;
И сладко было верить мне,
Что там, в надзвездной стороне,
Где безграничней и святей
Любовь и жизнь, где нет страстей,
Нет мук и слез—она и брат
В венцах бессмертия блестят!..
Но между тем свиданья час
Прошел, мой страж расторгнул нас,
Уходит мать, гремит замок—
И я остался одинок.

Тянулись грустно дни; порой
Мой страх рукою подкупной
Темницу тайно растворял:
Я видел мать—и забывал
О горькой участи моей;
Темница самая при ней
Не так мрачна казалась мне:
Текли беседы в тишине;
И на закате поздних лет
Не позабыть мне тех бесед!

Лишь ими жил я, их я ждал,
И жизнь еще благословлял!
Но, помню, горестней, трудней
Однажды с матерью моей
Расстался я, как будто знал,
Что я навек ее терял,
Что и за гробом, может быть,
Мы с нею розно будем жить!..

И то пророчество души
Сбылось давно; в моей тиши
Я ждал ее: она не шла!
Но, окрыленна и светла,
Еще однажды, в вещем сне,
Как дух, она явилась мне.
С тех пор никто не навестил
Моей тюрьмы; я дни влачил
Как тяжкий сон; и много лет
Прошло; казалось, целый свет
Страдальца-узника забыл;
Мне хлеб и воду приносил
Все тот же страж — и от него
Не ждал я больше ничего!
В моей темнице я не знал,
Была ли ночь иль день сиял,
Мне все равно, как будто я
И не видал светила дня!

Шли за годами годы вслед;
Однообразных много лет
Еще провел я; и во сне
О вольности не снилось мне!
А между тем мой край родной
Опустошительной войной
Кипел везде: Наполеон
Писал Италии закон,
И волновались в ней умы; —
Как мертвый, в сумраке тюрьмы,
Я ничего не знал... но вот
Однажды, слышу я, падет
Затвор с дверей моих, потом
Блеснули факелы; кругом
Толпятся люди; в их руках
Сверкают ружья... тайный страх
Стеснил мне грудь; я трепетал —
Хотя как блага смерти ждал!..

Но не на казнь меня влекли:
Иноплеменники пришли
Свободу узнику отдать;
Зачем? и кто? Мне нужно ль знать!
Одно я знаю: может быть,
Мой долг того благословить,
С кем на свободе каждый шаг
Я бы оспаривал как враг!..
Ведут меня: вдруг свет дневной
На очи хлынул мне волной!
Я был недвижим, ослеплен,
Казалось мне, со всех сторон,
В потоках яркого огня,
Клубились солнца вокруг меня;
Но ветер грудь мне освежал,
И быстро, жадно я дышал,
И, с каждым вздохом, к жизни вновь
Теснилась в грудь мою любовь!..

Но что мне в жизни? И к чѣму
Открылись взору моему
Громады гор и дол, и лес,
И свод безоблачных небес?
Меня тревожила мечта,
Что я в сем мире сирота!
И что, быть может, на земли
Два поколенья перешли,
С тех пор, как я, мертвец живой,
Дни вел без счета под землей...
Земля богата, велика,
Но мне на ней—ни уголка!
Кого искать? Куда пойду?
В ком утешителя найду?
Я только рад был одному:
Быть может, в отческом дому
Еще, как некогда, приют
Седины сирые найдут.

И вот пришел я в отчий дом;
Он обветшал; зеленым мхом
Оделась кровля по краям,
Лишь виноградник здесь и там
Еще вился, как будто он
Один годами пощажен.

И умилением и тоской
Я был проникнут, и ногой
Вступаю робкой на крыльцо...
Вдруг незнакомое лицо
Навстречу мне; хочу назад —
Но мне, я слышу, говорят:
«Постой! возьми себе, старик!»
Дают мне — хлеб! я взял — и вмиг
Его я судорожно сжал:
Мне хлеб так горек не бывал!
Слезами жаркими омыт
Хлеб подавня ядовит!

И край прекрасный, край родной
Мне стал печален как чужой,
И только сердцу дорог был
Святыней горестной могил!
Я к ним пришел: уже кресты
Полураспались; но кусты
Живыми розами цвели
Над влажным лоном той земли,
Где был зарыт Аньолы прах;
Мечта ль была? но в их листах
Мне веял дух нездешних роз;
Казалось, ангел перенес
Из рая их — и не роса —
На них горит его слеза!
Над братом темный кипарис
Надгробной зеленью повис,
И был он к розам наклонен,
И запах розы принял он.

Могилу матери моей
Густою сению ветвей
Роскошно явор осенял;
Он ветви к брату простирал —
И мне казалось: это мать
Хотела милого обнять!
О, для чего ж главу мою
Не принял ты под сень твою!
Помыслил я — и тяжело
Мне стало вдруг; склонив чело,
Я к гробу матери припал,

И жарко, жарко лобызал
Сырую землю — но она
Казалась вдвое холодна!
О, если б землю ту пробить
Я мог слезами, может быть,
Они б как пламя потекли
И в самом прахе жизнь зажгли!

Тоской бесплодной утомлен,
Я сел на камне; чудный сон
Меня внезапно посетил:
(Не знаю, сон ли это был);
Но видел я: рука с рукой,
Вились три тени надо мной,
Полунеясны, как мечты,
Но мне знакомы их черты:
Преображенных мог узнать
Аньолу, брата я и мать.
И я услышал голос их,
Он сладкозвучен был и тих,
Но приговор изрек он мне,
Чтоб их могилы в тишине
Навек покинул я и вдаль
Понес души моей печаль;
Чтоб и слеза моя одна
Не потревожила их сна...

И чту я свято приговор:
Моей Италии с тех пор
Я не видал; убог и сир,
Я обхожу печальный мир.
Порою тучные поля
Объемлю жадным взором я
И мыслю: если б хоть одно
Здесь было и мое зерно!
Чужое все! весь мир чужой!
И часто, часто хлеб дневной
Себе я вымолить не мог;
И я душою изнемог
Под бременем тяжкого креста:
Презренье, скорбь и нищета
В один удел достались мне,
Нет крова грустной седине,
И нагло шлет насмешку ей
Толпа бессмысленных детей!..

М.Ю.Лермонтов



БОЯРИН ОРША

Глава I

Then burst her heart in one long shriek.
And to the earth she fell like stone
Or statue from its base o'erthrown.

*Byron **

Во время оно жил да был
В Москве боярин Михаил,
Прозваньем Орша.— Важный сан
Дал Орше Грозный Иоанн;
Он дал ему с руки своей
Кольцо, наследие царей;
Он дал ему в веселый миг
Соболью шубу с плеч своих;
В день воскресения Христа
Поцеловал его в уста
И обещался в тот же день
Дать тридцать царских деревень
С тем, чтобы Орша до конца
Не отлучался от дворца.

Но Орша нравом был угрюм:
Он не любил придворный шум,
При виде трепетных льстецов
Щипал концы седых усов,
И раз, опричным огорчен,
Так Иоанну молвил он:
«Надежа-царь! пусти меня
На родину — я день от дня
Все старе — даже не могу
Обиду выместить врагу:

* Тогда сердце ее разорвалось в одном протяжном крике,
И на землю она упала, как камень
Или статуя, сброшенная с своего пьедестала.

Байрон (англ.)

Есть много слуг в дворце твоём.
Пусти меня! — мой старый дом
На берегу Днепра крутом
Близ рубежа Литвы чужой
Оброс могильною травой;
Пробудь я здесь еще хоть год,
Он догниет — и упадет;
Дай поклониться мне Днепру...
Там я родился — там умру!»

И он узрел свой старый дом.
Покои темные кругом
Уставил золотом и серебром;
Икону в ризе дорогой
В алмазах, в жемчуге, с резьбой
Повесил в каждом он углу,
И запестрелись на полу
Узоры шелковых ковров.
Но лучше царских всех даров
Был божий дар — младая дочь;
Об ней он думал день и ночь,
В его глазах она росла
Свежа, невинна, весела,
Цветок грядущего святой,
Былого памятник живой!
Так средь развалин иногда
Растет береза: молода,
Мила над плитами гробов
Игрою шепчущих листов,
И та холодная стена
Ее красой оживлена!..

.....

Туманно в поле и темно,
Одно лишь светится окно
В боярском доме — как звезда
Сквозь тучи смотрит иногда.
Тяжелый звякнул уж затвор,
Угрюм и пуст широкий двор.
Вот, испытав замки дверей,
С гремучей связкою ключей
К калитке сторож подошел
И взоры на небо возвел:

«А завтра быть грозе большой!—
Сказал, крестясь, старик седой,—
Смотри-ка, молния вдали
Так и доходит до земли,
И белый месяц, как монах,
Завернут в черных облаках;
И воет ветер, будто зверь.
Дай кучу злата мне теперь,
С конюшни лучшего коня
Сейчас седлайте для меня—
Нет, не отъеду от крыльца
Ни для родимого отца!»—
Так рассуждая сам с собой,
Кряхтя, старик пошел домой.
Лишь вдалеке едва гремят
Его ключи—вокруг палат
Все снова тихо и темно,
Одно лишь светится окно.

Все в доме спит—не спит один
Его угрюмый властелин
В покое пышном и большом
На ложе бархатном своем.
Полусгоревшая свеча
Пред ним, сверкая и треща,
Порой на каждый льет предмет
Какой-то странный полусвет.
Висят над ложем образа;
Их ризы блещут, их глаза
Вдруг оживляются, глядят—
Но с чем сравнить подобный взгляд?
Он непонятней и страшней
Всех мертвых и живых очей!
Томит боярина тоска;
Уж поздно. Под окном река
Шумит—и с бурей заодно
Гремучий дождь стучит в окно.
Чернеет тень во всех углах—
И—странно—Оршу обнял страх!
Бывал он в битвах, хоть и стар,
Против поляков и татар,
Слышал он грозный царский глас,
Встречал и взор, в недобрый час:

Ни разу дух его крутой
Не ослабел перед бедой;
Но тут—он свистнул, и взошел
Любимый раб его, Сокол.

И молвил Орша: «Скучно мне,
Всё думы черные одне.
Садись поближе на скамью
И речью грусть рассей мою...
Пожалуй, сказку ты начни
Про прежние златые дни,
И я, припомнив старину,
Под говор слов твоих засну».

И на скамью присел Сокол,
И речь такую он завел:

«Жил-был за тридевять земель
В тридцатом княжестве отсель
Великий и премудрый царь.
Ни в наше времечко, ни встарь
Никто не видывал пышной
Его палат—и много дней
В веселье жизнь его текла,
Покуда дочь не подросла.

Тот царь был слаб и хил и стар,
А дочь непрочный ведь товар!
Ее, как лучший свой алмаз,
Он скрыл от молодецких глаз;
И на его царевну-дочь
Смотрел лишь день да темна ночь,
И целовать красотку мог
Лишь перелетный ветерок.

И царь тот раза три на дню
Ходил смотреть на дочь свою;
Но вздумал вдруг он в темну ночь
Взглянуть, как спит младая дочь.
Свой ключ серебряный он взял,
Сапожки шелковые снял,
И вот приходит в башню ту,
Где скрыл царевну-красоту!..

Вошел — в светлице тишина;
Дочь сладко спит, но не одна;
Припав на грудь ее главой,
С ней царский конюх молодой.
И прогневился царь тогда,
И повелел он без суда
Их вместе в бочку засмолить
И в сине море укатить...»

И быстро на устах раба,
Как будто тайная борьба
В то время совершалась в нем,
Улыбка вспыхнула — потом
Он очи на небо возвел,
Вздыхнул и смолк. «Ступай, Сокол! —
Махнув дрожащею рукой,
Сказал боярин, — в час иной
Расскажешь сказку до конца
Про оскорбленного отца!»

И по морщинам старика,
Как тени облака, слегка
Промчались тени черных дум,
Встревоженный и быстрый ум
Вблизи предвидел много бед.
Он жил: он знал людей и свет,
Он злом не мог быть удивлен;
Добру ж давно не верил он,
Не верил, только потому,
Что верил некогда всему!

И вспыхнул в нем остаток сил,
Он с ложа мягкого вскочил,
Соболью шубу на плеча
Накинул он — в руке свеча,
И вот, дрожа, идет скорей
К светлице дочери своей.
Ступени лестницы крутой
Под тяжкою его стопой
Скрывают — и свечка раза два
Из рук не выпала едва.

Он видит: няня в уголке
Сидит на старом сундуке
И спит глубоко и порой
Во сне качает головой;

На ней, предчувствием объят,
На миг он удержал свой взгляд
И мимо — но, послыша стук,
Старуха пробудилась вдруг,
Перекрестилась, и потом
Опять заснула крепким сном,
И, занята своей мечтой,
Вновь закачала головой.

Стоит боярин у дверей
Светлицы дочери своей,
И чутким ухом он приник
К замку — и думает старик:
«Нет! непорочна дочь моя,
А ты, Сокол, ты раб, змея,
За дерзкий, хитрый свой намек
Получишь гибельный урок!»
Но вдруг... о горе, о позор!
Он слышит тихий разговор!..

1-й голос

О! погоди, Арсений мой!
Вчера ты был совсем другой.
День без меня — и миг со мной?..

2-й голос

Не плачь... утешься! — близок час
И будет мир ничто для нас.
В чужой, но близкой стороне
Мы будем счастливы одне,
И не раба обнимешь ты
Среди полночной темноты.
С тех пор, ты помнишь, как чернец
Меня привез, и твой отец
Вручил ему свой кошелек,
С тех пор задумчив, одинок,
Тоской по вольности томим,
Но нежным голосом твоим
И блеском ангельских очей
Прикован у тюрьмы моей,
Задумал я свой край родной
Навек оставить, но с тобой!..

И скоро я в лесах чужих
 Нашел товарищей лихих,
 Бесстрашных, твердых, как булат.
 Людской закон для них не свят,
 Война их рай, а мир их ад.
 Я отдал душу им в заклад,
 Но ты моя—и я богат!..

И голоса замолкли вдруг.
 И слышит Орша тихий звук,
 Звук поцелуя... и другой...
 Он вспыхнул, дверь толкнул рукой
 И исступленный и немой.
 Предстал пред бледною четой...

Боярин сделал шаг назад,
 На дочь он кинул злобный взгляд,
 Глаза их встретились—и миг
 Мучительный, ужасный крик
 Раздался, пролетел—и стих.
 И тот, кто крик сей услышал,
 Подумал, верно, иль сказал,
 Что дважды из груди одной
 Не вылетает звук такой.
 И тяжко на цветной ковер,
 Как труп бездушный с давних пор,
 Упало что-то. И на зов
 Боярина толпа рабов,
 Во всем послушная орда,
 Шумя сбежалася тогда,
 И без усилий, без борьбы
 Схватили юношу рабы.

Нем и недвижим он стоял,
 Покуда крепко обвивал
 Все члены, как змея, канат;
 В них проникал могильный хлад,
 И сердце громко билось в нем
 Тоской, отчаяньем, стыдом.

Когда ж безумца увели
 И шум шагов умолк вдали,
 И с ним остался лишь Сокол,
 Боярин к двери подошел;

В последний раз в нее взглянул,
Не вздрогнул, даже не вздохнул
И трижды ключ перевернул
В ее заржавленном замке...
Но... ключ дрожал в его руке!
Потом он отворил окно:
Все было на небе темно,
А под окном меж диких скал
Днепр беспокойный бушевал.
И в волны ключ от двери той
Он бросил сильною рукой,
И тихо ключ тот роковой
Был принят хладною рекой.

Тогда, решив свою судьбу,
Боярин верному рабу
На волны молча указал.
И тот поклоном отвечал...
И через час уж в доме том
Все спало снова крепким сном,
И только не спал в нем один
Его утрюмый властелин.

Глава II

The rest thou dost already know,
And all my sins, and half my woe,
But talk no more of penitence...

*Byron **

Народ кипит в монастыре;
У врат святых и на дворе
Рабы боярские стоят.
Их копыя медные горят,
Их шапки длинные кругом
Опушены густым бобром;
За кушаком блестят у них
Ножны кинжалов дорогих.

* Остальное тебе уже известно,
И все мои грехи, и половина моей скорби,
Но не говори более о покаянии...

Байрон (англ.)

Меж них стремянный молодой,
За гриву правую рукой
Держа боярского коня,
Стоит; по временам, звеня,
Стремена бьются о бока;
Истерт ногами седока
В пыли малиновый чепрак;
Весь в мыле серый аргамак,
Мотает гривую густой,
Бьет землю жилистой ногой,
Грызет с досады удила,
И пена легкая, бела,
Чиста, как первый снег в полях,
С железа падает на прах.

Но вот обедня отошла,
Гудят, режут колокола;
Вот слышно пенье — из дверей
Мелькает длинный ряд свечей;
Вослед игумену-отцу
Монахи сходят по крыльцу
И прямо в трапезу идут:
Там грозный суд, последний суд
Произнесет отец святой
Над бедной грешной головой!

Безмолвна трапеза была.
К стене налево два стола
И пышных кресел полукруг,
Изделье иноческих рук,
Блистали тканью парчевой;
В большие окна свет дневной,
Врываясь белой полосой,
Дробясь в искры по стеклу,
Играл на каменном полу.
Резьбою мелкою стена
Была искусно убрана,
И на двери в кружках золотых
Блистали образа святых.
Тяжелый, низкий потолок
Расписывал как знал, как мог
Усердный инок... жалкий труд!
Отнявший множество минут
У бога, дум святых и дел:
Искусства горестный удел!..

На мягких креслах пред столом
Сидел в бездействии немом
Боярин Орша. Иногда
Усы седые, борода,
С игривым встретившись лучом,
Вдруг отливали серебром,
И часто кудри старика
От дуновенья ветерка
Приподымались слегка.
Движеньем пасмурных очей
Нередко он искал дверей,
И в нетерпении порой
Он по столу стучал рукой.

В конце противном залы той
Один, в цепях, к нему спиной,
Покрыт одеждою раба,
Стоял Арсений у столба.
Но в молодом лице его
Вы не нашли б ни одного
Из чувств, которых смутный рой
Кружится, вьется над душой
В час расставания с землей.
Хотел ли он перед врагом
Предстать с бесчувственным челом,
С холодной важностью лица
И мстить хоть этим до конца?
Иль он невольно в этот миг
Глубокой мыслию постиг,
Что он в цепи существ давно
Едва ль не лишнее звено?..
Задумчив, он смотрел в окно
На голубые небеса;
Его манила их краса;
И кудри легких облаков,
Небес серебряный покров,
Неслись свободно, быстро там,
Кидая тени по холмам;
И он увидел: у окна,
Заботой резвою полна,
Летала ласточка — то вниз,
То вверх под каменный карниз
Кидалась с дивной быстротой
И в щели пряталась сырой;

То, взвившись на небо стрелой,
Тонула в пламенных лучах...
И он вздохнул о прежних днях,
Когда он жил, страстям чужой,
С природой жизнью одной.
Блеснули тусклые глаза,
Но это блеск был — не слеза;
Он улыбнулся, но жесток
В его улыбке был упрек!

И вдруг раздался звук шагов,
Невнятный говор голосов,
Скрыл отворяемых дверей...
Они! — взошли! — толпа людей
В высоких, черных клобуках,
С свечами длинными в руках.
Согбенный тягостью вериг
Пред ними шел слепой старик,
Отец игумен. — Сорок лет
Уж он не знал, что божий свет;
Но ум его был юн, богат,
Как сорок лет тому назад.
Он шел, склонясь на посох свой,
И крест держал перед собой;
И крест осыпан был кругом
Алмазами и жемчугом.
И трость игумена была
Слоновой кости, так бела,
Что лишь с седой его бородой
Могла равняться белизной.

Перекрестясь, он важно сел,
И пленника подвесьть велел,
И одного из чернецов
Позвал по имени — суров
И холоден был вид лица
Того святого чернеца.
Потом игумен, наклонясь,
Сказал боярину, смеясь,
Два слова на ухо. В ответ
На сей вопрос или совет
Кивнул боярин головой...
И вот слепец махнул рукой!



И понял данный знак монах,
Укор готовый на устах
Словами книжными убрал
И так преступнику вещал:
«Безумный, бренный сын земли!
Злой дух и страсти привели
Тебя медовою тропой
К границе жизни сей земной.
Грешил ты много, но из всех
Грехов страшней последний грех.
Простить не может суд земной,
Но в небе есть судья иной:
Он милосерд — ему теперь
При нас дела свои поверь!»

Арсений

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел! — благодарю.
Не понимаю, что была
У вас за мысль? — мои дела
И без меня ты должен знать,
А душу можно ль рассказать?
И если б мог я эту грудь
Перед тобою развернуть,
Ты, верно, не прочел бы в ней,
Что я бессовестный злодей!
Пусть монастырский ваш закон
Рукою бога утвержден,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой:
Он оправдал меня — один
Он сердца полный властелин!
Когда б сквозь бедный мой наряд
Не проникал до сердца яд,
Тогда я был бы виноват.
Но всех равно влечет судьба:
И под одеждою раба,
Но полный жизнью молодой,
Я человек, как и другой.
И ты, и ты, слепой старик,
Когда б ее небесный лик
Тебе явился хоть во сне,
Ты позавидовал бы мне;

И в исступленье, может быть,
Решился б также согрешить,
И клятвы б грозные забыл,
И перенести бы счастлив был
За слово, ласку или взор
Мое мученье, мой позор!..

Орша

Не поминай теперь об ней;
Напрасно!.. у груди моей,
Хоть ныне поздно вижу я,
Согрелась, выросла змея!..
Но ты заплатишь мне теперь
За хлеб и соль мою, поверь.
За сердце ж дочери моей
Я заплачу тебе, злодей,
Тебе, найденьши без креста,
Презренный раб и сирота!..

Арсений

Ты прав... не знаю, где рожден!
Кто мой отец, и жив ли он?
Не знаю... люди говорят,
Что я тобой ребенком взят,
И был я отдан с ранних пор
Под строгий иноков надзор,
И вырос в тесных я стенах
Душой дитя—судьбой монах!
Никто не смел мне здесь сказать
Священных слов: «отец» и «мать»!
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен?
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ—могил!
Но нынче сам я не хочу
Предать их имя палачу
И все, что славно было б в нем,
Облить и кровью и стыдом:
Умру, как жил, твоим рабом!..

Нет, не грози, отец святой;
Чего бояться нам с тобой?
Обоих нас могила ждет...
Не все ль равно, что день, что год?
Никто уж нам не господин;
Ты в рай, я в ад — но путь один!
С тех пор, как длится жизнь моя,
Два раза был свободен я:
Последний ныне. — В первый раз,
Когда я жил еще у вас,
Среди молитв и пыльных книг,
Пришло мне в мысли хоть на миг
Взглянуть на пышные поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы!
И в час ночной, в ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
При блеске молний роковых
Я убежал из стен святых;
Боязнь с одеждой кинул прочь,
Благословил и хлад и ночь,
Забыл печали бытия
И бурю братом назвал я.
Восторгом бешеным объят,
С ней унести я был бы рад,
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил!
О старец, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..

Игумен

На что нам знать твои мечты?
Не для того пред нами ты!
В другом ты ныне обвинен,
И хочет истины закон.
Открой же нам друзей своих,
Убийц, разбойников ночных,

Которых страшные дела
Смывает кровь и кроет мгла,
С которыми, забывши честь,
Ты мнил несчастную увезть.

Арсений

Мне их назвать? Отец святой,
Вот что умрет во мне, со мной.
О нет, их тайну — не мою —
Я неизменно сохраню,
Пока земля в урочный час
Как двух друзей не примет нас.
Пытай железом и огнем,
Я не признаюсь ни в чем;
И если хоть минутный крик
Изменит мне... тогда, старик,
Я вырву слабый мой язык!..

Монах

Страшишься упорствовать, глупец!
К чему? уж близок твой конец,
Скорее тайну нам предай.
За гробом есть и ад и рай,
И вечность в том или другом!..

Арсений

Послушай, я забылся сном.
Вчера в темнице. Слышу вдруг
Я приближающийся звук,
Знакомый, милый разговор,
И будто вижу ясный взор...
И, пробудясь во тьме, скорей
Ищу тех звуков, тех очей...
Увы! они в груди моей!
Они на сердце, как печать,
Чтоб я не смел их забывать,
И жгут его, и вновь живят...
Они мой рай, они мой ад!
Для вспоминания об них
Жизнь — ничего, а вечность — миг!

Игумен

Богохулитель, удержиись!
Пади на землю, плачь, молись,
Прими святую в грудь боязнь...

Мечтанья злые — божья казнь!
Молись ему...

Арсений

Напрасный труд!

Не говори, что божий суд
Определяет мне конец:
Всё люди, люди, мой отец!
Пускай умру... но смерть моя
Не продолжит их бытия,
И дни грядущие мои
Им не присвоить — и в крови,
Неправой казнью пролитой,
В крови безумца молодой
Им разогреть не суждено
Сердца, увядшие давно;
И гроб без камня и креста,
Как жизнь их ни была свята,
Не будет слабым их ногам
Ступенью новой к небесам;
И тень несчастного, поверь,
Не отопрет им рая дверь!..
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне!
Я молод, молод — знал ли ты,
Что значит молодость, мечты?
Или не знал? Или забыл,
Как ненавидел и любил?
Как сердце билось живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой трещине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?..
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл... ты слеп, ты сед,
И от желаний ты отвык...
Что за нужда? ты жил, старик;
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил — я также мог бы жить!..

Но тут игумен с места встал,
Речь нечестивую прервал,
И негодуя все вокруг
На гордый вид и гордый дух,
Столь непреклонный пред судьбой,
Шептались грозно меж собой,
И слово «пытка» там и там
Вмиг пробежало по устам;
Но узник был невозмутим,
Бесчувственно внимал он им.
Так бурей брошен на песок,
Худой, увязнувший челнок,
Лишенный весел и гребцов,
Недвижим ждет напор валов.

.....
.....
.....
...Светает. В поле тишина.
Густой туман, как пелена
С посеребренной каймой,
Клубится над Днепром-рекой.
И сквозь него высокий бор,
Рассыпанный по скату гор,
Безмолвно смотрится в реке,
Едва чернея вдалеке.
И из-за тех густых лесов
Выходят стаи облаков,
А из-за них, огнем горя,
Выходит красная заря.
Блестят кресты монастыря;
По длинным башням и стенам
И по расписанным вратам
Прекрасный, чистый и живой,
Как счастье жизни молодой,
Играет луч ее золотой.

Унылый звон колоколов
Озвал уж в храм святых отцов;
Уж дым кадил между столбов,
Вился струей, и хор звучал...
Вдруг в церковь служка прибежал,
Отцу игумену шепнул
Он что-то скоро — тот вздрогнул
И молвил: «Где же казначей?»

Поди спроси его скорей,
Не затерял ли он ключей!»
И казначей из алтаря
Пришел, дрожа и говоря,
Что все ключи еще при нем,
Что не виновен он ни в чем!
Засуетились чернецы,
Забегали во все концы,
И свод нередко повторял
Слова: бежал! кто? как бежал?
И в монастырскую тюрьму
Пошли один по одному,
Загадкой мучаясь простой,
Жильцы обители святой!..

Пришли, глядят: распилена
Решетка узкого окна,
Во рву притоптанный песок
Хранил следы различных ног;
Забывший на песке лежал
Стальной, зазубренный клинжал,
И польский шелковый кушак
Изорван, скручен кое-как,
К ветвям березы под окном
Привязан крепким был узлом.

Пошли прилежно по следам:
Они вели к Днепру — и там
Могли заметить на мели
Рубец отчалившей ладьи.
Вблизи, на прутьях тростника
Лоскут того же кушака
Висел, в воде одним концом,
Колелем ранним ветерком.

«Бежал! — Но кто ж ему помог?
Конечно, люди, а не бог!..
И где же он нашел друзей?
Знать, точно он большой злодей!» —
Так, собираясь, меж собой
Твердили иноки порой.

Глава III

'Tis he! 'tis he! I know him now;
I know him by his pallid brow...

Byron *

Зима! Из глубины снегов
Встают, чернея, пни дерёв,
Как призраки, склонясь челом
Над замерзающим Днепром.
Глядится тусклый день в стекло
Прозрачных льдин — и занесло
Овраги снегом. На заре
Лишь заяц крадется к норе
И, прыгая назад, вперед,
Свой след запутанный кладет;
Да иногда, во тьме ночной,
Раздастся псов протяжный вой,
Когда, голодный и худой,
Обходит волк вокруг гумна.
И если в поле тишина,
То даже слышны издали
Его тяжелые шаги,
И скрип, и щелканье зубов;
И каждый вечер меж кустов
Сто ярких глаз, как свечи в ряд,
Во мраке прыгают, блестя...

Но вьюги зимней не страшась,
Однажды в ранний утра час
Боярин Орша дал приказ
Собраться челяди своей,
Точить ножи, седлать коней;
И разнеслась везде молва,
Что беспокойная Литва
С толпою дерзких воевод
На землю русскую идет.

* Это он, это он! Я теперь узнаю его;
Я узнаю его по бледному челу...

Байрон (англ.)

От войска русского гонцы
 Во все помчались концы,
 Зовут бояр и их людей
 На славный пир — на пир мечей!

Садится Орша на коня,
 Дал знак рукой, гремя, звеня,
 Средь вопля женщин и детей
 Все повскакали на коней,
 И каждый с знаменьем креста
 За ним проехал в ворота;
 Лишь он, безмолвный, не крестясь,
 Как бусурман, татарский князь,
 К своим приближась воротам,
 Возвел глаза — не к небесам;
 Возвел он их на терем тот,
 Где прежде жил он без забот,
 Где нынче ветер лишь живет
 И где, качая изредка
 Дверь без ключа и без замка,
 Как мать качает колыбель,
 Поет гульливая метель!..

*

.....

 Умчался дале шумный бой,
 Оставля след багровый свой...
 Между поверженных коней,
 Обломков копий и мечей
 В то время всадник разъезжал;
 Чего-то, мнилось, он искал,
 То низко голову склоня
 До гривы черного коня,
 То вдруг привстав на стременах...
 Кто ж он? не русский! и не лях —
 Хоть платье польское на нем
 Пестрело ярко серебром,
 Хоть сабля польская, звеня,
 Стучала по ребрам коня!

Чела крутого смуглый цвет,
Глаза, в которых мрак и свет
В борьбе сменялися не раз,
Почти могли б уверить вас,
Что в нем кипела кровь татар...
Он был не молод — и не стар.
Но, рассмотрев его черты,
Не чуждые той красоты
Невыразимой, но живой,
Которой блеск печальный свой
Мысль неизменная дала,
Где все, что есть добра и зла
В душе, прикованной к земле,
Отражено как на стекле, —
Вздохнувши, всякий бы сказал,
Что жил он меньше, чем страдал.

Среди долины был курган.
Корнистый дуб, как великан,
Его пятою попирает
И горделиво расстилал
Над ним по прихоти своей
Шатер чернеющих ветвей.
Тут бой ужасный закипел,
Тут и затих. Громада тел,
Обезображенных мечом,
Пестрела на кургане том,
И снег, окрашенный в крови,
Кой-где протаял до земли;
Кора на дубе вековом
Была изрублена кругом,
И кровь на ней видна была,
Как будто бы она текла
Из глубины сих новых ран...
И всадник въехал на курган,
Потом с коня он соскочил
И так в раздумье говорил:
«Вот место — мертвый иль живой
Он здесь... вот дуб — к нему спиной
Прижавшись, бешеный старик
Рубился — видел я хоть миг,
Как, окружен со всех сторон,
С пятью рабами бился он,

И дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова!..
Здесь, сквозь толпу, издалека
Я видел, как его рука
Три раза с саблей поднялась
И опустилась — каждый раз,
Когда она являлась вновь,
По ней ручьем бежала кровь...
Четвертый взмах я долго ждал!
Но с поля он не побежал,
Не мог бежать, хотя б желал!..»
И вдруг он внемлет слабый стон,
Подходит, смотрит: «Это он!»
Главу, омытую в крови,
Боярин приподнял с земли
И слабым голосом сказал:
«И я узнал тебя! узнал!
Ни время, ни чужой наряд
Не изменят зловещий взгляд
И это бледное чело,
Где преступление и зло
Печать оставили свою.
Арсений! — Так, я узнаю,
Хотя могилы на краю,
Улыбку прежнюю твою
И в ней шипящую змею!
Я узнаю и голос твой
Меж звуков стороны чужой,
Которыми ты, может быть,
Его желаешь изменить.
Твой умысел постиг я весь,
Я знаю, для чего ты здесь.
Но верный родине моей,
Не отверну теперь очей,
Хоть ты б желал, изменник-лях,
Прочешь в них близкой смерти страх,
И сожаленье, и печаль...
Но знай, что жизни мне не жаль,
А жаль лишь то, что час мой бил,
Покуда я не отомстил;
Что не могу поднять меча,
Что на руках моих, с плеча
Омытых кровью до локтей
Злодеев родины моей,
Ни капли крови нет твоей!..»

«Старик! о прежнем позабудь...
Взгляни сюда, на эту грудь,
Она не в ранах, как твоя,
Но в ней живет тоска-змея!
Ты отомщен вполне, давно,
А кем и как—не все ль равно?
Но лучше мне скажи, молю,
Где отыщу я дочь твою?
От рук врагов земли твоей,
Их поцелуев и мечей,
Хоть сам теперь меж ними я,
Ее спасти я поклялся!»

«Скачи скорей в мой старьй дом,
Там дочь моя; ни ночь, ни днем
Не ест, не спит, все ждет да ждет,
Покуда милый не придет!
Спеши... уж близок мой конец,
Теперь обиженный отец
Для вас лишь страшен как мертвец!»
Он дальше говорить хотел,
Но вдруг язык оцепенел;
Он сделать знак хотел рукой,
Но пальцы сжались меж собой.
Тень смерти мрачной полосой
Промчалась на его челе;
Он обернул лицо к земле,
Вдруг протянулся, захрипел,
И—дух от тела отлетел!

К нему Арсений подошел,
И руки сжатые развел,
И поднял голову с земли:
Две яркие слезы текли
Из побелевших мутных глаз,
Собой лишь светлы, как алмаз.
Спокойны были все черты,
Исполнены той красоты,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.

И долго юноша над ним
Стоял, раскаяньем томим,
Неволью мысли о былом,
Прощая—не прощен ни в чем!

И на груди его потом
Он тихо распахнул кафтан:
Старинных и последних ран
На ней кровавые следы
Вились, чернели, как бразды.
Он руку к сердцу приложил,
И трепет замиравших жил
Ему неясно возвестил,
Что в буйном сердце мертвеца
Кипели страсти до конца,
Что блеск печальный этих глаз
Гораздо прежде их погас!..

Уж время шло к закату дня,
И сел Арсений на коня,
Стальные шпоры он в бока
Ему вонзил — и в два прыжка
От места битвы роковой
Он был далеко. — Пеленой
Широкою за ним луга
Тянулись: яркие снега
При свете косвенных лучей
Сверкали тысячью огней.
Пред ним стеной знакомый лес
Чернеет на краю небес;
Под сень дерев въезжает он:
Все тихо, всюду мертвый сон,
Лишь иногда с седого пня,
Послыша близкий храп коня,
Тяжелый ворон, царь степной,
Слетит и сядет на другой,
Свой кровожадный чистя клёв
О сучья жесткие дерёв;
Лишь отдаленный вой волков,
Бегущих жадною толпой
На место битвы роковой,
Терялся в тишине степей...
Сыпучий иней вокруг ветвей
Берез и сосен, над путем
Прозрачным свившихся шатром,
Висел косматой бахромой;
И часто шапкой иль рукой
Когда за них он задевал,

Прах серебристый осыпал
Его лицо... и быстро он
Скакал, в раздумье погружен.
Измучил непривычный бег
Его коня—в глубокий снег
Он вязнет часто... труден путь!
Как печь, его дымится грудь,
От нетерпенья седока
В крови и пене все бока.
Но близко, близко... вот и дом
На берегу Днепра крутом
Пред ним встает из-за горы;
Заборы, избы и дворы
Приветливо между собой
Теснятся пестрою толпой,
Лишь дом боярский между них,
Как призрак, сумрачен и тих!..

Он въехал на широкий двор.
Все пусто... будто глад иль мор
Недавно пировали в нем.
Он слез с коня, идет пешком...
Толпа играющих детей,
Испуганных огнем очей,
Одеждой чуждой пришлеца
И бледностью его лица,
Его встречает у крыльца
И с криком убегает прочь...
Он входит в дом— в покоях ночь,
Закрыты ставни, пол скрипит,
Пустая утварь дребезжит
На старых полках; лишь порой
Широкой, белой полосой
Рисуясь на печи большой,
Проходит в трещину ставней
Холодный свет дневных лучей!

И лестницу Арсений зрит
Сквозь сумрак; он бежит, летит
Наверх, по шатким ступеням.
Вот свет блеснул его очам,
Пред ним замерзшее окно:

Оно давно растворено,
Сутробом собрался большим
Снег, не растаявший под ним.
Увы! знакомые места!
Налево дверь — но заперта.
Как кровью, ржавчиной покрыт,
Большой замок на ней висит,
И, вынув нож из кушака,
Он всунул в скважину замка,
И, затрещав, распался тот...
И тихо дверь толкнув вперед,
Он входит робкою стопой
В светлицу девы молодой.

Он руку с трепетом простер,
Он ищет взором мильей взор,
И слабый шепчет он привет:
На взгляд, на речь ответа нет!
Однако смято ложе сна,
Как будто бы на нем она
Тому назад лишь день, лишь час
Главу покоила не раз,
Младенческий вкушая сон.
Но, приближаясь, видит он
На тонких белых кружевах
Чернеющий слоями прах,
И ткани паутин седых
Вкруг занавесок парчевых.

Тогда в окно светлицы той
Упал заката луч златой,
Играя, на ковер цветной;
Арсений голову склонил...
Но вдруг затрясся, отскочил
И вскрикнул, будто на змею
Поставил он пядь свою...
Увы! теперь он был бы рад,
Когда б быстрее, чем мысль иль взгляд,
В него проник смертельный яд!..

Громаду белую костей
И желтый череп без очей
С улыбкой вечной и немой —
Вот что узрел он пред собой.

Густая, длинная коса,
 Плеч беломраморных краса,
 Рассыпавшись, к сухим костям
 Кой-где прилипнула... и там,
 Где сердце чистое такой
 Любовью билось огневой,
 Давно без пищи уж бродил
 Кровавый червь — жилец могил!

.....

«Так вот все то, что я любил!
 Холодный и бездушный прах,
 Горевший на моих устах,
 Теперь без чувства, без любви
 Сожмут объятия земли.
 Душа прекрасная ее,
 Приняв другое бытие,
 Теперь парит в стране святой,
 И как укор передо мной
 Ее минутной жизни след!
 Она погибла в цвете лет
 Среди тайных мук иль без тревог,
 Когда и как, то знает бог.
 Он был отец — но был мой враг:
 Тому свидетель этот прах,
 Лишенный сени гробовой,
 На свете признанный лишь мной!

Да, я преступник, я злодей —
 Но казнь равна ль вине моей?
 Ни на земле, ни в свете том
 Нам не сойтись одним путем...
 Разлуки первый грозный час
 Стал веком, вечностью для нас;
 О, если б рай передо мной
 Открыт был властью неземной,
 Клянусь, я прежде, чем вступил,
 У врат священных бы спросил,
 Найду ли там среди святых
 Погибший рай надежд моих.
 Творец! отдай ты мне назад
 Ее улыбку, нежный взгляд,

Отдай мне свежие уста
И голос сладкий, как мечта,
Один лишь слабый звук отдай...
Что без нее земля и рай?
Одни лишь звучные слова,
Блестящий храм — без божества!..

Теперь осталось мне одно:
Иду! — куда? не все ль равно,
Та иль другая сторона?
Здесь прах ее, но не она!
Иду отсюда навсегда
Без дум, без цели и труда,
Один с тоской во тьме ночной,
И вьюга след завевает мой!..»

БЕГЛЕЦ

(Горская легенда)

Гарун бежал быстрее лани,
 Быстрее, чем заяц от орла;
 Бежал он в страхе с поля брани,
 Где кровь черкесская текла;
 Отец и два родные брата
 За честь и вольность там легли,
 И под пятой у супостата
 Лежат их головы в пыли.
 Их кровь течет и просит мщенья,
 Гарун забыл свой долг и стыд;
 Он растерял в пылу сраженья
 Винтовку, шашку—и бежит!

И скрылся день; клубясь, туманы
 Одели темные поляны
 Широкой белой пеленой;
 Пахнуло холодом с востока,
 И над пустынею пророка
 Встал тихо месяц золотой!..

Усталый, жаждою томимый,
 С лица стирая кровь и пот,
 Гарун меж скал аул родимый
 При лунном свете узнает;
 Подкрался он никем не зримый...
 Кругом молчанье и покой,
 С кровавой битвы невредимый
 Лишь он один пришел домой.

И к сакле он спешит знакомой,
 Там блещет свет, хозяин дома;
 Скрепясь душой как только мог,
 Гарун ступил через порог;
 Селима звал он прежде другом,
 Селим пришельца не узнал;
 На ложе мучимый недугом,—
 Один,— он молча умирал...
 «Велик аллах! от злой отравы
 Он светлым ангелам своим
 Велел беречь тебя для славы!»

«Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы бились в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь, преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков;
Черкесы гибнут — враг повсюду..
Прими меня, мой старьй друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.

И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело;
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним;
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит..
И хочет он взойти — и слышит,
И слышит песню старины..
И стал Гарун бледней луны:

Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.



Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароят.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.

Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь...

Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..

«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!» — «Один?» — «Один!».
— «А где отец и братья?» — «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
— «Ты отомстил?» — «Не отомстил...
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою...»

«Молчи, молчи! гяур лукавый.
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус—и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И все кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор...
И мать поутру увидала...
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыгча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поньне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

ДЕМОН*Восточная повесть***ЧАСТЬ I****I**

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливым первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

II

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

III

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел,—и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы—
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоко
Не отразилось ничего.

IV

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливым, пышным край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,

И кущи роз, где соловьи
 Поют красавиц, безответных
 На сладкий голос их любви;
 Чинар развесистые сени,
 Густым венчанные плющом,
 Пещеры, где палящим днем
 Таятся робкие олени;
 И блеск, и жизнь, и шум листов,
 Стозвучный говор голосов,
 Дыханье тысячи растений!
 И полдня сладострастный зной,
 И ароматною росой
 Всегда увлажненные ночи,
 И звезды яркие, как очи,
 Как взор грузинки молодой!..
 Но, кроме зависти холодной,
 Природы блеск не возбудил
 В груди изгнанника бесплодной
 Ни новых чувств, ни новых сил;
 И все, что пред собой он видел,
 Он презирал иль ненавидел.

V

Высокий дом, широкий двор
 Седой Гудал себе построил...
 Трудов и слез он много стоил
 Рабам послушным с давних пор.
 С утра на скат соседних гор
 От стен его ложатся тени.
 В скале нарублены ступени;
 Они от башни угловой
 Ведут к реке, по ним мелькая,
 Покрыта белою чадрой*,
 Княжна Тамара молодая.
 К Арагве ходит за водой.

VI

Всегда безмолвно на долины
 Глядел с утеса мрачный дом;
 Но пир большой сегодня в нем —
 Звучит зурна**, и льются вины —

* Покрывало. (Прим. Лермонтова.)

** Вроде вольнки. (Прим. Лермонтова.)

Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

VII

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росой
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;

С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

VIII

В последний раз она плясала.
Увы! завтра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поньше,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул...

IX

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался — и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?

Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог...
Забуть? — забвенья не дал бог:
Да он и не взял бы забвенья!..
.....

X

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжелой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чужи*, — кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны.
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман...
Прибавил шагу караван.

* Верхняя одежда с откидными рукавами. (Прим. Лермонтова.)

XI

И вот часовня на дороге...
 Тут с давних лет почиет в боге
 Какой-то князь, теперь святой,
 Убитый мстительной рукой.
 С тех пор на праздник иль на битву,
 Куда бы путник ни спешил,
 Всегда усердную молитву
 Он у часовни приносил;
 И та молитва сберегала
 От мусульманского кинжала.
 Но презрел удалой жених
 Обычай прадедов своих.
 Его коварною мечтою
 Лукавый Демон возмущал:
 Он в мыслях, под ночью тьмою,
 Уста невесты целовал.
 Вдруг впереди мелькнули двое,
 И больше — выстрел! — что такое?..
 Привстав на звонких* стремянах,
 Надвинув на брови папах**,
 Отважный князь не молвил слова;
 В руке сверкнул турецкий ствол,
 Нагайка целк — и, как орел,
 Он кинулся... и выстрел снова!
 И дикий крик и стон глухой
 Промчались в глубине долины —
 Недолго продолжался бой:
 Бежали робкие грузины!

XII

Затихло все; теснясь толпой,
 На трупы всадников порой
 Верблюды с ужасом глядели;
 И глухо в тишине степной
 Их колокольчики звенели.
 Разграблен пышный караван;

* Стремяна у грузин вроде башмаков из звонкого металла.
 (Прим. Лермонтова.)

** Шапка, вроде ериванки. (Прим. Лермонтова.)

И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет...

XIII

Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремяна,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

XIV

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха молодого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал...
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

XV

На беззаботную семью,
Как гром, слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны,
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?»

Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья—
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участия
И беспечна, как они!

Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распухнет ночью;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет,—
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...»

XVI

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг...
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!..

ЧАСТЬ II

I

«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...

Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимую мечтой;
Я гибну, сжался надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня...»

II

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билось, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он... но — куда?..

III

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был — и порой,

Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы молодой.
Кругом, в тени деревьев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной,
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

IV

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Куруется в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

V

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;

И все ей в нем предлог мученью —
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: «То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

VI

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждет...
Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится *ему*;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах...

VII

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура* стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поньше возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

* Чингар—род гитары. (Прим. Лермонтова.)

VIII

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

IX

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поньше;
К моей любви, к моей святине
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»

Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! — сказал он грозно, —
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;

Здесь больше нет твоей святыни,
 Здесь я владею и люблю!»
 И Ангел грустными очами
 На жертву бедную взглянул
 И медленно, взмахнув крылами,
 В эфире неба потонул.

X

Тамара

О! кто ты? речь твоя опасна!
 Тебя послал мне ад иль рай?
 Чего ты хочешь?..

Демон

Ты прекрасна!

Тамара

Но молви, кто ты? отвечай...

Демон

Я тот, которому внимала
 Ты в полуночной тишине,
 Чья мысль душе твоей шептала,
 Чью грусть ты смутно отгадала,
 Чей образ видела во сне.
 Я тот, чей взор надежду губит;
 Я тот, кого никто не любит;
 Я бич рабов моих земных,
 Я царь познания и свободы,
 Я враг небес, я зло природы,
 И, видишь,—я у ног твоих!
 Тебе принес я в умиление
 Молитву тихую любви,
 Земное первое мученье
 И слезы первые мои.
 О! выслушай—из сожаленья!
 Меня добру и небесам
 Ты возвратить могла бы словом.

Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю,—
Я раб твой,—я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел—
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно—розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм—без божества!

Т а м а р а

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу...
Творец... Увы! я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова—огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь!

Д е м о н

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все бывшее бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.

В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлён,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой,
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно...
Они текли в венцах из злата;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц, и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю... прежними друзьями
Я был отвергнут; как Эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;

Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго... пламень чистой веры
Легко навек я залил в них...
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой...
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне...
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравились мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молнией и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спасти от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!

Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

Тамара

Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Демон

Против тебя ли?

Тамара

Нас могут слышать!..

Демон

Мы одне.

Тамара

А бог!

Демон

На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей!

Тамара

А наказанье, муки ада?

Демон

Так что ж? Ты будешь там со мной!

Тамара

Кто б ни был ты, мой друг случайный,—
Покой навеки погубя,
Невольню я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая...
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?

Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой...
Нет! дай мне клятву роковую...
Скажи,— ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь...
Но ты все понял, ты все знаешь—
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне... от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний.
Ненарушимых больше нет?..

Демон

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовью моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,

Следы небесного огня—
И мир в неведение спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поньше
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,—
Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;

Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

XI

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.

В нем было все: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье—
Прощанье с жизнью молодой.

ХII

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугуною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугуной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика...
Но пронеслось еще мгновенье,
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча, скорыми шагами
Обычный продолжает путь.

.....

ХIII

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.



Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали...
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

XIV

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженья,
Земле беззвучное *прости*.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.

Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраняя,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!..

XV

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня,
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сёл,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоились там;
И превратилась в кладбище
Скала, родная облакам:
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится...
Напрасно! мертвым не приснится
Ни грусть, ни радость прошлых дней.

XVI

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издали уж звуки рая
К ним доносились — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорил: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, боже! — кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.

«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал: —
Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал —
И благо божие решение!
Дни испытания прошли;
С одеждой брэнною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:

Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»

И Ангел строгими очами
На искушителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упования и любви!..

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботное дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Когда-то очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жилыцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совется в три кольца,
То ляжет длинной полосой
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властью святой,
Видна меж туч еще поныне.
И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,
Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,

То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала утрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

ДЕМОН*(Из ранних редакций)*

1

Печальный Демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним;
Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу бога,
Не отвращаясь от него,
Когда заботы и тревога
Чуждались ума его,
Как дня боится мрак могилы,
И много, много... и всего
Представить не имел он силы.

Уньло жизнь его текла
В пустыне мира — и на вечность
Он пригляделся — но была
Мучительна его беспечность.
Путем, назначенным судьбой,
Он равнодушно подвигался;
Он жег печатью роковой
Все то, к чему ни прикасался.
Смеясь над злом и над добром,
Стыдясь надежд, стыдясь боязни,
Он с гордым встретил бы челом
Прощенья глас, как слово казни;
Он жил забыт и одинок,
Грозой оторванный листок,
Угрюм и волен, избегая
И свет небес, и ада тьму,
Он жил, не веря ничему
И ничего не признавая.

Как черный саван, на земле
Лежала ночь... вились туманы
По гребням гор; на их челе,
Сторожевые великаны,
Гнездились стаи облаков.

И вечно ропщущее море
Гуляло мирно на просторе,
Сверкая пеною валов.

Между прибрежных диких скал
Беглец Эдема пролетал.
Он взор, исполненный презренья,
Вперил на грешный мир земной
И зрит в тумане отдаленья
Верхи обители святой.
У стен ее, прохлады полны,
Однообразно шепчут волны.
Кругом ее густых дерев
Сплелись кудрявые вершины,
И кое-где из их средины,
Стремясь достать до облаков,
Встает, белея, остов длинный
Зубчатой башни, и над ней,
Символ спасения забвенный,
Чернеет ржавый крест, нагбенный
Усиьем бури и дождей.
Меж бедных келий храм огромный.
Едва сквозь длинное окно
Глядит лампы луч нескромный.
Внутри все спит давным-давно.
Все вокруг таинственно и темно.

Вот одинока и красна
Встает двурога луна,
И в усыпленную обитель
Вступает мрачный искуситель.
Вдруг тихий и прекрасный звук,
Подобно звуку лютни, внемлет;
И чей-то голос. Жадный слух
Он напрягает. Хлад объемлет
Чело. Он хочет прочь тотчас:
Его крыло не шевелится,
И—чудо!—из померкших глаз
Слеза свинцовая катится.
Поньше возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезю жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой.

Как много значил этот звук!
Века минувших упоений,
Века изгнания и мук,
Века бесплодных размышлений
О настоящем и былом —
Все разом отразилось в нем.

Проникнул в келью дух смущенный,
Минуя образ позлащенный,
Как будто видя в нем укор,
Со страхом отвращает взор;
В углу из мрамора мадона,
Лампада медная над ней,
На голове ее корона
Из роз душистых и лилей.
У стенки девственное ложе,
Луна, смеясь, в окно глядит,
А у окна... всесильный боже!
Что с ним? — он млеет! он дрожит!
По струнам лютни ударяя,
Пред ним, озарена луной,
В одежде черной власяной
Была монахиня младая;
Она сидела перед ним
Объята жаром вдохновенья,
Мила, как первый херувим,
Как первые звезды творенья.
В больших глазах ее порой
Невнятно говорило что-то
Невыразимую тоской,
Неизъяснимую заботой.
Полураскрытые уста
Живые изливали звуки;
В них было все: моленья, муки,
Слова надежд, слова разлуки
И детских мыслей простота.
И грудь высоко воздымалась.
И обнаженная рука,
Белей, чем утром облака,
К струнам, как ветер, прикасалась.
Клянусь святыней гробовой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока!

Гаремов брызжущий фонтан
Ни разу летнею порою
Своей алмазною росой
Не омывал подобный стан...
Ни разу гордый сын порока
Не осквернял руки такой...
Клянусь святыней гробовой,
Лучом заката и востока.

Дух отвержения и зла
Стоял недвижим у порога;
Не смел он приподнять чела,
Страшася в ней увидеть бога!
Увы, в душе его была
Давно забытая тревога!
Он искушать хотел — не мог,
Не находил в себе искусства;
Забить? — забвенья не дал бог;
Любить? — недоставало чувства.
И удалиться он спешил
От этой кельи, где впервые
Нарушил клятвы роковые,
Земной святыне уступил.
Но прелесть звуков и виденья
Остались на душе его,
И в памяти сего мгновенья
Уж не изгладит ничего!

2

Скажу ль? сначала думал он,
Хотел во что бы то ни стало
Исторгнуть из груди, как жало,
Мгновенный светлый этот сон.
И, победив свое презренье,
Он замешался меж людей,
Чтоб ядом пагубных речей
Убить в них веру в провиденье...
Но до него, как и при нем,
Уж веры не было ни в ком;
И полон скуки непонятной,
Он скоро кинул мир развратный
И на хребет пустынных гор
Переселился с этих пор.

Там над жемчужным водопадом
Себе пещеру отыскал,
В природу вник глубоким взглядом,
Душою жизнь ее объял.
Как часто на вершине льдистой
Один меж небом и землей
Под кровом радуги огнистой
Сидел он мрачный и немой,
И белогривые метели,
Как львы, у ног его ревели.
Как часто, подымая прах
В борьбе с летучим ураганом,
Одетый молнией и туманом,
Он дико мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спасти от думы неизбежной
И незабвенное — забыть!
Но уж не то его тревожит,
Что прежде, тот железный сон
Прошел. Любить он может — может,
И в самом деле любит он!
И хочет в путь опять пускаться,
Чтоб с милой девой повидаться,
Чтоб раз ей в очи поглядеть
И невозвратно улететь.

Востока ясное светило
На небо юное взошло
И моря синее стекло
Лучами утра озарило.
Вот милый берег! вот она,
Обетованная страна...
Вот испещренная цветами
Густой лимонной рощи сень,
Вот пред святыми воротами
Часовня... южный теплый день
Играет яркими лучами
По белым башням и стенам.
Безмолвны мраморные плиты,
От стен ведущие во храм.
Плющом душистым перевиты,
Вокруг него ряды крестов,

Немые сторожи гробов,
Как стадо летом пред грозой,
Пестрея жмутся меж собою...

Страшась надеждам волю дать,
К знакомой келье он подходит,
Кругом нее задумчив бродит.
Жива ль она? одна ль, как знать?
К дверям прильнул он жадным ухом.
Ни струн, ни песен не слышать!
Невольно он смутился духом,
Невольно, как в пещеру змей,
Закралось в ум его сомненье,
И вещей луч грядущих дней
Сверкнул в его воображенье!
Он в келью светлую проник...
Взошел, взглянул... ужасный крик,
Как бури свист порой ночью,
Раздался в воздухе пустом,
И ярость адскою волною,
Как лава, разлилась по нем.
Простите, краткие надежды
Любви, блаженства и добра;
Открыл дремавшие он вежды:
И то сказать — давно пора!

Посланник рая, ангел нежный,
В одежде дымной, белоснежной,
Стоял с блистающим челом
Перед монахиней прекрасной
И от врага с улыбкой ясной
Приосенял ее крылом.
Они счастливы, святы оба!
Довольно — ненависть и злоба
Взыграли демонской душой.
Он вышел твердою стопой.
Он вышел — сколько чувств различных,
С давнишних лет ему привычных,
В душе теснятся — сколько дум
Меняет недовольный ум!
Красавице погибнуть надо,
Ее не пощадит он вновь,
Погибнет: прежняя любовь
Не будет для нее оградой!

Свершилось! он опять таков,
 Каким явился меж рабов
 Великому царю вселенной
 В часы той битвы незабвенной,
 Где на преступное чело
 Проклятье вечное легло.
 Он ждет, у стен святых блуждая,
 Когда останется одна
 Его монахиня младая,
 Когда нескромная луна
 Взойдет; пустыню озаряя.
 Он ожидает час глухой,
 Текущий под noctную мглой,
 Час тайных встреч и наслаждений
 И незаметных преступлений,
 Он к ней прокрадется туда,
 Под сень обители уснувшей,
 И там погубит навсегда
 Предмет любви своей минувшей...
 Лампада в келье чуть горит.
 Лукавый с девою сидит,
 И чудный страх ее объемлет.
 Она, как смерть, бледнея, внемлет.

Монахиня

Забить волнение страстей
 Я поклялась давно, ты знаешь;
 К чему ж теперь меня смущаешь
 Мольбою странною своей?
 О, кто ты? — речь твоя опасна!
 Чего ты хочешь?

Незнакомец

Ты прекрасна!

Монахиня

Кто ты?

Незнакомец

Я Демон! — не страшись:
 Святыни здешней не нарушу;
 И о спасенье не молись.
 Не искушать пришел я душу.

К твоим ногам, томясь в любви,
Несу покорные моления,
Земные первые мученья
И слезы первые мои.
Не отгоняй меня укором,
Не выжимай из груди стон:
Несправедливым приговором
Я на изгнание осужден.
Не зная радости минутной,
Живу над морем и меж гор,
Как перелетный метеор,
Как степи ветер бесприютный.
И слишком горд я, чтоб просить
У бога вашего прощенья:
Я полюбил мои мученья
И не могу их разлюбить.
Но ты, ты можешь оживить
Своей любовью непритворной
Мою томительную лень
И жизни скучной и позорной
Непролетающую тень!

Монахиня

К чему мне знать твои печали?
Зачем ты жалуешься мне!
Ты виноват...

Незнакомец

Против тебя ли?

Монахиня

Нас могут слышать.

Незнакомец

Мы одне.

Монахиня

А бог?

Незнакомец

На нас не кинет взгляда,
Он занят небом, не землей.

Монахиня

А наказанье, муки ада?

Незнакомец

Так что ж? ты будешь там со мной.
Мы станем жить любя, страдая,
И ад нам будет стоить рая;
Оставь сомнения свои;
И что такое жизнь святая
Перед минутою любви?
Моя бессменная подруга,
Ты будешь разделять со мной
Века бессмертного досуга
И власть над бедною землей,
Где носит все печать презренья,
Где меж людей, с давнишних лет,
Ни настоящего мученья,
Ни счастья без обмана нет.
Благословишь ты нашу долю,
Не будешь на меня роптать
И не захочешь грусть и волю
За рабство тихое отдать.

Монахиня

Оставь меня, о дух лукавый,
Оставь... не верю я врагу.
Творец... увы, я не могу
Молиться... тайною отравой
Мой ум слабеющий объят...
Но слушай, ты меня погубишь,
Твои слова огонь и яд,
Скажи, зачем меня ты любишь...

Незнакомец

Зачем, красавица? — увы,
Не знаю... Полон жизнью новой,
С своей преступной головы
Я гордо снял венец терновый.
Я все бывшее бросил в прах;
Мой рай, мой ад в твоих очах;
Я проклял прежнюю беспечность;
С тобою розно мир и вечность
Пустые звучные слова,
Прекрасный храм — без божества.

Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты,
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты;
Люблю блаженством и страданьем,
Надеждою, воспоминаньем,
Всей роскошью души моей...
О, не страшись... но пожалей!..
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам,
Прислужниц чудных и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сниму венец я золотой,
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью
И яркий перстень из агата
Надену на руку твою.
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я.
Чертоги светлые построю
Из бирюзы и янтаря...
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака
И дам тебе все, все земное,
Люби меня!..

И он слегка
Прижался страстными устами
К ее пылающим устам;
Тоской, угрозами, слезами
Он отвечал ее мольбам.
Она противиться не смела,
Слабела, таяла, горела
От неизвестного огня,
Как белый воск от взоров дня.
В то время сторож полуночный
Один, вокруг стены крутой,
Когда ударил час урочный,
Бродил с чугуною доской.

Но возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Невнятный крик и слабый стон...
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика.
«То не отшельницы моленье!»
Подумал он, и до замка
Уже коснулся... тихо снова!
Ни слов, ни шума не слышать...
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать...
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча, скорыми шагами
Свой прежний продолжает путь.

За час до солнечного восхода,
Еще высокий берег спал,
Вдруг зашумела непогода,
И океан забушевал;
И вместе с бурей и громами,
Как умирающего стон,
Раздался глухо над волнами
Зловещий колокола звон.
Не для молитвы призывали
Святых монахинь в тихий храм,
Не двум счастливым женихам
Свечи дрожащие пылали:
В середине церкви гроб стоял,
Досками черными обитый,
И в том гробу мертвец лежал,
Холодным саваном увитый.
Зачем не слышен плач родных
И не видать во храме их?
И кто мертвец? Едва приметный
Остаток прежней красоты
Являют бледные черты;

Уста закрытые бесцветны,
И в сердце пылкой страсти яд
Сии глаза не поселят,
Хотя еще весьма недавно
Владели пылкою душой,
Неизъяснимой, своенравной,
В борьбе безумной и неравной
Не знавшей власти над собой.
И нет тебя, младая дева!..
Как злак потопленных полей,
Добычча ревности и гнева,
Ты вдруг увяла в цвете дней!..
Напрасно будет солнце юга
Играть приветно над тобой,
Напрасно будет дождь и вьюга
Реветь над плитой гробовой.
Лобзанье юноши живое
Твои уста не разомкнет;
Земля взяла свое земное,
Она назад не отдает.

3

С тех пор промчалось много лет,
Пустела древняя обитель,
И время, вечный разрушитель,
Смывало постепенно след
Высоких стен; и храм священный,
Добычча бури и дождей,
Стал молчалив, как мавзолей,
Умерших памятник надменный.
Из двери в дверь во мгле ночей
Блуждает ветер освобожденный.
Внутри, на ликах расписных
И на окладах золотых,
Большой паук, отшельник новый,
Кладет сетей своих основы.
Не раз, сбегав со скал крутых,
Сайгак иль серна, дочь свободы,
Приют от зимней непогоды
Искала в кельях. И порой
Забытой утвари паденье
Среди развалины глухой
Их приводило в изумленье.

Но в наше время ничему
Нельзя нарушить тишину:
Что может падать, то упало,
Что мрет, то умерло давно,
Что живо, то бессмертно стало,
Но время вживе удержало
Воспоминание одно.

И море пенится и злится,
И сильно плещет и шумит,
Когда волнами устремится
Обнять береговой гранит.
Он вдаль в море одиноко,
Над ним чернеет крест высокой.
Всегда скалой отражена,
Покрыта пылью белоснежной,
Теснится у волны волна,
И слышен ропот их мятежный,
И удаляются толпой,
Другим предоставляя бой.

Над тем крестом, над той скалою,
Однажды утренней порою
С глубокой думою стоял
Дитя Эдема, ангел мирный,
И слезы молча утирал
Своей одеждою сапфирной,
И кудри мягкие, как лен,
С главы венчанной упали,
И крылья легкие, как сон,
За белыми плечьями сияли.
И был небесный свод над ним
Украшен радугой цветистой,
И волны с пеною сребристой
С каким-то трепетом живым
К скалам теснились вековым.
Все было тихо. Взор унылый
На небо поднял ангел милый,
И с непонятною тоской
За душу грешницы молодой
Творцу молился он, и, мнилось,
Природа вместе с ним молилась.

Тогда над синей глубиной
Дух отверженья и порока
Без цели мчался с быстротой
Новорожденного потока.
Страданий мрачная семья
В чертах недвижимых таилась;
По следу крыл его тащилась
Багровой молнии струя.
Когда ж он пред собой увидел
Все, что любил и ненавидел,
То шумно мимо промелькнул
И, взор пронзительно кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул.

МЦЫРИ *

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.

1-я Книга Царств

1

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Каильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертью забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

И божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

* Мцыри — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». (Прим. Лермонтова.)



Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути.
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился — даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.

Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец.
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Не много пользы вам узнать,—
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душевных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас—
Зачем?.. утрюм и одиноком,

Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен,—
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ—могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билось живею
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?

Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил,—я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежеею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объяты каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтися никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курились, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
В дали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней.

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше, и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножен
Кинжалов длинных... и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробежало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер...
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей...
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касались крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышной.

8

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.

Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

Бежал я долго — где, куда?
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал.
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудю камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листья;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;

Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг — голос — легкий шум шагов...
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:

И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон,— когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише,— но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.

Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь...
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог,—мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отраднѣй сон
Сомкнул глаза невольнo мне...
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя занѣла грудь.
Я долго силился вздохнуть—
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добыччею своею,
Объятыя жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне... но я туда
Взойти не смел. Я цель одну—
Пройти в родимую страну—
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал... Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.

То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, — и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почувял он, и вой.
Протяжный, жалобный как стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружие... Он завыл,
Рванулся из последних сил,

И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной...
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез

В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал...
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унести в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал— это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине—
И тут все ясно стало мне...
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца— будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила... Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия...
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок...

22

И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.

Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Посльшались, или ручья
Ребячий лепет... Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах...

23

И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был...
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь...
И я боялся лишь заснуть, —
Так было сладко, любо мне...

А надо мною в вѣшинѣ
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливѣй других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моею не раз,
И взор ее зеленыхъ глаз
Был грустно нежен и глубок...
И надивиться я не мог:
Ее серебристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: «Дитя мое,
Останься здѣсь со мной:
В водѣ привольное житье
И холод и покой.

*

Я созову моихъ сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.

*

Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдутъ года, пройдутъ века
Под говоръ чудныхъ снов.

*

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю какъ вольную струю,
Люблю какъ жизнь мою...»

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливалась тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...

24

Так я найден и поднят был...
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таясь, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...
Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенести меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»

Приложение



Н.М.ЯЗЫКОВ



ВАЛДАЙСКИЙ УЗНИК

1

Смотрите на меня: я худ!
Но не злосчастье и блуд,
И не желанье быть в раю
Убили молодость мою.
Из детства дружный с суетой
Я с уповательной душой,
Без пожирающих страстей,
Спокойно шел тропой своей.
Теперь сбылось мне двадцать лет,
А я, как мой покойный дед,
Стал телом сух и слаб душой.
На утре дней моих — судьбой
Я унесен из мест родных
И поселен в стенах чужих;
И там учился я тому,
Что не по нраву моему;
Семь лет убил я в школе сей
И вышел, право, не умней;
Мне за науки дали чин,
И я — не просто дворянин.
Тогда я думал, что счастлив,
Душой был рад, умом итшив.
А отчего? Не знал и сам;
Так в первый день отец Адам
Благодарил творца душой,
Не зная, что творец благой
Определил в тот самый день
Ему — оставить рая сень.

2

И я не долго видел рай!
Вдруг мне приказано: в Валдай!
Зачем? я спрашивать не смел,—
И скука, под названьем дел,
Здесь мне на сердце налегла:
Труды, заботы—без числа,
А пользы в них нисколько нет!
Лишь от шоссэ великий вред
Нерассудительной казне,
И горе тягостное мне!
Так я, покорствуя судьбе,
Другой уж год живу в избе,
Где духота и едкий дым
С телесным здоровьем моим
Враждуют—и победа их!
Привыкнув в летах молодых
Прелестниц милых обнимать,
Я их искал—но как сыскать?
Сей задымившийся Валдай
Для холостых—прегорький край:
Здесь неизвестен сладкий грех!
Не как в обители утех,
Средь образованных столиц,
Здесь—для прокату—нет девиц.
И я предвижу смертный срок:
Я здесь телесно одинок
И, как угодник божий, сух,
Огонь души моей потух!

3

Всегдашней пылью покрыт,
Как монастырь Валдай стоит
Среди дубрав и диких гор.
Здесь из грибов—лишь мухомор,
На мертвой зелени долин
Здесь ни лилея, ни ясмин,
Но терн, крапива и волчец.
И серый волк, тех гор жилец,
В угрюмом сумраке ночном
Здесь воет под моим окном.

И грозный филин — страж ночей —
Вблизи от хижины моей,
Сидя на церкви городской,
Кричит — и голос гробовой
Ужасно вторится в горах.
Да леса ближнего в дуплах
Протяжные стенанья сов,
И ветра шум, и скрип дубов
Тревожат краткий отдых мой.
Когда ж засну, то надо мной
Иль крысы завизжат во пре,
Иль в завалившейся норе
Уньло заскребется мьшь;
То по доскам соседних крыш
Забегают коты — и я,
Кляня причину бытия,
Котов влюбленных слышу вой,
Отрывный, дикий и глухой.

4

Приятно в горести мечтать,
Когда не перестал сиять
Отрадный упованья свет;
Когда страдалец — не скелет —
Еще душою не увял.
Так я сначала здесь мечтал,
И часто в тишине ночей,
Отрады холостых людей,
Счастливой призваны мечтой,
Являлись девы предо мной —
И я — страданье забывал:
Я милый призрак обнимал,
Манил на ложе дев младых,
Я осязал невинность их,
Я млел, я таял, я пылал;
Но сон-изменник исчезал,
И я, уныл и одинок,
Браня людей и сны и рок,
Как бешеный, подушки грыз!

5

Однажды сделала сюрприз
Фортуна мне: заметил я
В окне соседнего жилья
Живое что-то, и в крови
Моей промчался огонь любви,
И свет блеснул душе моей.
Как житель выпрених полей,
Моя красавица была
Небесной прелестью мила.
И я, несчастный, полюбил!
Я девой очарован был:
Ее движений простота,
И глаз невинных быстрота,
И розы свежие ланит,
И стан, завидный для харит,
И ясность райского лица,
Чело, достойное венца,
И грудь, белейшая лилей,
И кольца ангельских кудрей,
И голос — лепет ручейка,
И ножка — право, в полвершка,
И, словом, всё пленяло в ней,
Всё было раем для очей.

6

Но так хотел мой гневный рок:
От девы близко жил — дьячок!
И был влюблен в нее душой.
Он был гигант величиной,
Душа в нем бранная была:
Рад вызвать к битве хоть вола.
Он здесь соперника не знал:
Весь город силу уважал;
И, говорят, он был любим
Прелестным ангелом моим,
И часто, девицу любя,
Ночевывал не у себя.
А я не знал ее любви!
Огонь кипел в моей крови
День ото дня сильней, сильней!

В унылой хижине моей
Всё было мрачно для меня;
Ни свет божественного дня,
Ни мрак ночной, ни блеск луны,
Ни царство вечной тишины —
Не утешало грусти злой;
Я был как камень гробовой,
В лесу поставленный глухом.
Так жил я!.. Вдруг в уме моем
Блеснула мысль — и я — пошел!

7

Был вечер: на уснувший дол
Лился луны дрожащий свет.
И бор туманами одет,
И сном окован был поток,
Я шел печален, одинок
К жилищу девицы моей.
Уж сердце билось быстрее,
Уж сладострастная мечта
Была надеждой занята,
Уж через низенький забор
Я перелез — любовный вор —
И быстро по двору бежал...
Как вдруг!.. Я весь затрепетал!..
Из дома вылетел дьячок!
(Убей его Илья-пророк!)
Я от него, а он за мной,
И тяжкой, жилистой рукой
Как громом бедного разил!
Я плакал, я его молил;
Но тщетен был мой жалкий стон;
Дьячок прибил и выгнал вон
Меня, злосчастливого в любви!..

8

И после этого — живи!..
Нет, возвратившись домой,
Угрюмый, бледный и немой,
Отчаяньем терзался я
И жил — почти без бытия!

Весь мир казался мне чужим,
Недвижным, диким и пустым!
То был какой-то страшный свет,
То был хаос без дней и лет,
Без тяжести, без тел и мест,
Без солнца, месяца и звезд,
Без господ и без людей,
Без подсудимых и судей,
Без властелинов и рабов,
Без атеистов и попов,
Без цели действий и причин,
Без жен, девиц и без мужчин,
Без глупости и без ума!..
Ни день, ни ночь, ни свет, ни тьма!

9

И я теперь — как бы убит!
Любви телесной аппетит
Везде, всегда — как тень со мной.
С неисцелимою тоской
И без надежд, и без отрад —
Брожу куда глаза глядят...
Любовь! любовь! ты мне дала
И жар на смелые дела,
И жажду славы и честей,
И ты уж в юности моей
Меня лишила благ мирских:
Ты в членах протекла моих,
Как ветер губительной зимы,
Как ангел брани иль чумы!..

В.Л.Пушкин



КАПИТАН ХРАБРОВ

Глава I

Большой саратовской дорогой,
В кибитке низенькой, убогой,
На родину тащился я,
В село, где в домике смиренном
Жила старушка мать моя,
И с сердцем, часто сокрушенным,
Вспоминала обо мне.
Семь лет я не был в той стране,
Семь лет с родимой я расстался,
В походах и сраженьях был,
Чин капитана получил
И орденами украшался.

Хотел бы я, романтик новый,
Осенний вечер описать
И тоном жалостным сказать,
Как ветер бушевал суровый,
Как с неба дождь ушатом лил,
Как в бурке я дрожал косматой;
Но Аполлон замысловатый,
Увы! меня не наградил
Талантом Байронов чудесных,
И на Руси теперь известных.

Подъехал мой ямщик к реке,
И вот паром. Там вдалеке,
Я вижу, огонек мелькает;
«Скорей,— я закричал,— друзья!
Ночлег нас добрый ожидает:
Я вас согрею и себя».

Старик с плешивой головою,
С седою длинной бородою
Стоит на берегу другом
И нас встречает с фонарем;
А дождь всё льет, и с мокрым снегом.
Слуга мой верный Еремей
В шинели фризовой своей
В дом к старику пустился бегом,
А я за ним, старик за мной;
Ночлегу рад я всей душой.

Мы входим в горницу. На лавке
Старуха сгорбившись сидит,
Лучинка перед ней горит;
В ногах ее мальчишка в шапке
Играет с кошкою своей.
«Старушка добрая, здорово!
Согрей нам чайник поскорей!»
— «Сейчас, бояре! Всё готово!»
И самовар уже кипит,
Ром на столе, я согреваюсь;
Хозяин пристально глядит,
Как я ко сну приготавлиюсь.
Мой добрый спутник Еремей
Давно храпит: он спать охотник.
Старик, старуха и работник—
Все вышли вон. Сверчок-злодей
Мне скучным криком спать мешает,
Огарок сальный догорает;
Но как заснуть? Там сотни крыс
Возиться, кажется, сошлись.
Я вдруг вскочил от нетерпенья,
Пошел убежища искать;
В сенях чулан и там кровать:
Вот место для отдохновенья.
Я лег—и слышу разговор:
У старика с женою спор.
«Что мешкаешь? Ступай скорее!
Приезжие сном крепким спят».
— «К рассвету наши прилетят:
Их подожду! Тогда смелее
К концу мы дело приведем;
Пощады нет! Мы их убьем!»

— «А где ж ямщик?» — «Он связан мною
И пьяный на сене лежит».

— «Ну, как всё кончится бедою?»

— «Ни слова боле! Я сердит

И проучить тебя умею».

— «Я, Климыч, за тебя робею».

Умолкли. Я тихонько встал,

Кинжал и пистолеты взял;

Сонливый мой слуга проснулся,

Пошли мы ямщика будить:

Насилу наш бедняк очнулся.

«Послушай, нас хотят убить:

Мы у разбойников. Скорее

Коней в кибитку запрягай;

Прочь колокольчик! Не зевай!

Спасемся ночью мы вернее».

Готова тройка. Мы с большим

Трудом ворота отворили;

Бежит старик, работник с ним.

«Вы нас,— кричат,— не ускорили!

Мы здесь. Трудненько вам спастись!

Смотри же, барин, берегись!»

Батрак за повод хватает,

Хозяин с топором в руках.

Занес его!.. Откинув страх,

Я выстрелил: он упадет.

Мы ускакали. Провиденье

Избавило от смерти нас!

Вот видим солнца восхождение:

Настал приятный утра час;

Утихла буря; стадо в поле

Шагами тихими идет,

Пастух играет; дождь не льет.

Хоть птичек хор не слышен боле,

Хоть лист желтеет и летит,

Но божий мир всегда прекрасен.

Свод неба чист, и всё сулит,

Что будет день хорош и ясен.

И вот село! Прелестный вид:

Там на горе крутой, высокой

Великолепный храм стоит,

Внизу река. По ней широкий

И длинный мост ведет в посад.

Народ копышется. Въезжаем.
Отряд мы казаков встречаем
И стражи внутренней солдат;
Они разбойников поймали.
Ямщик остановился мой.
К нам офицер передовой
Бежит... Друг друга мы узнали:
«Ах, это ты, Храбров! Откуда?
Не ожидал такого чуда,
Чтоб здесь увидеться с тобой!»
— «Я еду в отпуск на покой,
Готовился покой мне вечный;
Бог спас меня, мой друг сердечный!»
Я тут ему пересказал
Ночное наше приключенье;
И что ж? Какое удивленье!
Он самых тех воров поймал,
Которых ждал старик плешивый.
Романтик бы красноречивый
Представил кучу тут картин;
Скажу я просто: мы расстались
И как друзья поцеловались.
«Прости, мой милый Валентин!»
— «Прости, Храбров! Мы повидались;
Судьбе спасибо! Добрый путь!»
Мне нужно было отдохнуть,
Я ночь не спал. На постоялом
Остановились мы дворе,
И на разостланном ковре,
Одетьй теплым одеялом,
Заснул я крепко. Вот мой сон:
Мне чудилось, что на кладбище,
Умерших вечное жилище,
Куда-то я перенесен;
Брожу, а вечер наступает;
На небе молния сверкает,
И гром раскатисто гремит;
И сова хохочет, жук жужжит,
И мышь крылатая летает.
И что ж? Могила предо мной
С ужасным треском расступилась.
И в длинном саване явилась
Тень бледная; меня рукой
Она холодной обнимает...

«Проститься я пришла с тобой:
Смерть лютая нас разлучает!»
Сказала... и узнал я в ней
Тень нежной матери моей.
Я плакал. Сердце трепетало.
Гром грянул.— Я проснулся вдруг.
Родимая, мой милый друг,
Не верю, чтоб тебя не стало!
Нет, от беды избавит бог!
Я, право, обойтись не мог,
Чтоб не представить сновиденья;
Романтики такого мненья,
Что тот поэт не удалец,
Кому не видится мертвец.

Верст десять ехать нам осталось.
От нетерпения казалось,
Что время медленно текло.
Вот наша роща и село,
Вот церковь, пруд, сад плодovitый,
Дом, черепицею покрытый,
Вот конопли и огород;
Мы подъезжаем — я вбегаю
И мать-старушку обнимаю
И целый девок хоровод.
Терентий Карпов, дядька мой,
Служитель пьяный и глухой,
С почтеньем руку лобызает;
Федора-ключница бежит,
От радости на всех брюзжит
И нам обед приготовляет.
«Мой друг Парфен! Бог мне велел
Еще увидеться с тобою!
Ты возмужал, похорошел,—
Сказала мать,— а мне судьбою
Дочь милая еще дана;
Ты будь ей братом! Вот она».
И вдруг я вижу пред собою
Красавицу в шестнадцать лет:
В романах Вальтер Скотта, Мура,
Нодье, виконта д'Арленкура
Читали вы ее портрет.

За стол мы сели: и рубцы
Нам подают, к ним пряженцы,
Бараний бок с горячей кашей,
Жаркого гуся и пирог;
Но есть я ничего не мог,
А любовался всё Наташей.

В дом матушка ее взяла,⁴
Ей было девять лет, не боле;
Священник нашего села
Нашел ее младенцем в поле,
Принес домой и воскормил.
Наташу попадья любила,
Но бог помощницы лишил
Почтенного отца Кирилла.
Тогда он плача упросил,
Чтоб матушка взяла Наташу.
«Бог наградит за щедрость вашу!—
Упав к ногам, он говорил,—
Теперь живу я одинокий;
Как мне за девочкой смотреть?
К тому же в старости глубокой
И мне недолго умереть».

Родительница с восхищеньем
Наташу согласилась взять,
Ее учить и наблюдать
За добрым нравом, поведением
И, сколько можно, утешать.
Наташа многое уж знала:
Умела колпаки вязать,
На гусях песенки бренчать
И полотенца вышивала.
Прошло еще пять иль шесть лет.
Другим Наташа занималась,
И в длинный талию корсет
Она затягивать старалась;
Носила кисею, перкаль,
Большие букли завивала,
«Светлану» наизусть читала;
Лишь одного ей было жаль:
Она не знала по-французски.

Тиранка мода губит нас:
И даже в деревнях подчас
Никто не говорит по-русски.
Наташа в обществах бывала,
Но и с хорошеньким лицом
Большую частью всё молчала.
Всяк может согласиться в том,
Что было ей довольно скучно:
Молчанье с скукой неразлучно.

Представлю я в главе другой,
Читатель, новые картины.
Дошед рассказа половины,
Я смелой напишу рукой
Ряд целый точек

.....
И от правил

Романтиков не отступлю:
Я точки в повестях люблю;
Лорд Байрон тысячи их ставил,
И подражатели его:
Гиро, Сумет, Виктор Гюго
Лишь точками известны стали
И славу за вихор поймали.

Глава 2

Читатель, может быть, дивится,
Что я так сведущ и учен;
Но я всегда любил учиться,
И мой полковник, граф Валтрон,
Саксонец, Гете обожатель,
Был мой наставник и приятель;
Он колдунов, чертей любил,
И, признаюсь, ему в угоду,
Я принял новую методу:
Расина-трагика бранил,
Не смел Вольтера звать поэтом,
А восхищался я «Гамлетом»
И «Фауста» переводил.

Мне нужно было отступленье:
Читателю я доказал,
Что службы долг мне не мешал
Любить и книги и ученье.

Теперь к Наташе я своей
В восторге сердца обращаюсь.
Вот месяц, как в деревне с ней
Живу и жизнью наслаждаюсь.
Хоть снег порхает по полям,
Мы с нею рѣзвимся, гуляем,
При матушке, по вечерам,
Романы, повести читаем;
Старушка дремлет, и для нас
Тем лучше: тысячу я раз
У милой руку поцелую;
Она в невинности своей
Твердит, что я любезен ей;
Я весел, счастлив, торжествую!
Ах, без любви пустыня свет!

Однажды утром мне пакет
Приносят с почты; я читаю:
«Мой друг. Тебя уведомляю,
Что старика ты не убил:
Ему ты руку раздробил;
Он ранен, но в живых остался;
Во многом, к счастью, признался,
И я в Саратов буду с ним.
С тобой, товарищем моим,
Увижусь к радости сердечной.
Твой друг нелицемерный, вечный

Валентин».

Я доброй матери моей
Прочел приятеля посланье.
«Исполни бог мое желанье! —
Она сказала.— Может, ей
Он и жених! Не правда ль, милый?
Стараться будем всею силой,
Чтоб он Наташу полюбил!
Он не богат, я это знаю,
Но честен, говорят, и мил;
А честность я предпочитаю
Богатству и чинам большим».
Я был в смущенье, недвижим
И не сказал в ответ ни слова,
А милая была готова
Заплакать от таких речей.

Но, к счастью, капитан-исправник,
Великий краснобай, забавник,
На двор катит с женой своей,
Большой охотницей до чтенья,
Питомицей мадам Жарни.
«Скорее чаю и варенья,—
Кричит старушка,— вот они.
А, Петр Фомич, прошу садиться!
Аксинья Павловна, ко мне,
Поближе, только не чиниться.
Давно мы в здешней стороне
Гостей любезных не видали.
Прошу Парфена полюбить;
Надеюсь, вы о нем слышали:
Он отпущен со мной пожить;
Господь старуху утешает».
И Петр Фомич меня тотчас
С восторгом к сердцу прижимает,
Жена учтиво приседает:
«Monsieur Храбров, мы ждали вас
С большим, поверьте, нетерпеньем!
Я слышала, что вы поэт!
Скажите, правда или нет?
Я очень занимаюсь чтеньем,
И романтизм меня пленил.
Недавно Ларина Татьяна
Мне подарила Калибана:
Ах, как он интересен, мил!
Заиры, Федры, Андрوماхи
Не в моде более у нас,
О них и наши альманахи
С презреньем говорят подчас».
— «Что, какво,— Фомич вскричал,—
Умом хозяйка щеголяет?
Неделю каждую журнал
Она недаром получает;
Язык французский ей знаком,
И розовый ее альбом
Наполнен разными стихами,
Рисунками и вензелями».
Но вот Наташа за столом
Чай ароматный разливает.
Франтиха с головы снимает
Московский щегольской берет;

«Подобного в уезде нет,—
 Она с улыбкою сказала,—
 Мадам Ле-Бур шлет всякий год
 Мне кучу иностранных мод;
 Но дорога несносно стала,
 А с ней расстаться не могу,
 В большом я живучи кругу».
 Чай отпили, и ночевать
 Остались гости дорогие;
 Их должно было удержать:
 Проезды осенью дурные,
 И Петр Фомич, исправник наш,
 Хоть должностью давненько правил,
 Мостов же вовсе не исправил,
 Свой наблюдая авантаж,
 Иль прибыль, говоря по-русски;
 Чтоб мне от рифмы не отстать,
 Одно словечко написать
 Осмелился я по-французски.
 Ты смелость не почти виной,
 Читатель благосклонный мой!

Глава 3

Питомица мадам Жарни,
 Супруг ее и bon ami*
 У нас довольно погостили,
 И только чрез четыре дни
 Мы их в Саратов отпустили.
 Ах, сколько мы прочли стихов,
 На сцену вызвав колдунов
 Немецких, английских, шотландских,
 Норвежских, шведских и лапландских.
 И, в чертовщину углубясь,
 С восторгом мы о ней читали;
 Вкус тонкий и в твореньях связь
 Мы сущим вздором почитали.
 Еленой** Фаустовой быть
 Аксиныя Павловна желала,
 Чего-то тайного искала
 И не хотела говорить
 О классиках она ни слова;

* Добрый друг (фр.).

** Читай Елену, новую поэму г. Гете. (Прим. В. Л. Пушкина.)

Но всей душой была готова
С рогами черта полюбить
И всю вселенну удивить
Рождением Эвфориона.
Исправник был другого тона:
Он слушал нас и всё зевал;
С старушкою в пикет играл,
И пунш ему был утешеньем.
Романсов русских нежным пенъем
Наташа забавляла нас.
«Ах, милая, как жаль, что вас
Мадам Тегиль петъ не учила,—
Вздохнув, франтиха говорила,—
В Москве я пела и сама,
Но, к огорченью, всё забыла.
В провинции сойти с ума
Немудрено от страшной скуки;
Я здесь четвертый год живу,
Всё как во сне, не наяву,
И не беру гитары в руки».
Вот как мы быстрые часы
С гостями своими провожали;
Соседей клали на весы
И всех почти критиковали;
Так водится: людей хвалить
Трудней гораздо, чем бранить.

На святках предводитель Хватов
Дает огромный маскарад
И приглашает нас в Саратов.
Я приглашенью очень рад;
Но тамо милая со мною
Мазурку будет танцевать
И легкостью, и красотою
Всем нравиться и всех пленять.
Мы съехались, и полковая
На хорах музыка гремит;
Приличность и порядок зная,
Наш предводитель Неофит
Иванович, одетый греком,
Княгиню Милову ведет;
Танцуя польский, руку жмет;

Он самым модным человеком
У нас в губернии слывет
И, душ две тысячи имея,
Жать руки может не робея.
Аксинья Павловна со мной
Идет, жеманясь, в сарафане;
Супруг ее, в ямском кафтане,
С предлинной черной бородой,
Наташу подхватив, тащится
За маскарадною толпой;
Вбегает в залу и кружится
Кадриль пастушек, пастухов;
Губернский стряпчий Батраков
Является в усах гусаром;
Разносчик с ленточным товаром
Смешные делает прыжки
И дамам подает стишки.
Армяне, арлекины, турки
Теснятся, бегают кругом.
Какой шум, крик, какой содом!
Но полночь бьет, и вмиг мазурки,
К отраде многих, начались.
Я взял Наташу. Понеслись
Мы с нею вихрем по паркету.
Часа три посвятив пикету,
Старушка мать явилась к нам.
Мазурки кончились, мы сели.
Разносят виноград гостям,
И яблоки, и карамели,
Оршад, и мед, и лимонад,
И пунш охотникам до рома.
Почтеннейший хозяин дома
Всех угощать душевно рад.
Но что я вижу? В парике
И упираясь на клюке,
Подходит маска с длинным носом
И тотчас к матушке с вопросом:
«Давно ль сынок приехал твой
И долго ль проживет он с нами?
Какой же молодец собой!
Подай мне руку, милый мой!
Мы были в старину друзьями»,
И вдруг мне на ухо шепнул:
«Я Валентин!» — и ускользнул.

Здесь Валентин, и в маскараде
В дурацком резвится наряде,
Подумал я, он шут большой
И до проказ охотник вечно.
Ко мне он будет? Рад сердечно:
Он добрый сослуживец мой.
В Наташу влюбится? Так что же?
Я в ней уверен, для нее
Я всех милее и дороже,
Открыто сердце мне ее.
Но вот уж солнца на восходе,
Московской повинуюсь моде,
Пустились гости по домам;
По нашим вороным коням
Ямщик брадастый вмиг ударил
И скоро нас в село доставил.

Глава 4

Зима настала; снег пушистый
Покрывл и холмы, и луга;
И пышной Волги берега
Освещены луной серебристой.
Летит на тройке удалой
К нам гость доселе небывалый,
Князь Пустельгин, плясун лихой,
Охотник псовый, добрый малый,
Хотя немного и болтлив.
Гусаром будучи, военной
Он как-то службы невзлюбив,
В Московский перешел архив.
Богатый дядя и почтенный
Каким-то случаем ему
Чин камер-юнкера доставил;
В прибавок старичок к тому,
Скончавшись, молодцу оставил,
Так сказать, pour la bonne bouche*,
В Саратове пять тысяч душ.
У предводителя на бале
С Наташей князь вальсировал
И даже ей на опахале
Экспромт какой-то написал,

* На закуску (фр.).

Чувствительный и кудреватый,
Из антологии им взятый.
Итак, князь Пустельгин у нас:
Счастливей для старушки час!
Она в сердечном восхищенье.
Федора и весь дом в волненье:
Чем угостить? Что подавать?
Вот несут кофе с сухарями,
Витушками и кренделями.
«Прошу на гусях поиграть,—
Наташе матушка сказала,—
Давно я очень не слыхала
Любимой песенки моей:
«Соловей, мой соловей!»
Наташа милая запела
Приятно, просто, как умела;
Я, бледный, близ нее стоял
И ноты ей перебирал.
«Прелестно, sur mon Dieu*, прелестно! —
С ужимкой Пустельгин сказал.—
И Булахов, певец чудесный,
Хотя в столице и живет,
Не лучше этого поет».
Потом, ко мне подсев поближе,
«Вы были, слышал я, в Париже,—
Промолвил он,— скажите нам,
Чем боле занимались там?
Каков Тальма в игре Ореста?
Приятна ли Менвель-Фодор?
Вы всех их знали... Я ж ни с места
И нигде не был до сих пор;
Но я вояж предпринимаю,
И прямо в Рим. От скуки здесь
Скачу я по полям, порскаю
И в карты проигрался весь!»
Мы после вдруг заговорили
О новых книгах, о стихах
И модный романтизм хвалили.
«Хвала германцам! О чертях
Они понятие нам дали! —
Вскричал наш князь.— И доказали,
Что шабаш ведъм и колдунов,
Мяуканье и визг котов,

* Видит бог (фр.).

Крик филинов и змей шипенье —
Прямое сцены украшение;
И что «Британик», «Магомет»,
В котором чертовщины нет,
Ни всей прелестной, адской свиты,
Несносны, скучны, позабыты!..»

Что вижу я? Товарищ мой,
Романтик скромный, небольшой,
К вечернему столу явился.
«Насилу я освободился,
Мой друг Храбров, от скучных дел.
Разбойник, атаман Маркел,
Во всем перед судом открылся.
Пятнадцать лет назад тому
Случайно удалось ему
Ограбить барина с женою.
В коляске, позднею порою,
Несчастный ехал из гостей
С подругой доброю своею,
С дитятей, нянею, слугою.
И с грозной шайкою злодей
На них напал. Все пали мертвы.
Но дочь, младенец двух годов, —
Сам бог ей, видно, был покров, —
В живых осталась, и сей жертвы
Всесильный не хотел принять:
Злодеи на нее поднять
Рук кровожадных постыдились,
Хотя, оставив под кустом,
Они с добычей удалились;
И утром, ехавши верхом,
Священник, говорят, почтенный
Нашел ее и, пораженный
Младенца ангельской красой,
Отвез ее в кров мирный свой...»

«И вот она!» — старушка закричала,
Наташа в обморок упала;
Я в трепете ее держал
И в чувство привести старался.
Весь дом на помощь к ней сбежался,
А камер-юнкер ускакал,
Увидев общее смятенье
И хлопоты, и огорченье.

Н.А.Мельгунов Н.В.Станкевич



КАЛМЫЦКИЙ ПЛЕННИК

Отрывок из романтической поэмы

Глава 1

Этьен, и бледный и печальный,
Расставшись с Питером, летит.
Бубенчик, будто стон прощальный,
Протяжно в слух ему звенит.
«Прощай, мой Питер, Питер милый! —
Он песнь прощальную поет. —
Ах, долго, странный и унылый,
Я буду помнить бледный свод
Твоих небес и мостовую,
Вдоль по которой я летал,
И прелесть — деву молодую,
Которой думы посвящал.
Куда несусь теперь судьбою?
В пустой, далекой стороне,
В разлуке, милая, с тобою
Какой искать отрады мне?»
Он скачет вдаль; дожди и грозы,
И ветер, и молния, и все
Над ним бушуют; льются слезы...
И вдаль катится колесо.
Взойдет луна и дол осветит
И звезды в небе голубом;
Но кто его с улыбкой встретит
На поле диком и пустом?
Он в первом цвете жизни, молод;
Но, ах! узнал уже любовь,
Любовь несчастную, и холод
В его душе остался вновь.
Он едет, бедный; погляди-ко,
Как он печалию томим,

И сердце пусто, сердце дико,
Как степь, которая пред ним.
Печален он; лихая тройка
Бежит, летит. «Ямщик-пострел!
Товарищ горести! запой-ка...»
Товарищ горести запел:
 «Ах вы, синие глаза!
 Ах ты, русая коса!
 Присушили, иссушили,
 Загубили, уходили
 Вы пострела-молодца!
 Я ль тебя уж не любил?
 Я ль тебя уж не дарил?
Бедным сердцем не крушился,
Не метался, не мутился,
Ночь без сна не проводил?..»

Примечания

Настоящая книга знакомит читателя с лучшими и типичными образцами русской романтической поэмы. При составлении и комментировании учитывались многочисленные разыскания отечественных филологов, опыт академических изданий Пушкина и Лермонтова, изданий других авторов в сериях «Библиотека поэта» и «Литературные памятники». Особое значение для изучения русской романтической поэмы имеет работа В. М. Жирмунского «Байрон и Пушкин» (1-е изд.—1924; в примечаниях цитируется по 2-му изд.: Л., 1978 — сокращенно: Жирмунский, с указанием страниц).

Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)

Шильонский узник (с. 25).— Впервые — отдельным изданием (СПб., 1822), с посвящением П. А. Вяземскому. Перевод одноименной поэмы Байрона (1816); начат 4 сентября 1821 г., окончен в начале апреля 1822 г. Жуковский посетил Шильон 3 сентября 1821 г.; в его письме от 2—7 октября 1821 г. к великой княгине Александре Федоровне сообщается: «В тот день, в который я оставил Веве, успел я съездить на лодке в замок Хильон; я плыл туда, читая «The prisoner of Chillon», и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бониварову, которую Байрон верно описал в своей несравненной поэме». («Русская старина», 1902, т. СХ, с. 350). Показательно эмоциональное воздействие поэмы Байрона на Жуковского: видевший Шильон в 1789 г. Н. М. Карамзин посвятил ему всего одну нейтральную фразу: «За деревенькою волны озера омывают стены укрепленного замка Шильона; унылый шум их склоняет душу к меланхолической дремоте» (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л., 1984, с. 153). Вяземский, которому посвящен перевод, был в то время одним из наиболее решительных борцов за «байронический» романтизм. 6 января 1820 г. А. И. Тургенев сообщал И. И. Дмитриеву: «Жуковский дремлет над Байроном, Вяземский им бредит». В письмах Вяземского

постоянны рассуждения о Байроне, предложения ряда его сочинений для переводов Жуковского. Подробнее об отношении Жуковского и его окружения к Байрону см.: А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. СПб., 1904, с. 321—328. Поэма получила высокую оценку Пушкина (см. его письма Вяземскому от 1 сентября 1822 г. и 11 ноября 1823 г., Н. И. Гнедичу от 27 сентября 1822 г.).

Жуковский несколько изменил стих поэмы: у Байрона встречаются женские рифмы, тройные рифменные повторы, перекрестная рифмовка, отступления от четырехстопного ямба; у Жуковского вся поэма писана четырехстопным ямбом с парной мужской рифмой. Тот же размер применен им в «Суде в подземелье» (1831—1832), затем Подолинским и Лермонтовым, позже Н. А. Некрасовым. Отказ отвольной рифмовки и женских окончаний резко выделял стих поэмы, противопоставляя его «нейтральному» четырехстопному ямбу (стих Пушкина и Баратынского). В предуведомительной заметке Жуковский использовал примечания Байрона к поэме, поверяя их собственными впечатлениями. Черновик предисловия заканчивается словами: «Переводчик с поэмою Байрона в руке посетил сей замок и подземную темницу Бонивара, он может засвидетельствовать, что описания поэта имеют прозаическую точность» (Бумаги В. А. Жуковского. СПб, 1887, № 29, л. 57).

Стр. 25. *Бонивар* Франсуа (1493—1570) — настоятель одного из женевских аббатств, политический и религиозный противник Савойских герцогов.

Стр. 26. *...падшие во пре* — падшие в битве.

Стр. 32. *Но там был страх — здесь смерть была.* — Противопоставление *здесь* — *там* традиционно для романтизма и в особенности для Жуковского. В данном случае интересно его переосмысление. Обычно *здесь* — это низменная земля, а *там* — счастливая, запредельная сфера. Старый смысл был хорошо знаком читателю, что делало строку особенно выразительной. Значимость понятий подчеркнута всегда важным у Жуковского курсивом. *О наших прошлых временах, // О лучших будущего дня.* В романтической поэтике нередко прошлое и будущее как бы объединяются в противопоставлении настоящему.

Стр. 34. *...то голос птички был.* — Мотив посещения узника «небесным жителем» был прежде развит Жуковским в стихотворении «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу». Ассоциации с лирикой Жуковского способствовали смысловому обогащению эпизода: сквозь конкретную ситуацию проглядывала вечная романтическая коллизия — жизненная неволя, в которой на мгновение появляется светлое создание; ср. стихотворения «К мимопролетевшему... Гению» (1819), «Лалла Рук» (1821), «Таинственный посети-

тель» (1824). Мотив полемически переосмыслен Лермонтовым в «Мцыри» (гл. 23, песня рыбки).

Стр. 37. *Я от тюрьме моей вздохнул.*— Жуковский сознательно гипертрофирует привычку узника к неволе, у Байрона: «Вновь получил мою свободу со вздохом».

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837)

Кавказский пленник (с. 38).— Впервые — отдельным изданием (СПб., 1822). Пушкин работал над поэмой во второй половине 1820 — начале 1821 г. Первая незаконченная редакция поэмы — «Кавказ» — датируется августом 1820 г., к декабрю поэма была завершена вчерне, беловой текст закончен перепиской 23 февраля 1821 г. в Каменке, имении приятелей Пушкина А. Л. и В. Л. Давыдовых. Эпилог написан в Одессе, помечен 15 мая 1821 г.

Сюжет «Кавказского пленника» схож с сюжетом поэмы Байрона «Гяур» (1813): «...освобождение пленника, европейца, влюбленной в него туземной женщиной и отвержение ее любви ради другой возлюбленной, оставленной на родине» (Жирмунский, с. 46; там же см. об отличиях в разработке сюжета и критику иных версий об источниках поэмы).

Первое издание поэмы вызвало ряд критических отзывов, важнейшие из них принадлежат: П. А. Плетневу («Соревнователь просвещения и благотворения», 1822, ч. 20, кн. 1, № 10), П. А. Вяземскому («Сын Отечества», 1822, ч. 82; № 49), М. П. Погодину («Вестник Европы», 1823, № 1, январь), о спорах вокруг поэмы см.: Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая. М.—Л., 1956, с. 411—425. Об отношении Пушкина к своей поэме см. его письма к Н. И. Гнедичу (29 апреля 1822 г.), П. А. Вяземскому (6 февраля и 14 октября 1823 г.; в последнем содержится ряд поправок в связи с предполагавшимся 2-м изданием поэмы). В письме В. П. Горчакову (октябрь — ноябрь 1822 г.) Пушкин писал: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гоюсь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века».

Стр. 38. *Посвящение. Н. Н. Раевскому.*— Николай Николаевич Раевский (младший) (1801—1843) — сын героя 1812 г. Н. Н. Раевского; знаком с Пушкиным с 1814—1815 гг. В конце мая — начале сентября 1820 г. Пушкин путешествовал с семьей Раевских по Кавказу и Крыму. ...и вслед отца-героя...— Н. Н. Раевский принимал участие в боевых действиях 1812 г. Популярностью пользовался рассказ (скорее всего — легендарный) о том, что в ходе сражения

под Салтановкой (11 июля 1812 г.) рядом с генералом Раевским находились его сыновья; рассказ этот использован Жуковским в «Певце во стане русских воинов» (1813).

Стр. 41. *Свобода! он одной тебя...*— О мотиве «свободы» в поэме см.: Бочаров С. Г. «Свобода» и «счастье» в поэзии Пушкина.— В его кн.: Поэтика Пушкина. М., 1974, с. 3—10.

Стр. 42. *Но кто, в сиянии луны...*— традиционный для байроновской поэтики тип введения нового героя на сцену с помощью риторического вопроса.

Стр. 57. *Мстислава древний поединок...*— Имеется в виду поход тмутараканского князя Мстислава (1022), упомянутый в «Слове о полку Игореве». Пушкин ссылается на первую главу II тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. В 1822 г. Пушкин задумал поэму (в духе «Руслана и Людмилы») о Мстиславе, сохранился план поэмы см.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. IV. Л., «Наука», 1977, с. 294—295.

Стр. 58. *Цицианов П. Д.* (1754—1806)— князь, генерал от инфантерии, с 1802 г.— главноначальствующий в Грузии, путем переговоров присоединил к России Имеретию и Менгрелию; жестоко усмирлял выступления горцев. *Котляревский П. С.* (1782—1852)— генерал от инфантерии, служил на Кавказе с 1796 г., отличился в персидской войне 1817—1818 гг., вскоре после которой вышел в отставку. *Ермолов А. П.* (1777—1861)— с 1817 г. главноуправляющий в Грузии и командир Кавказского отдельного корпуса. Пользовался большой популярностью в декабристском кругу. *Эпилог* вызвал раздражение Вяземского, усмотревшего в нем прославление завоевательной политики (см. его письмо А. И. Тургеневу от 27 сентября 1822 г.— Остафьевский архив князей Вяземских, т. II, с. 274—275). Однако позиция Пушкина была сложнее: поэт восхищен и свободой черкесов и покоряющей их силой. Введение политической темы в романтическую поэму укрепилось после «Кавказского пленника»: см. эпилог «Эды» Баратынского (покорение Финляндии); мотив присоединения Грузии в «Мцыри» Лермонтова.

Стр. 59. *Державин в ... оде графу Зубову ... Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову*— Пушкин цитирует оду Г. Р. Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797) и послание В. А. Жуковского «К Воейкову» (1814).

Вадим (стр. 62).— Впервые полностью — в сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941. Отрывки — «Памятник отечественных муз на 1827 г.», «Московский вестник», 1827, № XVII. Работа над поэмой и трагедией на ту же тему велась в 1822 г. Поэма осталась неоконченной. Ряд планов, относящихся к замыслу о Вадиме, см.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. IV, с. 415—416.

По преданию, зафиксированному Никоновской летописью (XVI в.) и летописями, использованными в «Истории российской» (1768) В. Н. Татищева (до нас не дошли), Вадим — славянский князь, возглавивший восстание в Новгороде против варяга — завоевателя Рюрика (864 или 869). Н. М. Карамзин высказывал сомнение в достоверности этого предания. История Вадима с конца XVIII в. служила моделью конфликта тираноборца с монархией. В «Историческом представлении из жизни Рюрика» (1786) Екатерина II осудила Вадима как бунтаря. В 1793 г. была напечатана (и тут же запрещена) тираноборческая трагедия Я. В. Княжнина «Вадим Новгородский». Вадим был любимым героем декабристов, идеализировавших древний Новгород. Интерес к Вадиму проявлял, в частности, поэт-декабрист В. Ф. Раевский, вероятно, он и подсказал Пушкину тему в период их общения в Кишиневе (1821—1822).

Стр. 65. *С суровым племенем Одена...*— Оден — французская огласовка имени Одина — верховного бога скандинавской мифологии. Племя Одена — скандинавы, варяги. *Скальд* — скандинавский певец-сказитель. *Кариаландия* — Карелия, находившаяся в подчинении у Новгорода. *Альбион* — античное наименование Англии. *Ловитва* — охота.

Стр. 66. «*Она погибла...*» — Сон Вадима намекает на предполагаемую сюжетную коллизию. Вадим, видимо, должен был стать убийцей своей возлюбленной (в планах — Рогнеда). Гибель возлюбленной, с одной стороны, вписывалась в типичный для классицизма конфликт гражданского долга и личного чувства, с другой — предполагала романтическое отчуждение героя от мира. Вероятно, с двойственной трактовкой сюжета связаны колебания Пушкина в сфере жанра (поэма или трагедия) и его итоговый отказ от замысла.

Стр. 67. *Перун, Световид, Лад* — боги славянского пантеона. По представлениям XVIII в. Перун — верховный бог громовержец, Световид — бог солнца, Лад — бог любви. Реально славянская мифология имела более сложный характер.

Братья разбойники (с. 68). — Впервые полностью — «Братья разбойники А. С. Пушкина (писано в 1823 г.)». М., 1827. Отрывок — «Полярная звезда на 1825 г.». Работа над поэмой велась с конца июня — июля 1821 г. по апрель 1822 г. Беловой текст был послан Вяземскому 11 ноября 1823 г. 29 июня 1824 г. Пушкин дал согласие на публикацию поэмы в «Полярной звезде» К. Ф. Рыльева и А. А. Бестужева. До публикации в декабристском альманахе первые 35 стихов процитировал А. Ф. Воейков в очерке «Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая, бывшей столицы ханов золотой орды». («Новости литературы», 1824, кн. 9, июль). Неблаговидный поступок Воейкова вызвал энергичный протест издателей «Полярной звезды» (об этом см.:

В. Э. Вацуро «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина, М., 1978, с. 30—31). В упомянутом письме Вяземскому от 11 ноября 1823 г. Пушкин указал на конкретный факт, послуживший импульсом к созданию поэмы: «В 820 годы, в бытность мою в Екатеринославле, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдумань». Частный случай был проявлением закономерности — в 1810—1820-х гг. разбой как результат крестьянского обнищания был весьма развит в Бессарабии и Новороссии. Пушкин интересовался молдавским разбойником Кирджали, позднее описанным им в очерке 1835 г. Кишиневский знакомый поэта писатель А. Ф. Вельтман предполагал, что «поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на талгаря Урсула» — см. Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, с. 127. Поэма не вызвала принципиальных выступлений критиков. «Братья разбойники» породили ряд подражаний, наиболее значительным из которых является поэма А. Вельтмана «Муромские леса» (1831). Подробнее см.: Жирмунский, с. 284—289. Отдельные эпизоды и стихи поэмы вошли в фольклор, в частности в состав народной драмы «Лодка».

Бахчисарайский фонтан (с. 75).— Впервые — отдельным изданием (СПб., 1824). Работа над поэмой приходится на весну 1821—1823 гг. Схема конфликта (герой и две героини), видимо, перешла в «Бахчисарайский фонтан» из поэмы о разбойниках. 4 ноября 1823 г. Пушкин посылает рукопись Вяземскому, предлагая ему стать издателем, что и осуществилось. В качестве предисловия была опубликована статья Вяземского «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» — один из манифестов русского романтизма (см. новейшее издание: П. А. Вяземский. Эстетика и литературная критика. М., 1983, с. 48—52; сведения о полемике, вызванной статьей Вяземского: там же, с. 393—394, комментарий Л. В. Дерюгиной). При жизни Пушкина поэма выходила также отдельными изданиями в 1827 и 1830 гг. Ко всем изданиям была приложена «Выписка из путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола (1823), а к третьему — пушкинский «Отрывок из письма».

В книге Муравьева-Апостола описывается его путешествие по Крыму, где он был в 1820 г. двумя месяцами позднее Пушкина. «Отрывок из письма» написан Пушкиным в декабре 1824 г. для альманаха А. А. Дельвига «Северные цветы» (опубл. в 1826 г.). Введение этих материалов создавало сложный эффект — стихи и проза вступали в противоречие (критика Муравьевым-Апостолом достоверности легенды, легкой в основу сюжета, нарочитая прозаичность описания Бахчисарая в отрывке). Контраст не отменял, но подчеркивал высокую поэтичность легенды, противопоставленной

«прозе жизни». С этим же связан отказ Пушкина от исторической конкретности: памятник, описанный в поэме, воздвигнут в 60-е гг. XVIII в.; генуэзские колонии в Крыму были уничтожены турками в 1475 г. Таким образом, действие поэмы не может быть датировано. Поэма создавалась под воздействием творчества Байрона (см. вступ. статью); показательно, что во время зарождения замысла «Бахчисарайского фонтана» среди черновых набросков Пушкина появляется перевод начальных стихов «Гяура» (см.: Н. М. Лобикова. Пушкин и Восток. М., 1974, с. 32). В первоначальном варианте поэма посвящалась Н. Н. Р(аевскому) (о нем см. прим. к с. 38 наст. изд.).

Стр. 75. *Многие, так же как и я...*—эпитафия из книги великого персидского поэта Саади «Бустан» (1257). По мнению Б. В. Томашевского, посредствующим звеном явился французский перевод А. Пишо «восточного романа» английского поэта Т. Мура «Лалла-Рук» (1817) (Томашевский Б. В. Пушкин, с. 505—506; см. также: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 161—162). Н. Н. Зубков высказал предположение о том, что на заключительные слова пушкинского эпитафия («...иных уже нет, другие странствуют далече»), позже появившиеся в последней строфе «Евгения Онегина», оказало воздействие стихотворение В. С. Филимонова «К друзьям отдаленным» («Вестник Европы», 1815, № 18): «Друзей—иных уж нет, другие—в отдалении» (см.: Временник Пушкинской комиссии. 1978, Л., 1981, с. 110—111).

Стр. 75. *Гирей сидел, потупя взор.*—Пушкин дал герою родовое имя крымских ханов (ср. с именами исторически реальных лиц: Девлет-Гирей, Крым-Гирей). Мотив задумчивости Гирея восходит к «Абидосской невесте» (1813) Байрона. *На Русь ли вновь идет войною...*—Крымские татары неоднократно совершали набеги на русские и польские земли; о генуэзских колониях в Крыму см. выше. *Народы гор*—кавказские народы, находящиеся в вассальной зависимости от крымского ханства. *...гяуру сердце отдала...*—реминисценция из поэмы Байрона «Гяур» (любовь женщины из гарема к «неверному»). Сюжет Байрона «сворачивается» до риторического вопроса (см.: Жирмунский, с. 121).

Стр. 76. *Нет, жены робкие Гирея...*—В описании гарема Пушкин опирался, кроме «восточных» поэм Байрона, на «Тавриду» С. С. Боброва. См. письмо к Вяземскому от 1—8 декабря 1823 г.

Стр. 77. *И горе той, чей шепот сонный...*—реминисценция из «Паризины» (1816) Байрона, где герцог Азо слышит невольное признание спящей жены (см.: Жирмунский, с. 121).

Стр. 78. *Факир*—здесь: паломник-аскет. *Мекка*—город в Аравии, главная мусульманская святыня. *Но кто с тобою, // Грузинка, равен красотою?*—В «восточных» поэмах Байрона «различаются два типа идеальной красавицы: восточная женщина с черными

глазами и темными волосами и прекрасная христианка, голубоглазая и светловолосая (...) В «Корсаре» противопоставлены оба идеальных типа — Медора и Гюльнара, причем контраст захватывает не только внешний облик героини, но и распространяется на внутренний мир (нежная, кроткая, добродетельная христианка и страстная, необузданная, преступная гаремная красавица) (...) Противопоставление Марии и Заремы в «Бахчисарайском фонтане» повторяет отношение Гюльнары и Медоры в «Корсаре»... (Жирмунский, с. 161—162, 164).

Стр. 87. *Гарема стражами немymi...*— В белой рукописи Пушкин совершил ошибку, написав: «Давно кизлярами немymi», подобно тому, как это сделал в «Абидосской невесте» Байрон. Ознакомившийся с рукописью знаток востока Д. В. Дашков 4 января 1824 г. сообщал И. И. Дмитриеву (а через него Вяземскому и Пушкину): «...кизлар по-турецки значит просто *девушка*. Название *Кызлар-Агасси*, вероятно, обманувшее Пушкина, значит начальника над девушками Харема» («Русский архив», 1868, вып. 4—5, стлб. 600).

Стр. 89. *Брега веселые Салгира.*— Салгир — река в Крыму; здесь: Крым.

Цыганы (с. 94).— Впервые — отдельным изданием (СПб., 1827). Отрывки — «Полярная звезда на 1825 г.»; «Северные цветы на 1825 г.»; «Московский телеграф», 1825, № XXI (здесь напечатана песня «Старый муж, грозный муж...» с нотами цыганского напева, записанными Пушкиным). Пушкин начал писать поэму в январе 1824 г. в Одессе и завершил ее 10 октября в Михайловском.

С бытом цыган Пушкин познакомился в Кишиневе. По преданию, поэт провел несколько дней в цыганском таборе, что отразилось в стихах эпилога поэмы, не печатавшихся в прижизненных изданиях, а позже в стихотворении «Цыганы» (1830). Имя героя Алеко указывает на автобиографический подтекст поэмы (Алеко — Александр).

Поэма стала известна в литературных кругах до публикации (ее неоднократно читал в обществе брат Пушкина — Лев Сергеевич) и была встречена восторженно. Ее высоко оценили издатели «Полярной звезды» — Рылеев и Бестужев. В то же время Рылеев выразил недовольство обрисовкой главного героя. В апрельском письме Пушкину он замечает: «...характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он медведя и собирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом?» Замечание Рылеева задело Пушкина: в статье «Опровержение на критику» (1830) поэт, изложив мнение Рылеева и совпадающее с ним мнение Вяземского, с иронией писал: «Всего бы лучше сделать из него чиновника 8 класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэ-

мы». Восхищенно, но с важной оговоркой оценивает поэму Жуковский в апрельском 1825 г. письме к Пушкину: «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих Цыган! Но милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хочешь от своего гения?!» Пушкин отвечал в 20-х числах апреля: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии—поэзия, как говорит Дельвиг (если не украл этого)». По выходе в свет отдельного издания появились наиболее важные отзывы—рецензия Вяземского («Московский телеграф», 1827, ч. 15, № 10) и статья И. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» («Московский вестник», 1828, ч. 8, № 6).

Стр. 98. *Меж нами есть одно преданье...*—великий римский поэт Публий Овидий Назон (43 до н. э.—ок. 18 н. э.) был сослан императором Августом в Томы (берег Черного моря). В южный период Пушкин постоянно обращается к теме Овидия, сопоставляя его судьбу с собственной; см. такие стихотворения, как: «Из письма к Гнедичу» (1821), «К Овидию» (1821), «Баратынскому из Бессарабии» (1822). О теме Овидия у Пушкина см.: Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина.—В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М.—Л., 1941, с. 138—141.

Стр. 105. *Буджак*—территория между Днестром и Дунаем, с центром в Аккермане (ныне Белгород-Днестровский). Присоединена к России после русско-турецкой войны 1812 г.

Стр. 110. *...Умру любя*—об этой формуле, разработанной в классицистической трагедии, а затем усвоенной преромантической и романтической литературой, см.: В. В. Виноградов. Стиль Пушкина, М., 1941, с. 393.

Стр. 112. *Где повелительные грани...*—Имеется в виду просмотр границ по Бухарестскому миру (1812) после русско-турецкой войны. *За их ленивыми толпами...*—отрывок до слов «Я имя нежное твердил» был вписан Пушкиным в экземпляр, подаренный им Вяземскому.

Кондратий Федорович Рылеев (1795—1825)

Войнаровский (стр. 113).—Впервые полностью—отдельным изданием (М., 1825), с цензурными купюрами и изменениями, с предисловием и подстрочными примечаниями, в которых была дана негативная оценка реально-исторического Мазепы как изменника и злодея в противовес поэтически изображенному Мазепе. Отрывки—«Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, № 3; «Сын отечества», 1824, № 3; «Полярная звезда на 1824 г.». Написано в 1823—1824 гг.: на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности 22 мая 1823 г. Рылеев читал начало поэмы, 7 января 1824 г.—последнюю часть.

Современниками поэма была принята хорошо (см. отклики в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1825, № 4; «Северной пчеле», 1825, 14 марта; «Библиографических листках», 1825, № 13). Впрочем, были и решительно отрицательные мнения: «Все это копии с разных Байроновых вещей, в стихах по новому покрою; всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то новым Катонем» (П. А. Катенин. Письмо Н. А. Бахтину, 26 апреля 1825 г.). Пушкин, получив от Рылеева экземпляр поэмы, сделал на полях ряд замечаний. «Прибавлю одно,— писал он Рылееву во второй половине мая 1825 г.,— везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и проч. Полагая, что хорошее писано тобою с умыслу, не счел я за нужное отмечать его для тебя». В письме П. А. Вяземскому и Л. С. Пушкину (25 мая — середина июня 1825 г.) Пушкин, сопоставляя «Войнаровского» с «Чернецом», говорил, что поэма Козлова, «конечно, полна чувства и умнее «Войнаровского», но в Рылееве есть более замашки или размашки в слогe. У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал» (имеется в виду строка: «Вот засучил он рукава» из второй части поэмы). О совпадениях с поэмами Байрона «Паризина», «Мазепа», «Гяур», «Корсар» см.: В. И. Маслов. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912, с. 280—287.

Рылеев переосмысливает любовную коллизию, свойственную байронической поэме: встреча Войнаровского с «естественной» девой не приводит к трагической развязке (ср. с «Кавказским пленником», «Цыганами» Пушкина, «Эдой» Баратынского): «казачка» следует за Войнаровским в ссылку (ср. с аналогичным поступком героини Козлова — Наталии Долгорукой; см. прим. на с. 552 наст. изд.). Рылеев предельно конкретизирует и прошлое героя, в котором нет свойственной байроническому герою таинственности. Впрочем, таинственность передается другому герою — Мазепе (на изображение Рылеевым Мазепы, видимо, воздействовала поэма Байрона «Мазепа», 1819).

Стр. 113. *Эпиграф* взят из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь V). И. И. Козлов в поэме «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова» использовал в качестве эпиграфа те же строки из Данте. *Бестужев* Александр Александрович (1797—1837) — член Северного общества декабристов, друг Рылеева, участник восстания на Сенатской площади, поэт, прозаик, критик, в 1830-е гг. печатался под псевдонимом Марлинский; в 1823—1825 гг. издавал совместно с Рылеевым альманах «Полярная звезда». *Ты не увидишь в них искусства... Я не Поэт, а Гражданин.* — Это программное утверждение Рылеева связано с его установкой в 1820—1825 гг. на создание политической поэзии («К временщику», «Гражданское мужество»,

«Думы», «Наливайко»). «Безыскусные» стихи гражданина, нацеливающего своего читателя на борьбу «за угнетенную свободу человека» («Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан...»), противопоставляются Рылеевым искусству «звуков сладких», политическая поэзия — интимной лирике. Однако «каноны» байронической поэмы, с одной стороны, а с другой — прочное усвоение Рылеевым художественных принципов русской «унылой» элегии 1810-х гг. способствовали своеобразной элегизации характера рылеевского героя-гражданина (характерно, что слова «унылый» и «уныло» — основные в описании внешности и внутреннего состояния Войнаровского; о воздействии элегической поэтики на русскую романтическую поэму см.: Ю. В. Манн. Поэтика русского романтизма. М., 1976, с. 142—150).

Стр. 114. *Жизнеописание Мазепы* и *Жизнеописание Войнаровского*, написанные А. О. Корниловичем и А. А. Бестужевым в качестве своеобразных предисловий к поэме, создают необходимую для восприятия поэмы дистанцию между реально-историческим поведением людей, о которых идет речь у Рылеева, и их *поэтической интерпретацией* в тексте поэмы. Мазепа и Войнаровский у Рылеева предстают вопреки исторической истине пылкими борцами за освобождение своей родины. Рылеев сознательно шел на искажение фактов: ему необходимо было создать в соответствии с декабристской политической концепцией характер героев, подлинных граждан, противостоящих порабощению родной страны и объявляющих «борьбу свободы с самовластьем» (так будет формулировать в поэме свою позицию Мазепа).

Стр. 116. *Корнилович* Александр Осипович (1800—1834) — член Южного общества декабристов, участник восстания на Сенатской площади, историк, автор трудов по истории Петра I, Отечественной войны 1812 г. и др. *Универсалы* — грамоты украинских гетманов.

Стр. 123. *Погасло дневное светило*. — Цитата из элегии Пушкина, начинающейся этими словами (1820).

Стр. 124. *Стран европейских просвещение // В лесах сибирских встретил он*. — Ср. с «Жизнеописанием Войнаровского»: «Миллер... видел его в Якутске, но уже одичавшего и почти забывшего иностранные языки и светское обхождение».

Стр. 128. *Серпян* — одежда, сшитая из бумажной материи редкого плетения.

Стр. 129. *Батурич* — резиденция украинских гетманов.

Стр. 136. *Бендеры* — молдавский город, находившийся под управлением турок.

Стр. 142. *Чтить Брута с детства я привык*. — Марк Юний Брут был организатором заговора (44 г. до н. э.) против стремившегося к единовластию Юлия Цезаря. Брут служил для декабристов

примером тираноборца. В политических стихах самого Рыльева Брут не раз вспоминался («К временщику», «Гражданское мужество», «Я ль буду в роковое время...»).

Наливайко (с. 151).—Впервые отрывки «Киев», «Смерть чигиринского старосты», «Исповедь Наливайки» — «Полярная звезда на 1825 г.»; прочие фрагменты — «Вестник Европы», 1888, № 12. Время работы над поэмой: конец 1824 — начало 1825 г.

Главный герой — Северин Наливайко — предводитель казацкого восстания 1594—1596 гг. против польских магнатов. Центром поэмы, видимо, должна была стать «Исповедь Наливайки», лирический монолог, в котором выражена позиция самого Рыльева, что живо чувствовали современники. Об «Исповеди Наливайки» Пушкин писал Рылеву во второй половине мая 1825 г.: «Нахожу отрывок этот растянутым; но и тут, конечно, ты наложил свою печать». Другие отклики на «Наливайко» см.: «Московский телеграф», 1825, № 8 (П. А. Вяземский); «Сын отечества», 1825, № 10 (Н. И. Греч).

Стр. 151. *Печерская обитель* — один из древнейших русских монастырей в Киеве. *Гедимин* — великий князь литовский (1316—1341), присоединивший к Литве несколько русских княжеств.

Стр. 153. *Чигирин* — город в окрестностях Киева, центр «староства» (надела, выделявшегося польским королем в пожизненное пользование польским и украинским магнатам). *Аргамак* — порода лошадей.

Стр. 154. *Лобода* Григорий — один из сподвижников Наливайки.

Стр. 157. *Страстная неделя* — последняя неделя перед пасхой.

Стр. 159. *Суремка* — украинский музыкальный инструмент.

Стр. 160. *Кунтуш* — одежда поляков. *Жолковский С.* (конец 1540-х — 1620) — коронный польский гетман, подавлявший восстание Наливайки.

Стр. 161. *Тясмин* — приток Днепра, где произошло крупное сражение между восставшими и войсками короля. *Очерет* — тростник, камыш.

Иван Иванович Козлов (1779—1840)

Чернец (с. 162).—Впервые полностью — отдельным изданием (СПб., 1825), с эпиграфом из поэмы Байрона «Гяур» и с предисловием от издателей, написанным, вероятно, Жуковским, где, в частности, говорилось о судьбе автора: «В молодых годах, проведенных в рассеянности большого света, он не знал того, что таилось в его душе, созданной понимать высокое и прекрасное, — несчастье открыло ему эту тайну: похитив лучшие блага жизни, оно

даровало ему поэзию. Вот уже пятый год, как он без ног и слеп, существенный мир исчез для него навсегда; но мир души, мир поэтических мыслей, высших надежд и веры открылся ему во всей красе своей: он живет в нем и в нем забывает свои страдания, часто несносные». Отрывок («Возвращение на родину. Отрывок из поэмы, еще не напечатанный») — «Новости литературы», 1823, № 47.

Поэма была встречена восторженно как читателями (о чем свидетельствует тот факт, что за два года она была издана трижды), так и литературными кругами (см. положительные отклики Вяземского — «Московский телеграф», 1825, № 8 и А. Д. Улыбышева — «Санктпетербургская газета», 1825, №№ 61, 66). Вяземский в пылу увлечения даже писал: «Я восхищаюсь «Чернецом»: в нем красоты глубокие, и скажу тебе на ухо — более чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина» (письмо А. И. Тургеневу от 22 апреля 1825 — Остафьевский архив князей Вяземских, СПб., 1899, т. 3, с. 114). Пушкин, давший высокую оценку поэме в письме Вяземскому от 25 мая 1825 г., обратился к автору с посланием Козлову. По получении от него «Чернеца»:

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел,
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

Стр. 162. *Прекрасный друг минувших светлых дней...* — Обращено к жене поэта — Софье Андреевне, урожденной Давыдовой; в посвящении Козлов намекает на постигшее его несчастье (слепоту).

Стр. 164. *Тма* — тьма.

Стр. 165. *Отец! меж вас пришлец угрюмый...* — Исходная ситуация — исповедь «злодея» перед монахом — восходит к поэме Байрона «Гяур»; о других перекличках с «Гяуром» см.: Жирмунский, с. 333—334.

Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая (с. 179). — Впервые — отдельным изданием (СПб., 1828). Отрывок «Лунная ночь в Кремле» — «Северные цветы на 1827 г.». Поэма была завершена не позднее сентября 1827 г., так как об этом факте сообщалось в «Московском телеграфе», 1827, ч. 17 (цензурное разрешение — 28 сентября 1827 г.).

31 мая 1825 г. Козлов писал Пушкину о своем замысле: «Не решусь сказать, что «Дума» Рыльева, под тем же заглавием (имеется в виду дума «Наталья Долгорукая», 1823. — А. Н.), лишена достоинства, однако мне кажется, что она не может служить препятствием к тому, чтобы попробовать написать маленькую поэму в

700—800 строк. У меня уже готов план, а также несколько отрывков...» Источником как для Рылеева, так и для Козлова послужили «Памятные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой», отрывки из которых публиковались в журнале «Друг юношества» (1816, № 1), а затем в «Плутархе прекрасного пола» (М., 1819, ч. V—VII). «Записки» были известны во многих рукописях. Княгиня Н. Б. Долгорукова (1714—1771) — дочь сподвижника Петра I фельдмаршала графа Б. П. Шереметева. В 1729 г. обручилась с князем И. А. Долгоруковым; по смерти Петра II родные уговаривали невесту отказаться от брака, предвидя будущую опалу жениху. Несмотря на это, 6 апреля 1730 г. свадьба состоялась, а через три дня И. А. Долгоруков в результате придворных интриг был сослан первоначально в касимовские деревни, а затем в Березов. Княгиня сопровождала мужа. В 1738 г. Долгоруков был увезен из Березова накануне рождения его сына Дмитрия, вскоре он был казнен в Новгороде. В 1740 г. Долгорукова по монаршему разрешению вернулась в Москву, в 1758 г. постриглась в Киеве во Фроловском женском монастыре под именем Нектарии. Касаясь сюжета, использованного Козловым, современный исследователь пишет: «Поэзия Рылеева поставила подвиг женщины, следующей за мужем в ссылку, в один ряд с другими проявлениями гражданской добродетели. В думе «Наталья Долгорукая» и поэме «Войнаровский» был создан стереотип поведения женщины-героини» (Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория). — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 47 и сл.). В этом историко-бытовом контексте воспринималась и поэма Козлова, не случайно Некрасов, обратившись к судьбе декабристок («Русские женщины»), соотнесет их образы с Натальей Долгоруковой («Но свет Долгорукой еще не забыл...»), знакомой ему, скорее всего, именно по поэме Козлова.

Стр. 179. *Эпиграф* дается в переводе Козлова. Те же строки из Данте использованы были Рылеевым в «Войнаровском».

Стр. 183. *Шелковый катаур* — пояс на подряснике. *С Афонских гор*. — Афон — крупный православный монастырский центр в Греции, место паломничеств. *Беседы Златоуста* — имеются в виду сочинения Иоанна Златоуста (347—407), одного из отцов церкви.

Стр. 189. *От двух венцов*. — Петр II (1715—1730, царствовал с 1727) умер от оспы накануне коронации и свадьбы с Е. А. Долгоруковой, сестрой мужа героини.

Стр. 192. *...в ленте голубой*. — Лента ордена св. Андрея Первозванного, высшего российского ордена.

Стр. 198. ...*крест на башне Годуновой*.— На колокольне Иван Великий.

Стр. 203. ...*где под Печерской Днепр широкой*...— Имеется в виду Киево-Печерская лавра.

Безумная (с. 210).— Впервые — отдельным изданием (СПб., 1830), с эпиграфом из поэмы Байрона «Гяур». В первой публикации и последующих поэме было предпослано вступление «от издателя», авторство которого не установлено (см.: И. И. Козлов. Полн. собр. стихотворений. Л., 1960, с. 486).

Стр. 215. *Этна*— вулкан в Сицилии. *Как мерзлый пар // Среди снегов родит пожар*.— Неточная цитата из стихотворения М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния».

Евгений Абрамович Баратынский (1800—1844)

Эда (с. 228).— Впервые полностью — в изд.: «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма Евгения Баратынского». СПб., 1826. Отрывки — «Мнемозина» (1825, ч. 4); «Полярная звезда на 1825 г.»; «Московский телеграф» (1825, ч. 6, № 22). Поэма написана в 1824—1826 гг. При переиздании «Эды» в составе «Стихотворений Евгения Баратынского» (М., 1835, ч. 2) поэма была переработана. Текст 1835 г., принятый за окончательную редакцию, публикуется в наст. изд. Эпилог не был пропущен цензурой и впервые был напечатан в собр. соч. Д. В. Давыдова (М., 1860, ч. 3) среди произведений, посвященных Давыдову.

Поэма была различно встречена современниками. Критически отнеслись к «Эде» в декабристском кругу. Отрицательный отзыв появился в «Северной пчеле» (1826, № 20) Ф. В. Булгарина. Имея в виду статью Булгарина, Пушкин писал в послании к Баратынскому: «Твоя чухончка, ей-ей, // Гречанок Байрона милей, // А твой зоил прямой чухонец» (см. также отзывы о поэме в письме Пушкина к А. А. Дельвигу от 20 февраля 1826 г. и его наброски 1830 г. «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов...»).

В издании 1826 г. поэме был предпослан эпиграф: «On broutte là ou l'on est attache. Proverbe» («Где привязан, там и пасется». Пословица — фр.) — и тексту предшествовало предисловие автора: «Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году, перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии».

Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытную природою, совершенно отличною от русской. Обильная историческими воспоминаниями, страна сия была

воспета Батюшковым, и камни ее звучали под конем Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины (...)

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская, и нравы ее жителей глубоко напечатлелись в его воображении. Что ж касается до остального, то сочинитель мог ошибиться; но ему казалось, что в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзией, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою, собственной дорогою».

Стр. 229. *Шипок* — бутон розы.

Стр. 233. *Кникс* (книксен) — реверанс.

Стр. 240. *Буйный швед* опять // *Не соблюдает договор*. — Швеция отказалась присоединиться к союзу России и Франции против Англии, что расценивалось как нарушение русско-шведских договоров и привело к войне 1808—1809 гг.//

Стр. 243. *Ты покорился, край гранитный*. — В эпилоге идет речь о русско-шведской войне 1808—1809 гг.

Стр. 244. *Тебе, Давыдов, петь ее*. — Поэт Д. Давыдов был участником русско-шведской войны 1808—1809 гг.

Бал (с. 245). — Впервые полностью — в кн.: «Две повести в стихах». СПб., 1828 (вместе с поэмой А. С. Пушкина «Граф Нулин»). Орывки — «Московский телеграф» (1827, ч. 18, № 1); «Северные цветы на 1828 г.». Время работы над поэмой: март 1825 — осень 1828 г. В начале 1830-х гг. Баратынский переработал частично поэму и переиздал ее в «Стихотворениях» 1835 г. Текст 1835 г. принят за окончательную редакцию поэмы.

Поэма была встречена критикой разноречиво. Положительные отклики появились в «Московском телеграфе», «Северных цветах», «Сыне отечества», «Галатее», «Северной пчеле». А. С. Пушкин собирався писать специальную статью о «Бале» («Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее...»). Н. И. Надеждин в «Вестнике Европы» (1829, № 3) резко отрицательно отозвался и о «Бале», и о «Графе Нулине».

В одном из писем Баратынский сообщал своему другу Н. В. Путьте: «В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. Она моя героиня» (Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951, с. 480). Известно, что Баратынский, исключенный в 1816 г. из Пажеского корпуса, вынужден был для того, чтобы реабилитировать себя в глазах общества, начать службу рядовым. В 1820 г. он был произведен в унтер-офицеры и переведен из Петербурга в Финляндию, где пребывал до 1825 г. В Гельсингфорсе, где Баратынский находился с октября 1824 по февраль 1825 г., он познакомился и страстно увлекся А. Ф. Закревской — женой генерал-губернатора Финляндии. Ее и имеет в виду Баратынский в письме к Путьте.

Стр. 246. *В сюрсах шесть* — объявление карточной игры: шесть взяток при козырях-червях. *Пенелопа* (греч. миф.) — жена Одиссея, ждавшая его возвращения 20 лет: образец женской верности. *Людмила* — героиня одноименной баллады Жуковского.

Стр. 247. *Медея* (греч. миф.) — волшебница; помогла предводителю аргонавтов Ясону добыть золотое руно; когда Ясон, изменив ей, решил жениться на другой, она погубила соперницу и убила своих детей от Ясона.

Стр. 248. *Эпикур* (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ, утверждавший в качестве смысла бытия безмятежность духа, телесное здоровье, отсутствие страданий. Интерпретация учения Эпикура в новое время отождествила эпикуреизм с гедонизмом: утверждением главной целью бытия — наслаждение чувственными, земными радостями. *Нинона* — Нинон де Лакло (1616—1706) — французская куртизанка, сохранившая красоту до старости.

Стр. 249. *Лауса* — имя греческой гетеры, ставшее нарицательным. *Адонис* — первоначально имя героя одного из греческих мифов, возлюбленного Афродиты; впоследствии нарицательное название красавца. *Людей и света знаем редким*. — Ср. с «Кавказским пленником» Пушкина: «Людей и свет изведал он...»

Стр. 253. *Как мила // Малютка Оленька была!* — Ср. рассказ Арсения о его взаимоотношениях со своей возлюбленной и дуэли с бывшим другом — с ситуацией во II—VI главах «Евгения Онегина» (написаны Пушкиным в 1823—1826 гг.): взаимоотношения Ленского, Ольги, Онегина.

Стр. 255. *Но двери падают* — распахиваются.

Стр. 261. *В журнале дамском*. — «Дамский журнал», издававшийся в 1823—1833 гг. П. И. Шаликовым, не однажды помещал недоброжелательную критику на произведения Баратынского. На последние строки «Бала» «Дамский журнал» отреагировал обвинением поэмы в безнравственности.

Цыганка (с. 262). — Впервые полностью — отдельным изданием (СПб., 1831), под названием «Наложница» с посвящением Алексею Андреевичу Елагину, отчиму И. В. Киреевского, и с обширным предисловием. Отрывки — «Денница на 1830 г.»; «Северные цветы на 1831 г.»; «Альциона на 1831 г.». Время работы над поэмой: осень 1829 — начало 1831 гт. В «Стихотворениях» 1835 г. Баратынский поместил поэму в переработанном виде под названием «Цыганка». В 1842 г. поэма опять была переработана, но Баратынский не издал ее. Эта последняя редакция текста, принятая за окончательную, публикуется в наст. изд. по кн.: Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. М., «Наука», 1982 (подготовка текста Л. Г. Фризмана).

Баратынский, хотя и называл иронически свою поэму «ультраромантической» (см.: Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899, с. 8), считал ее одним из лучших своих произведений. Однако лишь «Литературная газета» (1831, № 27) и «Европеец» (1832, № 2) доброжелательно отозвались о поэме. В основном критика не оценила поэму. Враждебные выпады Н. И. Надеждина в «Телескопе» (1831, № 10) вызвали «Антикритику» Баратынского, помещенную им в «Европейце» (1832, № 2).

Стр. 265. *Неделя светлая* — пасхальная неделя. *Новинское* — подмосковное село, место пасхальных гуляний москвичей. *Новинский бульвар* — ныне ул. Чайковского. *Там клепер знает чёт и нечёт*. — Клепер — порода лошадей, использовавшихся для дрессировки. Во время цирковых представлений такие лошади выбирали по указанию дрессировщика нужные цифры.

Стр. 267. *Пресненские пруды* (ныне район Большой Грузинской улицы) — одно из любимых мест прогулок московских дворян.

Стр. 278. *Примите исповедь мою* — реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. IV, строфа 12).

Стр. 280. *Великий пост уж подходил*. — Во время великого поста балы не устраивались.

Гавриил Степанович Батеньков (1793—1863)

Одичалый (с. 295). — Впервые — «Русская беседа», 1859, т. 3, № 15, с цензурными пропусками. Отрывки — с рядом искажений в издании А. И. Герцена и Н. П. Огарева «Русская потаенная литература XIX века» (Лондон, 1861) и в исправленном виде в «Собрании стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862). Поэма написана в мае 1827 г. в крепости Свартгольм, где декабрист Батеньков отбывал одиночное заключение. Списки поэмы сохранились у некоторых декабристов. Подробнее о судьбе поэмы и ее художественных особенностях см.: А. А. Илюшин. Поэзия декабриста Г. С. Батенькова. М., 1978, с. 20—33.

Стр. 296. *В тюрьме тюрьму // Еще придумалось устроить...*—По предположению А. А. Илюшина, мотив «двойной тюрьмы» подсказан не только биографической реальностью (Свартгольм находится на острове), но и поэмой «Шильонский узник».

Александр Ардалионович Шишков (1799—1832)

Отрывок из описательной поэмы «Лонской» (с. 301).—Впервые—Опыты Александра Шишкова 2-го, 1828 года. М., 1828. В 1828 г. Шишков был освобожден из-под строгого надзора, под которым находился в Динабурге с октября 1827 г. (был сослан за антиправительственное стихотворение). Поэмы Шишкова (предшественницей «Лонского» и «Ермака» была поэма «Дагестанская узница»—А. Шишков. Восточная лютня. М., 1824) написаны под явным воздействием «южных поэм» Пушкина, прежде всего «Кавказского пленника». Современниками Шишков 2-й (он был племянником Александра Семеновича Шишкова) считался очевидным подражателем Пушкина (ср. характерную эпиграмму Е. А. Баратынского: «Свои стишки Тощев пиит // Покроем Пушкина кроит...»); см. также оценку «Восточной лютни» Кюхельбекером: В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 500). Об отношениях Шишкова и Пушкина см.: Л. А. Черейский. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 475—476. Между тем в «Лонском» Шишков отказывается от сюжетной основы пушкинской поэмы и дает волю лирическому началу. Путешествие Лонского по Кавказу соотносимо с описательной традицией, заявленной «Паломничеством Чайльд-Гарольда» Байрона. О возможности подобного жанрового развития применительно к «Кавказскому пленнику» писал Вяземский. В поэме отразились кавказские впечатления автора, служившего в Грузии в 1818—1821 гг. Подробнее о жизни и творчестве Шишкова см.: В. Шадури. Друг Пушкина Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951.

Ермак (с. 307).—Впервые—Опыты Александра Шишкова 2-го, 1828 года. М., 1828.

Шишков дает своему герою имя Ермака Тимофеевича, завоевателя Сибири (ум. 1584). Образ Ермака активно использовался в русской преромантической и романтической поэзии—стихотворение «Ермак» И. И. Дмитриева (1794), дума «Ермак» Рыльева (1822), трагедия «Ермак» А. С. Хомякова (1825—1826) и др. В поэме нет и намек на традиционную легенду о Ермаке—завоевателе Сибири, сюжет ослаблен, а фрагментарность повествования становится главным эстетическим принципом. Судя по условно обобщенным реалиям («дева Крыма», «чинар», «татар»), действие поэмы разво-

рачивается в южных областях. Возможно, Шишков мыслил свою «повесть» как «предысторию» покорителя Сибири (характерно название XI главы — «Где же он?»), возможно же просто использовал ассоциативный ореол, сложившийся вокруг имени Ермака.

Как и в «Лонском», в «Ермаке» ощутимо воздействие Пушкина и его школы, однако выявление конкретных реминисценций в поэзии Шихкова всегда достаточно условно: неясно, имеем мы дело с заимствованием или случайным совпадением, обусловленным формульностью поэтической культуры начала XIX в.

Федор Николаевич Глинка (1786—1880)

Дева Карельских лесов (с. 315).— Впервые полностью — отдельным изданием (Петрозаводск, 1939 — публикация В. Г. Базанова). Отрывки «Не все могильной тишиной...» и «Я говорил: любви не стало...» — «Северные цветы на 1832 год»; «Я далеко на полночь заходил...» — «Москвитянин», 1846, № 1 (под названием «Странник»). Поэма написана в период ссылки Ф. Н. Глинки (после 14 декабря 1825 г. он был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, затем переведен из военной службы в гражданскую и выслан в Олонецкую губернию). На титульном листе рукописи надпись: «Андрею Афанасьевичу Никитину, 1828 год, марта 6, в г. Петрозаводске». Глинка переосмысливает традиционный сюжет, в основе которого любовь «цивилизованного» героя к «естественной» деве, живущей жизнью природы (ср. с «Кавказским пленником» Пушкина и «Эдой» Баратынского), насыщает текст этнографическими описаниями и политическими аллюзиями.

Стр. 315. А**А*Н** — Андрей Афанасьевич Никитин, друг Глинки. *Олонецкая губерния* — ныне территория Карельской АССР, частично — Архангельской и Ленинградской областей.

Стр. 325. *Корбы* — это слово Глинка объясняет в примечании к стихотворению «Летний северный вечер» (1827—1829): «Корбами называют здесь (в Олонецкой губернии) самые дикие места в глухих лесах, где ели, сплетая вершины свои, составляют довольно твердый свод над влажно-каменным грунтом. В сих загишных уютях сохраняется и зимою такая степень теплоты, что чижи цельными стадами ищут себе убежища» (Ф. Н. Глинка. Избранные произведения. Л., 1957, с. 273).

Стр. 328. *Читает начало «Пируют Иова сына» и «Семь знойных отпылало дней!..»* — далее должно следовать переложение библейской «Книги Иова», над которым Глинка работал в 1826—1834 гг.

Стр. 339. *«Кто ты, пришелец дерзновенный?»* — Хотя Глинка и не раскрывает тайны неизвестного, однако по ряду далее следующих деталей (знакомство с Европой, образованность, гонимость) читатель должен был увидеть в герое ссыльного декабриста.

Стр. 343. *Созданье бога Вейнамены* — кантеле, финский музыкальный инструмент. В годы ссылки Глинка проявлял острый интерес к обычаям и фольклору коренного населения Олонецкой губернии, отразившийся в ряде стихотворений и поэме «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» (1830). *Кивач* — крупный водопад в Карелии.

Стр. 352. *За Троя ль распря? за Елену?* — война между греками и троянцами, вспыхнувшая из-за похищения последними Елены, жены спартанского царя Менелая: важнейший сюжет античной мифологии, легший в основу поэмы Гомера «Илиада». *Воскресла, мнится, Мантинея // И их ведет Эпаминонд...* — Мантинея — древнегреческий город в Аркадии, неоднократно разрушавшийся спартацами. Мантинея участвовала в борьбе со Спартой, которую вели Фивы. руководимые полководцем Эпаминондом (IV в. до н. э.).

Стр. 355. *Молитесь, милые! Свобода!* — Эпизод с манифестом и последняя глава в целом звучат как призыв к милости Николая I в отношении декабристов и свидетельствуют о надеждах Глинки на освобождение. С другой стороны, приуроченность финала к восшествию Николая I на престол делало сопоставление Неизвестного с декабристами завуалированным.

Александр Иванович Одоевский (1802—1839)

Василько (с. 361). — Впервые — «Русская старина», 1882, №№ 2—3, публикация П. А. Ефремова по списку И. И. Пущина, принадлежавшему А. П. Беляеву, с рядом неточностей. Вскоре последовала публикация письма А. П. Беляева к редактору «Русской старины» М. И. Семевскому: «Как я рад был увидеть на страницах «Русской старины» поэму А. И. Одоевского, сочиненную им еще в Чите (в Чите декабрист отбывал в 1827—1830 гг. каторгу. — А. Н.) и переписанную Иваном Ивановичем Пущиным (...) Третья песня. должно быть, выпала как-нибудь из моих бумаг при переездах с квартиры на квартиру, потому что до сих пор не нашел ее. В ней заговор Давида о погублении Василька, разговор с Святополком, вступление Василька с дружиной в Киев, посещение им храма, раздача милостыни, наконец, явление его во дворец к Святополку и по клевете Давида, напугавшего Святополка, его арестование и отправление за город, где в какой-то теплушке совершается ослепление. Мне тем более досадна эта потеря, что другого списка поэмы «Василько» не было, и, значит, она пропала

безвозвратно» («Русская старина», 1882, № 5, с. 564). Пересказ Беляева не может считаться точным, так как захватывает также некоторые моменты сюжета, отраженные в сохранившейся части текста.

В основе поэмы лежит летописный рассказ о княжеских усобицах после съезда удельных князей в Любече (село близ Киева) в 1097 г. Главный герой — князь Теревовля (город в Галицкой Руси, ныне Трёмбова) Василько Ростиславич (княжил с 1084, ум. 1124) — союзник Владимира Всеволодовича Мономаха (1053—1125), в то время князя переяславского. Их противниками были Святополк Изяславич (ум. 1113) — великий князь киевский и Давид Игоревич (ум. 1112) — князь владимир-волынский. Упоминаемый в поэме Ярополк Изяславич, брат Святополка, был убит дружинником Нерядцем в 1086 г. Нерядец скрылся во владениях Василька и его братьев Рюрика (ум. 1092) и Володаря (ум. 1124), что дает основание Давиду клеветать на Василька, а Святополку его подозревать. Эпизод ослепления Василька см.: Повесть временных лет (Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII века. М., 1978, с. 248—257).

Стр. 363. *Тиун* — наместник. *Червенские города* — известный город Червен на Днестре.

Стр. 364. *Тюрки, берендеи, половцы* — кочевые тюркские племена, нередко воевавшие Русь. Василько действительно задумывал в союзе с ними поход на Польшу. *Гридня* — здесь: княжеский покой.

Стр. 365. *В обители святого Михаила*. — Имеется в виду Выдубицкий монастырь близ Киева. *Небесный воевода* — архангел Михаил, по преданию, возглавляющий небесное воинство.

Стр. 367. *Ферезь* — верхняя одежда с длинными сужающимися рукавами. *Камчатная* — сделанная из узорчатой ткани — камки. *Гридни* — младшая княжеская дружина.

Стр. 369. *Боян* — легендарный певец, упомянутый в «Слове о полку Игореве».

Стр. 380. *Перун* — бог грома, *Стрибог* — бог ветра, далее перечисляются другие боги славянского пантеона.

Стр. 381. *Низринут небесный в пучину Днепра*. — Во время крещения Киева (988) идол Перуна был сброшен в Днепр, а на холме, где он находился, поставлена церковь св. Василия.

Стр. 387. *Поруб* — яма со срубом. *Несчастный твой отец* — Изяслав Ярославич (ум. 1078), князь киевский, дважды изгонявшийся киевлянами.

Стр. 388. *Что было за Всеслава*. — Имеется в виду полоцкий князь Всеслав Брючславич (ум. 1101), заточенный Изяславом, он был освобожден восставшими киевлянами в 1068 г. и провозглашен князем. Продержался у власти год.

Стр. 390. *Иов* — библейский герой. Бог, испытывая добродетель Иова, наслал на него множество бедствий, однако Иов не утратил веры. Образ Иова нередко возникает в поэзии ссыльных декабристов. Ср. тот же мотив в «Деве Карельских лесов» Глинки.

Андрей Иванович Подолинский (1806—1886)

Нищий (с. 396). — Впервые — отдельным изданием (СПб., 1830). «Нищему» предшествовали поэмы «Див и Пери» (1827), развивающая мотивы поэмы Т. Мура «Лалла-Рук» (1817) и Жуковского «Пери и Ангел» (1821), и «Борский» (1829). Поэмы эти вызвали большое количество доброжелательных отзывов (особенно поддерживал Подолинского редактор «Московского телеграфа» Н. А. Полевой) и выдвинули их автора на авансцену литературного движения. До издания «Нищего» Подолинский поддерживает контакты с пушкинским окружением, посещает собрания А. А. Дельвига, участвует в пушкинско-дельвиговских изданиях («Северные цветы», «Подснежник», «Литературная газета»). Однако творчество его вызывает скептическое отношение Пушкина (см. письмо С. П. Шевырева М. П. Погодину от 25 февраля 1829 г. — Литературное наследство, т. 16—18. М. — Л., 1934, с. 703; см. также письмо Пушкина П. А. Плетневу от апреля 1831 г., где Подолинскому дана холодная оценка). Стремления ряда враждебных Пушкину и его кругу литераторов противопоставить Подолинского Пушкину вызвали резко отрицательную рецензию А. А. Дельвига на «Нищего» («Литературная газета», 1830, т. I, № 19, 1 апреля; без подписи), где, в частности, говорилось: «Благозвучные стихи без мыслей обнаруживают не талант поэтический, а хорошо усвоенный орган слуха». Но в большинстве журналов поэма получила восторженные оценки («Московский телеграф», 1830, кн. 7, ч. 32; «Северный Меркурий», 1830, № 35; «Галатея», 1830, ч. 16 и др.). На рецензию Дельвига отвечал в «Северном Меркурии» (№№ 49—50) М. А. Бестужев-Рюмин сатирическим рассказом «Сплетница». Литературная полемика 1830 г. не может закрыть от современного читателя ни огрехов, ни поэтических достоинств поэмы Подолинского. В сюжетном плане «Нищий» ориентирован на «Чернеца» Козлова, форма поэмы сложилась под воздействием «Шильонского узника» Байрона — Жуковского, в свою очередь, отголоски «Нищего» слышны в поэмах Лермонтова «Боярин Орша», «Мцыри». Эпиграф — первая строка LXXXIV сонета Петрарки.

Стр. 397. *И слышу я: «Куда? куда?..»* — полемически переосмысливается общеромантический мотив мечты об Италии, выраженный в «Песне Миньоны» Гете с рефреном: «Dahin, dahin!» — «Туда, туда!»

Стр. 400. *Все впечатленья бытия*—цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1824): «В те дни, когда мне были новы // Все впечатленья бытия...»

Стр. 404. *...и со скалы // Его я бросил в бездну мглы*.—В этом месте А. А. Дельвиг усмотрел реминисценцию из «Цыган» («Я в волны моря, не бледнея, // И беззащитного б толкнул») и заметил, что герой Подолинского «исполняет на деле ревнивое мечтание Алеко, прекрасно высказанное Пушкиным» («Литературная газета», 1830, № 19, 1 апреля, с. 153).

Стр. 405. *Вдруг—слышу звон колоколов...*—ср. сходный мотив в «Чернец» Козлова; позднее мотив этот полемически переосмысливается в «Мцыри» Лермонтова.

Стр. 410. *Наполеон // Писал Италии закон*.—Имеется в виду Итальянская кампания 1796—1797 гг.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841)

Боярин Орша (с. 414).—Впервые—«Отечественные записки», 1842 (т. 23, № 7, отд. 1). Поэма датируется 1835—1836 гг. на основании слов издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского.

В жанре романтической поэмы Лермонтовым написано более 20 произведений, большинство из них—в 1828—1836 гг. Многие юношеские поэмы Лермонтова построены на основе устойчивых жанровых образцов: для ранних поэм Лермонтова характерно большое количество заимствований из «классики» жанра—произведений Байрона, Пушкина, Жуковского, Козлова и др. Но, постепенно выходя за пределы стереотипов, Лермонтов вырабатывает свой тип романтической поэмы, вершинами которого явились «Демон» и «Мцыри». «Боярин Орша» занимает как бы промежуточное положение между юношескими и «зрелыми» поэмами Лермонтова. Своеобразен конфликт героев, из которых каждый выступает со своей «правдой»: у Арсения—«правда» его любви, у Орши—«правда» обычая и «закона» (ср. с конфликтом в «Цыганах» Пушкина). Герои сталкиваются не на почве любовного соперничества (как, например, это происходило в «Гяуре» Байрона, в «Бахчисарайском фонтане» Пушкина), а из-за несовместимости их нравственных понятий. Проблематика произведения, несмотря на «исторический» сюжет поэмы, живо соотносилась с современной Лермонтову социальной обстановкой в стране. Характерно, что Белинский восторженно реагировал на поэму. «Какое страшно могучее произведение!»—писал он Н. А. Бакунину 7 ноября 1842 г. Белинский почувствовал остросовременный смысл поэмы. Вместе с

тем в «Боярине Орше» сохранены многие приемы романтической поэмы, в их числе — 4-стопный ямб со сплошными мужскими рифмами, восходящий к переводу Жуковским «Шильонского узника» Байрона. Из поэм Байрона Лермонтовым взяты эпиграфы — к первой главе из «Паризины», ко второй и третьей главам — из «Гяура». Ряд стихов и образов перенесены Лермонтовым из его ранних поэм («Исповедь», 1831; «Литвинка», 1832) и стихотворений (например, образ березы, растущей из развалин в стихотворении «1831-го июня 11 дня»). Некоторые стихи и мотивы (главным образом из II главы) использованы Лермонтовым в поэме «Мцыри». Поэма «Боярин Орша» связана с интересом Лермонтова к устному народному творчеству: отношения Арсения с дочерью Орши изображены по аналогии с сюжетами фольклорных баллад о любви холопа к боярской дочери. Действие поэмы происходит во времена царствования Ивана Грозного и Ливонской войны (1558—1583).

Беглец (с. 443). — Впервые — «Вчера и сегодня», кн. II. СПб., 1846 (с некоторыми искажениями). Датируется предположительно 1838 г. Подзаголовок «Горская легенда» указывает на связь с кавказским фольклором. Вообще в «кавказских» поэмах Лермонтова начала 1830-х гг. («Каллы», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек») фольклор народов Кавказа дает поэту возможность изобразить тип людей с иной, чем у европейцев, национально-исторической психологией. «Беглец» — своеобразный итог исканий Лермонтова в этом направлении. Очевидна полемическая связь «Беглеца» с поэмой А. С. Пушкина «Тазит», напечатанной в «Современнике» (1837, т. 7).

Демон (с. 448). При жизни Лермонтова поэма не была напечатана. Долгое время проблемы текстологии поэмы и вопрос о ее датировке вызывали сомнения. В настоящее время установлено, что работа над «Демоном» была завершена Лермонтовым не позднее 8 февраля 1839 г. (см.: Э. Э. Найдич. Последняя редакция «Демона». — Русская литература, 1971, № 1, с. 72—78). 10 марта 1839 г. рукопись «Демон» была разрешена цензурой, но по невыясненным обстоятельствам опубликована не была (см.: В. Э. Вацуро. К цензурной истории «Демона». — В кн.: Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979, с. 410—414). Поэма впервые опубли.: отрывки — «Отечественные записки», 1842, № 6, отд. I (по списку, собственноручно составленному В. Г. Белинским); полностью — в 1856 г. в г. Карлсруэ тиражом 28 экз. (по копии родственника Лермонтова — А. И. Философова — для раздачи экземпляров «высоким особам» с целью отмены цензурного запрещения). В России поэма впервые была напечатана полностью в 1860 г. в составе собр. соч. Лермонтова (под ред. С. С. Дудышкина).

Лермонтов начал работу над «Демоном» в 1829 г. и, разрабатывая свой замысел, создал к 1834 г. пять редакций поэмы. Новый этап работы над «Демоном» начался после возвращения поэта из первой ссылки на Кавказ: в 1838—1839 гг. Созданы три новые редакции поэмы, отличающиеся от юношеских вариантов сюжетно-повествовательной многоплановостью, психологизмом изображения главных героев, насыщенностью конкретно-«зримыми» эпизодами, усложненностью символики. Несмотря на многочисленные переделки, первая строка поэмы («Печальный Демон—дух изгнанья»), возникшая в 1829 г., сохранилась и в окончательной редакции. Основа сюжета—миф о падшем ангеле, восставшем против бога. Многие европейские и русские поэты обращались к этому мифу (Люцифер в мистерии Байрона «Каин», Мефистофель в «Фаусте» Гете; Аббадона в «Мессиаде» Клопшток — отрывок из этой поэмы переведен Жуковским). А. С. Пушкин непосредственно обращался к этой теме в стихотворениях «Демон» (1824), «Ангел» (1827), восприятие Татьяной Онегина в «Евгении Онегине» развивается под знаком демонических мотивов («Кто ты, мой ангел ли хранитель, // Или коварный искуситель? — гл. IV; «Созданье ада иль небес, // Сей ангел, сей надменный бес» — гл. VII); демоническая тема окрашивает отношения Елецкого и Веры в «Цыганке» Баратынского и т. д. Но в разработке главного образа поэмы Лермонтов вполне самостоятелен, хотя, разумеется, в силу «инерции жанра» он не мог избежать реминисценций из романтических поэм Пушкина, Жуковского, Баратынского (некоторые из них отмечены), а также варьирования общепозитических формул (например, у Лермонтова: «изгнанник рая» — у Козлова: «Что я? Кто я? Изгнанник рая...»; у Лермонтова: «дух изгнанья», «мрачный дух сомненья»; «без торжества, без примиренья»; «сеял зло без наслажденья» — у Подоллинского в поэме «Див и Пери» (1827): «Мрачный дух уединения»; «Без участия, без вниманья // Видел слезы, слышал стон»; у Лермонтова: «Я вяну жертвой злой отравы» — у Пушкина в «Кавказском пленнике»: «Я вяну жертвою страстей»; у Лермонтова: «Люби меня!» — и тот же фразеологизм в «Кавказском пленнике» Пушкина и «Безумной» Козлова; у Лермонтова: «Оставь меня, о дух лукавый!» — в «Эде» Баратынского: «Оставь меня, лукавый дух!»).

Стр. 448. *И лучших дней воспоминанья // Пред ним теснились толпой.* — Ср. в «Кавказском пленнике»: «В нем теснились // Воспоминанья прошлых дней».

Стр. 449. *И на челе его высоком // Не отразилось ничего.* — Ср. в «Кавказском пленнике»: «И на челе его высоком // Не изменялось ничего». *Столообразные раины* — пирамидальные тополя.

Стр. 453. *Питомец резвый Карабага.* — Карабах — местность в Азербайджане, где издавна разводили лошадей для верховой езды.

Стр. 457. *Лишь только ночь своим покровом...*— Ср. с отрывком из «Эды»: «Лишь мраки ночи низойдут...».

Стр. 458. *Ни день, ни ночь,—ни мрак, ни свет!*— Ср. с IX главой «Шильонского узника»: «То не было ни ночь, ни день»; см. также в пародии Языкова «Валдайский узник»: «Ни день, ни ночь, ни свет, ни тьма».

Стр. 459. *Ты сам заметил: день от дня... // Я гибну, сжался надо мной!*— Ср. с началом монолога Заремы в «Бахчисарайском фонтане» Пушкина.

Стр. 460. *Муэцины*— муэдзины, служители религиозного культа у мусульман, призывающие с минарета к молитве.

Стр. 461. *Святым захочет ли молиться, // А сердце молится ему.*— Мотив этот, восходящий к теме дьявольского соблазна во время молитвы, будучи переосмыслен в литературе конца XVIII—начала XIX в. («Он хотел молиться: но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: *люблю! люблю! люблю!*»—Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л., 1981, с. 82), стал одним из общих мест романтической литературы: гусар смущает «финляндку молодую» в тот момент, когда она сидит с Библией («Эда»); Нина отравляется перед иконой («Бал»); монах на исповеди рассказывает о своих страстях и признается: «Не пред крестом я слезы лью; // Я вяну, мучуюсь, люблю» («Чернец»); ср. также в романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» (1829): «в безумии моем я молился—не на лики святых угодников... Анастасья!.. я видел одну тебя!» (М. Н. Загоскин. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». М., 1983, с. 249).

Стр. 464. *О! кто ты?.. Я тот, которому внимала // Ты в полночной тишине...*— Ср. с началом диалога Елецкого и Веры в «Цыганке» Баратынского: «Скажите, ради бога, кто вы?.. // Я дух... и нет глуши, жилья, // Где б я, незримый, не был с вами...»

Стр. 468. *Надежд погибших и страстей // Несокрушимый мавзолей!*— Ср. с финалом VII главы «Шильонского узника».

Стр. 472. *Как пери спящая мила.*— Пери—«воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей» (В. А. Жуковский. Пери и Ангел.—Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. М.—Л., 1959, с. 475).

Стр. 477. *На склоне каменной горы...*— Ср. заключительные строфы «Демона», описывающие «замок отслуживший», с заключительными строфами «Бахчисарайского фонтана», где изображен «в забвеньи дремлющий дворец».

Демон (Из ранних редакций) (стр. 480).— В наст. изд. публикуется так называемая V редакция поэмы, созданная в 1833—1834 гг.

Стр. 481. *Верхи обители святой... Глядит лампады луч нескромный.*— Ср. с 1-ой и началом 2-ой главки «Чернеца».

Мцъри (с. 494). Впервые — Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840. Поэма написана в 1839 г., но первоначальный замысел поэмы воплощен еще в поэме «Исповедь» (1831) и в одной из заметок 1831 года: «Написать записки молодого монаха 17-и лет. — С детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. — Страстная душа томится. — Идеалы... (М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4. Л., «Наука», 1981, с. 341):

Первоначально поэма была названа «Бэри», с примечанием: «Бэри» по-грузински «монах», и имела эпиграф: «On n'a qu' une seule patrie» («У каждого есть только одна родина»), позже замененный эпиграфом из Библии: «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». Эти библейские слова имеют символическое значение нарушения запрета. Слово «Мцъри» по-грузински имеет два значения: во-первых, «неслужащий монах», нечто вроде «послушника» (прим. Лермонтова), во-вторых, «пришелец», «чужеземец», одинокий человек, не имеющий родных. Лермонтов вычеркнул, вероятно, по цензурным соображениям, многие строки из первоначальной редакции поэмы.

«Мцъри» как романтическая поэма прочно связана с традициями жанра (см.: «Чернец» Козлова, «Шильонский узник» Жуковского, «Наливайко» Рыльева, «Нищий» Подолинского), в связи с чем характерны переклички с произведениями других поэтов; ср., например, мотив колокольного звона в «Мцъри» — и в «Чернеце» и «Нищем»; у Лермонтова: «Грозой оторванный листок» — у Козлова: «Грозой нетронутый цветок»; у Лермонтова: «Меня могила не страшит», «Я знал одной лишь думы власть (...) Она мечты мои звала» — у Подолинского: «Мне смерть казалась не страшна»; «В душе была мечта одна (...) Кто знает пламенную страсть». Многие мотивы и строки «Мцъри» восходят к ранним поэмам Лермонтова «Исповедь» и «Боярин Орша» («Ты слушать исповедь мою // Сюда пришел! — благодарю...»; «Душой дитя, судьбой монах!»; «Узнать, для воли иль тюрьмы // На этот свет родимся мы» и т. д.). Но, в отличие от Чернеца или от героев «Исповеди» и «Боярина Орши», Мцъри — не «демонический» герой. У него нет присущих «демоническим» характерам поводов для бунта, в его душе нет презрения к миру, ему еще не в чем горько сомневаться. В основе его действий — *безотчетная* мечта о свободе и стремление действовать. «Мцъри», как и «Демон», по глубине философской проблематики, по совершенству поэтического языка, стала высшим достижением Лермонтова в жанре романтической поэмы. Четырехстопный ямб с одними мужскими рифмами, как в «Шильонском узнике», создает ту «упругость, энергию», которые, по мысли восхищенно

отзывавшегося о поэме Белинского (статья «Стихотворения М. Лермонтова», 1841), «удивительно гармонируют с сосредоточенным чувством, несокрушимою силою природы и трагическим положением героя поэмы» (см. также прим. К поэме «Боярин Орша» на с. 563 наст. изд.). Ряд мотивов поэмы восходит к кавказскому фольклору, в частности эпизод битвы героя с барсом (см.: Л. П. Семенов. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941, с. 60—62).

Стр. 494. *Был монастырь*. — В первой главке поэмы говорится о древнем Мцхетском соборе и могилах последних грузинских царей Ираклия II и Георгия XII, при котором состоялось в 1802 г. присоединение Грузии к России. Ср. с изображением Мцхетского собора в заключительной строфе «Лонского» Шишкова.

Стр. 499. *Я видел горные хребты...* — Ср. с пейзажем, увиденным в окно темницы героем «Шильонского узника» (XIII главка).

Стр. 501. *О, я как брат // Обняться с бурей был бы рад!* — Ср. в «Кавказском пленнике»: «И бури немощному вою // С какой-то радостью внимал»; в «Войнаровском»: «Отрадно было мне ненастье, // И вой грозы и плеск валов».

Стр. 506. *И миллионом черных глаз // Смотрела ночи темнота.* — Реминисценция из стихотворения Гете «Свидание и разлука».

Стр. 507. *Но в горло я успел воткнуть // И там два раза повернуть // Мое оружие...* — Реминисценция из поэмы Пушкина «Тазит»: «Ты в горло сталь ему воткнул // И трижды тихо повернул!»

Стр. 512. *Он говорил: «Дитя мое...»* — образ и песня рыбки-русалки связаны с балладами Гете «Лесной царь» и «Рыбак».

Приложение

Русская романтическая поэма, как суждено всякому популярному жанру, порождала не только «массовую продукцию», но и вызывала полемическое противодействие, выразившееся, в частности, в пародийных сочинениях. Предлагаемые в настоящем издании пародии фиксируют различные особенности жанра.

Николай Михайлович Языков (1803—1846)

Валдайский узник (с. 517). — Впервые — Н. М. Языков. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1934, по автографу из бумаг приятеля Языкова Н. Д. Киселева. Написано между 1822 г. (выход «Шильонского узника») и началом 1824 г. (23 марта 1824 г. поэт в письме к братьям упоминает «Валдайского узника» как известное им произведение). Языков скептически относился к русской поэме «байронического» типа (см. его резкие отзывы о «Братьях разбой-

никах» и «Бахчисарайском фонтане» — Языковский архив, вып. 1. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). СПб., 1913, с. 100, 118, 128 и др.). Его собственные замыслы в жанре поэмы («Ала», «Меченосец Аран»), оставшиеся незавершенными, развивались в русле декабристского тираноборческого историзма. Характерно суждение поэта: «Еще мне не нравится то, что у нас теперь один Байрон на языке, как *pes plus ultra* (самое высшее) в судах литературных, что всякого почитают его подражателем или желающим идти по его дороге» (там же, с. 187). Пародия на перевод Жуковского — еще одно свидетельство критического отношения Языкова к складывающейся романтической традиции. Языков сохраняет метрическую и интонационную структуру «Шильонского узника», порой заостряя ее (рифмовка конечной и начальной строк разных главок, см. границы главок 4—5, 6—7, 7—8; ср. у Жуковского границы XI—XII и XIII—XIV гл.). Прием, использованный Языковым — повествование высоким слогом о низменной реальности (с оттенком грубоватой фривольности), — восходит к жанру ирои-комической поэмы.

Стр. 517. *Смотрите на меня: я худ!* — Ср. с началом первой главы у Жуковского: «Взгляните на меня: я сед».

Стр. 518. *Сей задымившийся Валдай // Для холостых — прегорький край.* — Комизм усилен тем, что Валдай традиционно воспринимался как место развращенное. Ср. в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних» — А. Н. Радищев. Полн. собр. соч. М.—Л., 1938, т. 1, с. 300. *Всегдашней пылью покрыт, // Как монастырь Валдай стоит.* — Ср. у Жуковского: «На лоне вод стоит Шильон» (гл. II).

Стр. 521. *И после этого — живи.* — 8 глава представляет наиболее близко подходящую к источнику пародию — ср. трагическую IX главу у Жуковского.

Василий Львович Пушкин (1770—1830)

Капитан Храбров (с. 523). — Впервые — «Подснежник на 1829 г.» (гл. 1); «Северные цветы на 1829 г.» (гл. 2); «Радуга на 1830 г.» (гл. 3), «Денница на 1830 г.» (гл. 4). Дядя А. С. Пушкина В. Л. Пушкин, один из активных карамзинистов, скептически относился к «модной» романтической словесности второй половины 1820-х гг., полемически противопоставляя ей классические идеалы, выработанные французской культурой XVII—XVIII вв. «Капитан Храбров», начатый, видимо, в 1828 г. (в феврале 1828 г. Е. А. Баратынский сообщал А. С. Пушкину: «Василий Львович

пишет романтическую поэму» — Е. А. Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951, с. 490), явился иронической отповедью романтикам. В то же время В. Л. Пушкин испытывает явное воздействие творчества своего племянника, в особенности поэмы «Граф Нулин» и романа в стихах «Евгений Онегин» — подробнее см.: Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 869.

Стр. 523. *Большой саратовской дорогой*. — Перефразируется начальный стих поэмы Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова»; споры вокруг творчества Козлова во многом способствовали появлению пародии В. Л. Пушкина. *Семь лет я не был в той стране...* — обыгрывается традиционный для романтической литературы мотив «возвращения на родину».

Стр. 524. *Старик с плешивой головою*. — Не исключено, что пародируется вызвавшая недовольство карамзинистов баллада П. А. Катенина «Убийца» (1815). Особое раздражение в ней вызывало обращение убийцы-мужика к месяцу: «да полно, что! гляди, плешивый!», шокировавшее своей грубостью. Простонародные разбойники В. Л. Пушкина полемически напоминают об «Убийце» Катенина, в котором поэт справедливо видел своего литературного противника. По свидетельству А. С. Пушкина в письме П. А. Плетневу от 9 сентября 1830 г, последними словами умирающего Василия Львовича были: «Как скучны статьи Катенина». *Сверчок-злодей* — постоянный «персонаж» баллад В. А. Жуковского (эту кличку в «Арзамасе» носил А. С. Пушкин) введен в сутобо бытовой, низменный контекст.

Стр. 526. *Вот мой сон*. — Вещий сон — постоянный мотив романтической баллады; ср. пародийное переосмысление его в «Горе от ума» (сон Софьи) и более сложное в «Евгении Онегине» (гл. VI, сон Татьяны).

Стр. 527. *Вальтер Скотт* (1771—1832) — шотландский исторический романист; *Мур Т.* (1779—1852) — английский поэт-романтик; *Нодье Ш.* (1780—1844) — французский писатель-романтик, популярностью пользовалась его повесть «Жан Сбогар» (1818); *Д'Арленкур Ш.-В.-П.*, виконт (1789—1856), французский исторический романист; ср. в «Графе Нулине»: «Какой писатель нынче в моде // Все Д'Арленкур и Ламартин». Перечисляются образцы модной словесности.

Стр. 528. *«Светлану» наизусть читала*. — Имеется в виду самая знаменитая из баллад Жуковского, упоминание ее отсылает и к «Евгению Онегину», где Татьяна Ларина постоянно сопоставляется с героиней этой баллады. *Она не знала по-французски* — ироническая перелицовка образа Татьяны Лариной, которая «по-русски плохо знала» («Евгений Онегин», гл. III).

Стр. 529. *Ряд целый точек*—сознательная замена текста рядом точек—одна из типично романтических вольностей, введенная Байроном, часто допускавшаяся в романтической поэме, использованная Пушкиным в «Евгении Онегине». Гиро П. (1778—1847), Сюме А. (1789—1845), Гюго В. (1802—1885)—французские поэты-романтики, решительно реформировавшие традиционную классицистическую французскую поэтику. Я принял новую методу...—Противопоставление Шекспира и Гете—Расину и Вольтеру типично для романтической эстетики.

Стр. 531. *Недавно Ларина Татьяна // Мне подарила Калибана.*—Упоминание пушкинской героини—ответный ход дяди на шутку племянника, введенного в толпу гостей на балу у Лариных («Евгений Онегин», гл. VI) своего «двоюродного брата» Буянова—героя фривольной поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811). Калибан—персонаж драмы Шекспира «Буря»; не исключено, что здесь упомянут в качестве персонажа «драматической шутки» В. К. Кюхельбекера «Шекспировы духи» (1824)—одного из наиболее ярких проявлений романтического культа Шекспира, раздражавшего В. Л. Пушкина. *Заира; Федра; Андромаха*—заглавные героини одноименных трагедий Вольтера и Расина. *Неделю каждую журнал // Она недаром получает*—наиболее романтическим журналом был «Московский телеграф» Н. А. Полевого (издавался с 1825 г.), вполне вероятно, у В. Л. Пушкина—ремигизация из «Графа Нулина»: «Мы получаем Телеграф». Ср. в соседних строках тему модной одежды, связанную в сознании читателей конца 1820-х гг. с журналом Полевого, публиковавшего сведения о последних модах.

Стр. 532. *Свой наблюдая авантаж // Иль прибыль, говоря по-русски.*—Ср. «Но панталоны, фрак, жилет // Всех этих слов на русском нет» («Евгений Онегин», гл. I). *Елена*—имеется эпизод оживления Елены Прекрасной (Гете, Фауст, II часть, акт III).

Стр. 533. *Эвфорион*—трагически погибший сын Фауста и Елены, в образе которого просматривались черты Байрона. В авторском примечании В. Л. Пушкин называет «Елену» «новой поэмой» потому, что знаком он с ней по переводу, сопровождаемому статьей С. П. Шевырева («Московский вестник», 1827, ч. 6, № 21). Гете опубликовал этот эпизод весной 1827 г., и Шевырев расценил его как отдельное произведение. Перевод и статья Шевырева, выражавшие культ Гете в среде московских любителей, стали известны автору «Фауста», написавшему по этому поводу письмо с высокой оценкой труда Шевырева (в русском переводе опубликовано—«Московский вестник», 1828, ч. 9, № 11); см. об этом: В. М. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1981, с. 131—134.

Стр. 535. В *Московский перешел архив*. — В Московском архиве министерства иностранных дел служили многие любомудры («архивны юноши» — «Евгений Онегин», гл. VII). Ироничная характеристика Пустельгина продолжает полемику с кругом любомудров, о которой см. предыдущее примечание.

Стр. 536. «*Соловей, мой соловей*» — романс А. А. Алябьева на слова А. А. Дельвига (1826). *Булахов* Петр Александрович (ок. 1793—1835) — певец, тенор, прославился как выдающийся исполнитель романса «Соловей». *Тальма* Ф.-Ж. (1736—1826) — великий французский актер, был знаком с В. Л. Пушкиным. *Менвель-Фодор* Ж. (1793—1828) — итальянская певица, выступавшая в России, Франции, Италии. Эпизод ориентирован на поэму А. С. Пушкина «Граф Нулин». Не исключено, что причиной явились слухи о том, что А. С. Пушкин наделил заглавного персонажа некоторыми чертами своего дяди (легкомыслие, франтовство). В. Л. Пушкин, как бы отрицая эти предположения, переадресует упреки своим литературным противникам.

Стр. 537. «*Британик*» — трагедия Расина, «*Магомет*» — имеется в виду трагедия Вольтера «Фанатизм, или Магомет пророк».

Николай Александрович Мельгунов (1804—1867)

Николай Владимирович Станкевич (1813—1840)

Калмыцкий пленник (с. 538). — Впервые — «Молва», 1832, № 75, 16 сентября. Поэма типа «Кавказского пленника» оказалась наиболее удобным образцом для многочисленных подражаний, подробно охарактеризованных В. М. Жирмунским (см.: Жирмунский, с. 239—256). Пародия вышла из философского кружка Н. В. Станкевича, участники которого рассматривали «байроническую» словесность как пройденный литературный этап. Публикация в «Молве» была одним из актов той борьбы с романтизмом, которую систематично вел редактор этого издания Н. И. Надеждин. Отрывок строится как монтаж общеромантических штампов, трудно приурочивающихся к какому-либо конкретному произведению.

А. С. Немзер,

А. М. Песков

Содержание

А. С. Немзер. «Столетняя чаровница»	3
---	---

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

В. А. ЖУКОВСКИЙ

Шильонский узник.....	25
-----------------------	----

А. С. ПУШКИН

Кавказский пленник	38
--------------------------	----

Вадим	62
-------------	----

Братья разбойники.....	68
------------------------	----

Бахчисарайский фонтан	75
-----------------------------	----

Цыганы.....	94
-------------	----

К. Ф. РЫЛЕЕВ

Войнаровский.....	113
-------------------	-----

Наливайко. <i>Отрывки из поэмы</i>	151
--	-----

И. И. КОЗЛОВ

Чернец	162
--------------	-----

Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая	179
--	-----

Безумная	210
----------------	-----

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

Эда.....	228
----------	-----

Бал.....	245
----------	-----

Цыганка	262
---------------	-----

Г. С. БАТЕНЬКОВ

Одичалый.....	295
---------------	-----

А. А. ШИШКОВ

Лонской	301
---------------	-----

Ермак.....	307
------------	-----

Ф. Н. ГЛИНКА	
Дева карельских лесов.....	315
А. И. ОДОЕВСКИЙ	
Василько.....	361
А. И. ПОДОЛИНСКИЙ	
Нищий.....	396
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ	
Боярин Орша.....	414
Беглец.....	443
Демон.....	448
Демон (Из ранних редакций).....	480
Мцыри.....	494

ПРИЛОЖЕНИЕ

Н. М. ЯЗЫКОВ	
Валдайский узник.....	517
В. Л. ПУШКИН	
Капитан Храбров.....	523
Н. А. МЕЛЬГУНОВ, Н. В. СТАНКЕВИЧ	
Калмыцкий пленник.....	538
Примечания.....	540

Р 89 Русская романтическая поэма. /Сост. и ком.
А. С. Немзера и А. М. Пескова; Вступ. ст.
А. С. Немзера; Ил. В. Б. Иовика.— М.: Правда,
1985.— 576 с., ил.

В книгу вошли лучшие произведения русских поэтов 20—30-х годов XIX века в жанре романтической поэмы: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» А. С. Пушкина, «Войнаровский», «Наливайко» К. Ф. Рылеева, «Чернец», «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», «Безумная» И. И. Козлова, «Эда», «Бал», «Цыганка» Е. А. Баратынского, «Боярин Орша», «Беглец», «Мцыри», «Демон» М. Ю. Лермонтова и др.

Р 4702010100—871
080(02)—85 871—85

84 Р 1

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Составители

**Андрей Семенович Немзер,
Алексей Михайлович Песков**

Редактор

Л. М. Кроткова

Художественный редактор

Н. Н. Каминская

Технический редактор

Т. В. Слизун

ИБ 871

Сдано в набор 27.08.84. Подписано к печати 14.08.85.

Формат 84×108¹/₂. Бумага книжно-журнальная.

Гарнитура «Эксельсиор». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-пзд. л. 32,03.

Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250 001–500 000)

Заказ № 5519. Цена 2 р. 80 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства Куйбышевского
обкома КПСС, г. Куйбышев, проспект Карла Маркса, 201.